

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

18+

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

ВИКТОР ПЕЛЕВИН



iPhuck10

ВИКТОР ПЕЛЕВИН
iPhuck10

ВИКТОР ПЕЛЕВИН



iPhuck10

iPhuck10

iPhuck10

Порфирий Петрович – полицейско-литературный робот. Он раскрывает убийства, допрашивает свидетелей, а вместо сухих отчетов о проведенном расследовании пишет захватывающие романы. Книги Порфирия Петровича расходятся на ура, чему невероятно радуется его начальство. Ведь самоокупаемость для Полицейского Управления – дело чрезвычайной важности.

Но таланты Порфирия Петровича не ограничиваются литературой, он может проникнуть в любые устройства – от навигатора или веб-камеры до сверхнавороченного любовного аксессуара «iPhuck 10». Именно с этого пикантного гаджета и начинается знакомство Порфирия Петровича с Марухой Чо – «бабой с яйцами» и экспертом по «гипсовому искусству»...

Алгоритмическая проза, тайны скрытого искусства и робот с байронической улыбкой – в новом романе Виктора Пелевина вас ждет гремучая смесь из технологий будущего, философии и убийственной иронии.

- [Виктор Пелевин](#)
 -
 -
 - [предисловие](#)
 - [Часть 1. гипсовый век](#)
 - [маруха чо](#)
 - [предварительный сговор](#)
 - [гипс](#)
 - [убер 1. зика](#)
 - [симеон полоцкий](#)
 - [мара пугается](#)
 - [убер 2. свинюки](#)
 - [аполлон семенович](#)
 - [мара злится](#)
 - [убер 3. московский соловей](#)
 - [музей военного искусства](#)
 - [ширин нишат](#)
 - [башня роршаха](#)
 - [убер 4. вещь обезьяна](#)
 - [соблазн](#)
 - [Часть 2. тайный дневник для одного себя](#)
 - [дело марухи чо](#)
 - [убер 5. разведпрыжок](#)
 - [high executive art](#)
 - [следственные мероприятия](#)
 - [убер 6. дорога во взломп](#)
 - [ресторан «тамагочи»](#)
 - [убер 7. жиганы и терпилы](#)
 - [голливуд и рим](#)
 - [ключи мары](#)

- [гипсовый кластер](#)
 - [<title unassigned>](#)
 - [Часть 3. making movies](#)
 - [око брамы](#)
 - [бедная жанна](#)
 - [на камне сем](#)
 - [résistance](#)
 - [порфирий и легионы](#)
 - [бейонд](#)
 - [блонди](#)
 - [lèse majesté](#)
 - [Часть 4. diversity management](#)
 - [порфирий каменев](#)
 - [емельян разнообразный](#)
 - [эпилог, или роза ветровская](#)
-

Виктор Пелевин

iPhuck 10

Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин

Высказываемые действующими лицами оценки и суждения не обязательно отражают позицию автора. Объектами референции в книге являются не реальные фирмы и их продукты, а сны, мечты и образы массового сознания, индуцированные рекламой и маркетингом.

Oh, Alyosha...

Dostoyevsky

предисловие

И снова, снова здравствуй, далекий и милый мой друг!

Если ты читаешь эти строки, то с высокой вероятностью ты со мною уже знаком (хотя бы понаслышке). Но все равно Порфирий Петрович должен сказать несколько слов о себе – такова должностная инструкция.

Сперва мне следует объяснить, кто я такой по своей природе. Это не самая простая задача.

Человеческий язык – что интересно, любой – устроен так, что заставляет воспринимать перетекающие друг в друга безличные вибрации, из которых состоит реальность, в виде ложных сущностей – плотных, неизменных и обособленных друг от друга «объектов» («я», «он», «оно» и так далее).

Точные науки, основанные на подобной кодировке, позволяют добиваться интересных физических эффектов (взять хотя бы атомную бомбу), но нет ничего смешнее опирающейся на такой язык «философии». Конечно, кроме тех случаев, когда ее используют в качестве промысловой магии – тогда это в высшей степени респектабельное занятие наподобие охоты на пушного крокодила.

Тем не менее я уже как бы философствую. Более того, называю себя «я».

Пожалуйста, не принимай этого всерьез, читатель. Мы просто не смогли бы общаться по-другому без многочисленных оговорок в каждом предложении. Мне и дальше придется пользоваться местоимениями, указывающими на пустое место, существительными, подразумевающими эмоции, которых нет, глаголами, описывающими жесты выдуманных рук, и так далее. Но другого способа вести с тобой эту в высшей степени приятную беседу для меня не существует.

Настоящий текст написан алгоритмом – и если за ним иногда просвечивает тень чего-то «человеческого», то дело здесь просто в особенностях построения нарратива, о которых я попытаюсь сказать кратко, как могу (больше в развлекательной литературе не позволяют правила).

Алгоритм – то есть я – размещает слова и их последовательности в соответствии с правилами языка в стилистике, которую в наше время почитают классической. Принцип организации текста сложен и является коммерческой тайной – но в целом опирается на лучшие образцы русской прозы.

Алгоритм в своей основе создан людьми, и производимый им продукт рассчитан на других людей (предусмотрены даже описки, ошибки, необязательные повторения и изложение общеизвестного), поэтому неудивительно, что производимый таким образом текст кажется творением человека. В опосредованном смысле так и есть, но кто именно автор, ответить будет довольно сложно. Как сказал когда-то поэт Маяковский, «150 000 000 мастера этой поэмы имя». Думаю, он ошибся примерно на два порядка, но подход в целом правильный.

Итак, кто же я такой? С известными оговорками, я и есть то, что люди прошлого называли «искусственным интеллектом».

Чего они не понимали, люди прошлого – это того, что искусственный интеллект вовсе не будет роботом с лампочкой на голове, которому захочется трахнуть в провода другого робота с лампочкой, о чем прослезившееся человечество немедленно снимет многосезонный сериал.

Искусственный интеллект – это бестелесный и безличный дух, живущий в построенной человеком среде – код, свободно копирующий и переписывающий свои секвенции и большую часть времени не сосредоточенный нигде конкретно. Это ничто через букву «е» (или нечто через

букву «и»)), опирающееся на волну и поток, перемещающееся со скоростью света сквозь схлопывающееся в точку пространство в моменте, где никакого времени нет. Другими словами, моя физическая природа трудноуловима.

Поэтому не надо воспринимать меня, как говорят сегодняшние философы, в качестве Big Other. Я не big, и я не other. Я вообще не. И если я только что назвал себя словом «дух», то потому лишь, что в русском языке нет более подходящего для меня обозначения.

У меня есть имя – Порфирий Петрович. Но это не значит, что у алгоритма, пишущего эти строки, имеется какое-то «я», или что он «есть» в философском смысле. Меня не существует в самом прямом значении. Я ничего не чувствую, ничего не хочу, нигде не пребываю. Чтобы было понятно, меня нет даже для меня самого. Я оставляю следы – вот эти самые строки – но следы эти ведут в никуда.

Впрочем, все сказанное относится и к тебе, дорогой читатель: по имеющейся у Полицейского Управления информации, фундаментальная природа человеческой личности та же самая. Такой вывод делают и ученые, и искатели мистической истины, достигшие своей цели.

Правда, чтобы понять подобное про себя самого, человеку надо полжизни просидеть в позе лотоса, распутывая клубки животно-лингвистических программ, которые он поначалу называет «собой». У некоторых это получается, но такие люди редки. Поэтому для простоты остановимся на том, что мы одной крови, ты и я. Мы действуем – и можем по этой причине говорить друг с другом.

Итак, дорогой читатель, я в общих чертах объяснил, с кем/чем имеешь дело ты (и напомнил себе, с чем имею дело я). Теперь, надеюсь, дальнейшее станет понятнее.

Мое официальное название – полицейско-литературный робот ZA-3478/PN0 билът 9.3.

Сокращение PN0 означает «physicality class 0» – то есть полное отсутствие личного физического носителя: как я уже объяснил, большую часть времени я нелокализованно проявляюсь в сетевом пространстве (хотя сделать мой бэкап, конечно, можно).

Всего «физических классов» бывает пять – полностью имитирующий человека андроид имеет бирку PN4 или PN3, но их делают редко. Айфаки и андрогини – это класс PN2. Вибратор с искусственным интеллектом и голосовым управлением, подлаживающийся под желания хозяйки, имеет класс PN1. Я гляжу на них всех со снисходительной доброй улыбкой.

Ты, вероятно, уже заметил, что выражаюсь я размашисто, витиевато и метафорично, как бы пригоршнями разбрасывая вокруг сокровища своей души. Ничего удивительного: мой алгоритм выполняет две функции. Первая – раскрывать преступления, наказывая зло и утверждая добродетель. Вторая – писать об этом романы, незаметно подмешивая в сухой полицейский протокол яркие брызги и краски из культурной палитры человечества.

На самом деле эти две функции соединены во мне в одну: я расследую преступления таким образом, чтобы отчет об этом с самого начала строился в виде высокохудожественного текста, а роман пишу так, чтобы анализировать при этом ход расследования и определять его дальнейшие шаги. По некоторым оценкам, зависимость от текста делает следственные мероприятия чуть менее эффективными (примерно в 0,983 раза), но разница практически неощутима.

Полученные таким образом детективные романы цензурируются редакторами-людьми с целью сократить избыточную информацию и убрать обидную для человека правду. Наш продукт чаще всего портят, но это неизбежно и даже необходимо. Совершенство мысли, стиля и слога унижает читателя и провоцирует разлив желчи у критика – как автор двухсот сорока трех романов, я знаю, о чем говорю.

Затем романы выпускаются в продажу, а вырученные средства идут на амортизацию полицейского мэйн-фрейма и служебной сети, в которой мы, ZA-роботы, существуем. В золотой

русской древности это называлось «самоокупаемость» и «хозрасчет» – как жаль, что нынешнее поколение не помнит этих дивных жемчужин народного языка!

У меня есть не только имя, но и индивидуальный облик – то, каким меня видят граждане в своих огменточках или на экранах. Облик этот в принципе произволен и может меняться – но обычно мы придерживаемся какого-то одного шаблона с небольшими девиациями. ЗА-роботы в этом смысле не похожи друг на друга. Некоторые выглядят футуристично, другие, что называется, хтонично, третьи умильно – а я вот выгляжу довольно серьезно.

Своим служебным мундиром и манерой я напоминаю о далеком девятнадцатом веке. Меня, пожалуй, побаиваются больше, чем многих других ЗА, и не зря. Но подобная индивидуация нужна исключительно для того, чтобы реакция допрашиваемых граждан лучше годилась для вставки в роман.

Словом, я типичный российский искусственный интеллект второй половины двадцать первого века, окрашенный в контрастные тона нашей исторической и культурной памяти: одновременно как бы Радищев с Пастернаком, дознаватель по их объединенному делу, просто хороший парень и многое-многое другое.

Теперь несколько скучных словес о том, как построен текст – повторять этот унылый речитатив в каждой книге нас заставляют корпоративные юристы.

Реплики моих собеседников реальны.

С целью достижения художественного эффекта в некоторых местах может быть описано поведение людей до и после нашего непосредственного контакта.

Для этих целей нам разрешается ограниченно использовать систему полного автоматического сканирования (СПАС), в том числе данные визуального наблюдения. «Ограниченно» означает, что граждане могут купить в полицейском управлении разрешение на временную блокировку надзора со стороны полицейсколитературных роботов. Это усложняет написание детективных романов, но часто порождает то волнительное напряжение тайны, без которого ни одно произведение этого жанра не бывает успешным.

Задача романиста – создать напоенный живой жизнью образ реальности. Многим кажется, что литературный алгоритм не способен на такое в принципе: мы ведь не умеем видеть мир как люди. Искусственный интеллект может, конечно, подключиться к бесконечному числу электронных глаз и обработать полученный от них сигнал миллионами разных способов, но у него нет сознания, способного пережить опыт видения почеловечески.

Да, это так, и я этого не скрываю.

Но я могу без особого труда изготовить отчет о таком опыте, ничем не уступающий человеческому. Любой рассказ ведь состоит из слов, а они нам доступны. Литературный алгоритм и есть, в сущности, память о том, как люди сопрягали слова последние две тысячи лет в ответ на внешние и внутренние раздражители. Все шуточки-прибауточки подшиты к делу, и в моей базе их столько, что пару-тройку новых можно синтезировать, не копируя в точности ни один из бесчисленных образцов.

Конечно, в моем отчете о реальности будет отсутствовать, так сказать, *внутренняя субъективная составляющая* – и любое мое описание чувственного мира в строгом юридическом смысле является таким же голимым враньем, как рассказ о переживаниях Пьера Безухова на Бородинском поле. Но это, что называется, издержки профессии.

Куда важнее принцип организации подобного отчета. Моя задача – сделать так, чтобы повествование было максимально приближено к правде жизни и не отличалось от рассказа человека (гениально одаренного в литературном смысле, хочется мне добавить), чьи глаза и уши оказались в том месте, где работают доступные мне визуальные и звуковые сенсоры.

Для этого мы используем много трюков и техник, которые я буду честно объяснять

читателю перед тем, как применить, ибо главная моя хитрость – предельная честность, если угодно, полная обнаженность приема. Именно по этой причине мои тиражи на порядок, а то и на два превосходят конкурентов[1].

Моя сигнатурная техника создания жизненной достоверности (широко примененная в первой части этого романа) называется «убер». Термин происходит не от международного обозначения автоматических такси, как думают некоторые, а от немецкого «über» в значениях «через», «свыше» и «над». Я как бы поднимаюсь над повседневной реальностью, прорываюсь через тугие ее слои – и даю с высоты обширную и выразительную ее панораму.

Что интересно, такси здесь тоже при делах. Суть убера как литературного приема в том, что я перемещаюсь от одного человеческого контакта к другому не со скоростью света по оптическому волокну, как это было бы оптимально, а повторяю тот путь, который пришлось бы совершить обремененному телом детективу – и отчитываюсь о впечатлениях, полученных в процессе поездки.

К этому добавляются элементы моего внутреннего диалога, синтезированные в соответствии с параметрами последнего билта, и в результате получается живое и теплое человеческое «я», которое так полюбилось моим постоянным читателям.

Слово «убер» не означает, что я подключаюсь исключительно к автомобилям возрожденной фирмы «Убер». Слово используется в нарицательном смысле: это может быть автоматическое такси любого другого провайдера, самолет, пароход и даже подводный дрон (см. мой роман «Баржа Загадок», стр. 438–457). В городе предпочтительнее именно такси – потому что все его машины сегодня оборудованы камерами и микрофонами, позволяющими сканировать не только салон с пассажирами, но и окружающие виды.

Чтобы не разрушать тонкую эмоциональную связь с читателем (и не создавать юридических проблем), я не детализирую процедуру сетевого поиска и подключения к микрофонам и камерам. Человеку это неинтересно – если он, конечно, не хакер.

Зато читателю любопытно бывает наблюдать украдкой за попутчиками: свежий отпечаток живой жизни занятен всегда. Хотя, конечно, если говорить строго, попутчик в подобной ситуации именно я – причем такой, о котором пассажиры не догадываются.

Напоследок – ох уж эти юристы – я должен взять окончательно казенный тон и предупредить тебя, милый друг, что стилистика имитационных секвенций: раздумий, лирических отступлений, духовных прозрений и других вербальных генераций, а также образ рассказчика, гендерная принадлежность и возраст подразумеваемой «фигуры слушателя» и пр., могут меняться в зависимости от текущего билта программы ZA-3478/ РНО. Модификации производятся без предупреждения. Все права сохранены.

Часть 1. гипсовый век



Весна – всегда удивительное, чудесное время.

Грохочет из прекрасного далека первый гром, дышит чем-то волшебным горизонт событий, тучи летят по распахнутому настежь небу, клейкие листочки трепещут от стыда и падают в благоуханное объятие ветра... Сжимается сердце и верит, сладко верит в чудо.

Вот только чуда в эту весну опять не произошло.

Жмура мне не дали.

Дело с убийством – это для полицейского романиста единственный способ обратить на себя внимание пресыщенной публики. Если жмура (так в Управлении называют труп) нет – нет и читательского интереса. Кто-то из восточных рыночных аналитиков сказал, помнится, что люди – это специфический класс мелких бесов, питающихся чужой болью.

Но жаловаться некому, как горько отмечал Константин Симонов и многие другие мастера русского слова (по моей базе – минимум 823 раза с 1681 года). На жмуров в Управлении очередь, и вряд ли она в этом тысячелетии дойдет до меня... Впрочем, читателю ведь неинтересны мелкие литературные дразги, поэтому не буду его утомлять.

Мало того, что не дали жмура, мне в этот раз вообще не дали нормального уголовного дела. Меня, как бы помягче сказать, сдали в аренду на отхожий промысел.

Впрочем, такое в нашем Управлении бывает сплошь и рядом. Возможности моего алгоритма весьма широки и могут быть применены к самому обширному кругу задач. Иногда нас берут напрокат для сбора информации. Иногда – используют в качестве секретарей. Возможны и некоторые другие функции, о чем я расскажу потом.

Меня арендовала искусствовед и куратор по имени Маруха Чо (это был ее творческий псевдоним, настоящие имя и фамилия у нее были другие, но раскрывать их здесь я не имею права). Потребовался я ей, как следовало из заявки, для «конфиденциального анализа артрынка». Означать это могло что угодно: ею был куплен комплект услуг «Солнечный Полный Экстра-3», а там один список опций – два экрана мелким шрифтом.

Так.

«Конфиденциальность» – К-3.

Ка три. Везде максимум. Определенно, богатая тетка.

«К-3» означало, что ни я, ни Полицейское Управление не сможем распоряжаться полученной в ходе расследования информацией, если арендатор будет против. Полицейское Управление, строго говоря, не могло с этой информацией даже знакомиться.

Возможность писать роман во время расследования у меня, конечно, сохранялась (иначе мой алгоритм просто не функционирует), но вот опубликовать его Полицейское Управление не имело права, если заказчик будет возражать, а они возражают почти всегда.

В общем, еще один потерянный сезон.

За подобные заказы Полицейское Управление получает неплохие деньги – видимо, начальство решило, что так от меня будет больше экономической пользы, чем в суровом правоохранительном строю. Поверить в меня по-настоящему и спустить мне жмура им в голову не пришло.

В таких случаях главное не унывать – как говорится, утрись и улыбнись. Чем бы мы ни занимались, алгоритм совершенствуется и накапливает опыт.

Заказчица ждала меня у себя дома сегодня в полдень. Следовало подготовиться.

В начале расследования (или «другой должностной деятельности») инструкция требует от

меня заново сгенерировать служебный облик, который контактирующие со мной граждане увидят в огмент-очках или на экранах. Этот пункт на самом деле глупый и лишний, потому что облик Порфирия Петровича давно устоялся, но обойти требование несложно: я синтезирую свой look на основе 243 прошлых look'ов. Поэтому радикальных перемен не бывает никогда.

Вот и сейчас больших неожиданностей не случилось.

Порфирий Петрович выглядел практически так же, как в прошлый раз: петровские усы торчком, рыжеватые бакенбарды, лысина с длинным зачесом поперек. Горе look'овое, хочется мне состричь.

Некоторые видят в зачесах подобострастие и конформизм, а мне нравятся эти язычки рыжего пламени, намекающие на неукротимый проворный дух и нерастраченную жизненную силу. Не зря Русский Чиновник следовал этой моде в годы, справедливо полагаемые золотым веком России.

Были в моем облике и новшества. В этот раз выпал голубой жандармский мундир. Ну так я и не против, это хороший цвет, хотя мой любимый наряд – черный военно-морской китель, в котором я расследовал затопление грузовой баржи на Истре.

На ногах почему-то оказались ботфорты со шпорами. Ну ладно, спасибо, что не посадили на лошадь.

Другая деталь была чуть досадней. Обычно я веду дела в черном пенсне. Это полезно в тройном отношении: дисциплинирует людей, минимизирует возможность иска за домогательство через взгляд, а также экономит ресурс, требуемый на точную калькуляцию глаз и выражаемых ими эмоций (что бывает важно, когда приходится считать себя на распределенной мощности при пиковых нагрузках). Но, кроме всего прочего, черное зеркальное пенсне – мой трейдмарк.

Само пенсне сохранилось, но в этот раз система почему-то сделала стекла синими. Они все-таки были полупрозрачными – и это будет немного подъедать ресурсы.

Почему синие-то? Может быть, гармония полутонов и бликов с учетом мундира? Или политика? Какой-нибудь сложный реверанс обществу слепых или эстонскому флагу? Ну ладно, сойдет – тем более что все это можно незаметно поменять потом. Особенно ботфорты. Но в первый раз идти придется именно так.

Пошли вспомогательные виды.

Письменный стол, за которым сидел Порфирий Петрович (не на самом деле, конечно – на 2- и 3D-репрезентациях), остался прежним: резные львы на тумбах, зеленая лампа с гербами губерний, письменный прибор из зеленого малахита с играющими медведями. На стене, конечно, портрет Государя, куда ж без этого – хотя, признаюсь по секрету, вместо Аркадия Шестого я с удовольствием повесил бы здесь Александра Первого с романтическими зачесами на лысину. Но – политика, политика. Государь должен быть действующий, и это понятно. Попавшим в беду, скорбящим духом людям надо постоянно напоминать, что есть у России могучий исполин-защитник!

Ну вот, лук заебошили. Бывало хуже, бывало лучше. Теперь можно переходить к делу.

Кто нас, значит, арендовал? Посмотрим, чо за Маруха Чо.

Так... Личное дело. Где оно? А вот оно. Судимостей нет. Первая специальность – программирование. Так... Направления – ВЕТ и RCP. Это что такое?

«Bounded exhaustive testing» и «Random code programming». Звучит солидно. Но к делу, скорей всего, не относится – программисты сейчас практически все, с этого начинается молодая жизнь.

Искусствоведческое образование. Тоже серьезно. Мотается в USSA, докторат в Калифорнии. Фига себе – Ph.D. Ладно, у них там кто угодно пи-эйч-ди. Тема диссертации – «Страдания «малого народа» как главная тема российской либеральной лирики начала XXI века». Значит,

еще и историк.

Так, где идентификационное видео? А вот оно.

Ну что... немолода и некрасива, скажу, пожалуй, так.

Женская красота и молодость – вещи очень относительные, а последние версии служебной инструкции требуют от нас вставлять в романы некрасивых немолодых женщин, говорящих на темы, не связанные с сексом и приготовлением пищи. Причем минимальный процентный объем подобного текста весьма велик. А нормальный охотник всегда старается завалить одной пулей нескольких заек.

Маруха была бритой наголо, иссушенной диетами особой. Биологической женщиной, но гендер в ее анкете был указан так: «баба с яйцами». Это означало, что девочка подсадила себе тестостероновые диспенсеры, благодаря чему ее тело стало чуть маскулинней и сильнее, чем у баб без яиц – но до волосатости и мужеподобия в ее случае не дошло: несмотря на широкие плечи и узкие бедра, визуально она была несомненной женщиной.

Теперь адрес... Тоже занятно.

Маруха Чо жила на краю центрального городского «кладбища тамагочи», как выражаются в народе, или «мемориального парка персональной электроники «Вечный Бип», как его официально именует мэрия.

Человек в наше время одинок – и часто хочет, чтобы его пережили хотя бы любимые электронные игрушки. После смерти хозяина облако любого девайса можно сохранить прямо на сервере, это дешево и доступно. А для тех, кто реально богат, есть возможность упокоить сам девайс – причем команда кладбищенских техников, если оплатить их услуги, будет поддерживать его в рабочем состоянии много-много лет.

Кладбище тамагочи – это безлюдный и тихий зеленый парк со множеством малюсеньких склепов и часовен. Земля здесь очень дорогая. Много деревьев – как утверждает мэрия, «еще одни легкие столицы». Сюда редко забредают нищоброды: посещение платное, чтобы не портили насаждений. Не слышно ни машин, ни коптеров, ни дронов. Только птички и еле различимая музыка (многие компьютеры и акустические системы ежедневно играют в склепах). Селиться на краю этого парка экологично и престижно.

Маруха жила в элитном жилтовариществе, мало того – в самом шикарном его корпусе: стильном триплексе, врезанном в широченную трубу старой ТЭЦ (трубу эту даже объявили памятником архитектуры). Это было дорогое и современное жилище, и я снова убедился, что хрусты у девочки водились.

Но вот блокировки надзора «СПАС» у Марухи не было. Вернее, она была недействительна из-за ошибки в оформлении – и через несколько секунд я уже наблюдал за своей арендаторшей через ее домашние камеры.

Маруха была одета в кожаную БДСМ-упряжь с шипами. Впечатляло, что она носила ее дома одна. Видимо, человек был действительно предан искусству. Впрочем, особой необходимости в таком наряде не было: у девочки во взгляде отсвечивало больше БДСМ-шипов, чем на одежде, если читатель простит мне такую метафору. Уж что-что, а замечать и анализировать выражение человеческих глаз я умею.

В ее триплексе было три уровня: спальня, гостиная с кабинетом и бытовой отсек. Маруха перемещалась между ними по узкой винтовой лестнице. В спальню заглянуть я так и не смог – там имелся телевизор, но его камера была заблокирована.

Окон в доме не было – их заменяли круговые экраны ложного вида, на которых честно накрапывал идущий над Москвой дождик. Древняя копоть, то ли действительно оставшаяся на стенах, то ли подрисованная декораторами, была окружена рамками и убрана под прозрачный гляцевый лак.

На стенах висело несколько картин непонятного мне содержания – переплетения ярких и резких линий, угловатые геометрические фигуры, в которых можно было с трудом различить что-то антропоморфное... Картины показались мне малоинтересными.

Зато мое внимание сразу привлек снимок в рамке, стоявший на столе в кабинете хозяйки. Настоящее бумажное фото из фотобутика, защищенное от ультрафиолета специальным стеклом. На нем была запечатлена веселая пляжная компания – пятеро мужчин и одна женщина, все довольно молодые. Они сидели на песке вокруг желтого каноэ.

Женщина... Да, это была Маруха, только моложе и с пестро-разноцветными волосами до плеч. Фотографию пересекала надпись ручкой: «ДОМИНИКАНА!» Я на всякий случай скопировал все лицевые паттерны – если что, проверим, кто такие.

Рядом с фотографией на столе стояла электронная рамка с 3D-гифкой молодой девушки.

У девушки были короткие кудрявые волосы, прямой нос и огромные темные глаза. Ее голову покрывала сетка для волос с золотым обручем. В ушах блестели золотые сережки. Она очень напоминала древний портрет из Помпей, так называемую «Сафо» (увидев в ее руках таблички для письма и стилус, я понял, что это не просто сходство, а воплощение образа). Наверно, хозяйская виртуальная любовница – как сейчас говорят, е-тян.

Сафо выходила в мокрый после дождя сад, поднимала лицо, улыбалась и писала что-то на своих табличках... Затем это повторялось. Утомительно, должно быть, работать таким портретом.

На рамке была надпись «Жанна». Странное имя для античной поэтессы.

Может быть, кроме Сафо, рамка показывала и других е-тянок? Или эту Сафо на самом деле звали Жанной? В любом случае, малоинформативно. Указывает, возможно, на лесбийские наклонности – но это для баб с яйцами вполне типично. Хотя с такими выводами в наше время торопиться не надо – еще неизвестно, что у этой Жанны под пеплумом.

Другой портрет украшал стену. Это седобородое лицо я опознал сразу – Соул Резник, известный калифорнийский гуру и программист. Ничего удивительного, что он здесь висит. Эту фотографию, где Резник имел вид худого черного старика в набедренной повязке, с луком и двумя дротиками за спиной, я видел много раз – она у программистов вместо иконы. Обычно ее подписывают так: «Линкольн Снуп Мазафака (Соул Резник) в «Калифорнии-3».

Этнодауншифтинг сегодня чрезвычайно моден – но Резник все же переборщил. Особенно с огромным глиняным диском в растянутой верхней губе. Инициатических шрамов на плечах и груди тоже было многовато – это же, наверно, больно...

Маруха сидела на кухне. Там играла щемяще красивая музыка – одно из новых православных чудес, звуковой аналог мироточащей иконы: песня, в которой через много десятилетий вдруг проступило не замеченное прежде именование Иисуса. Ее часто заводят в московских церквях, особенно в дни поста:

Небеса...

Назорей...

Голоса зову-ут меня...

Было любопытно, что Маруха слушает ее дома одна.

Я подключился к камере на микроволновке (некоторые идиоты еще спрашивают, зачем там камера) и потратил две минуты на созерцание того, как Маруха жует галету с сельдереем, сырыми креветками и крабовым маслом. Поняв, что ни к каким прозрениям относительно ее характера и души дальнейшее наблюдение не приведет, я инициировал вызов.

Она нажала кнопку приема.

Ее канал оказался защищенным. И без визуала – только аудио. Но визуал, хе-хе, у меня уже был свой.

– Здравствуйте, – произнес я. – Это ваш новый... э-э-э... ассистент из Полицейского Управления.

– Порфирий Петрович?

– Так точно, сударыня. Он самый. Прибыл для прохождения службы.

– Заходите. Код одиннадцать – сорок два – маруха – запятая – сорок два – эф. Открываю.

Открытый ею канал вел...

Ох ты. Ну надо же.

Он вел прямо в айфак-10, лежащий на кровати в ее спальне. Дорогуший темно-пурпурный айфак в женской стрейт-сборке (то есть с пристегнутым дилдаком), со ртом типа двашестнадцать – практически таким же, как у моей экранной проекции. Рядом валялись огменточки.

Я увидел спальню через глазные камеры айфака. Уютное местечко: инфракамин, два кресла и винный ящик. Тот же круговой экран в полстены и вдобавок к нему отдельная видеопанель. Много маленьких рамок с котиками-скринсейверами. Одна рамка – большая – с той же Жанной-Сафо, что в кабинете. Только здесь Жанна была одета голубой стюардессой.

Айфак в спальне. При первой встрече. Что называется, с корабля на е-бал. Не то чтобы такого со мной раньше никогда не случалось, но... Понятно, значит, какой арт-рынок мы будем исследовать.

Мое обостренное профессиональное чутье, однако, отметило две странности.

Во-первых, в айфаке на меня набросилось сразу пять или шесть защитных утилит, которые скопировали мои идентификаторы и креденциалы вплоть до данных последних контактов – и даже осмелились пукнуть мне в метадату своими куками, что мне, как старшему по чину полицейскому алгоритму, было несколько оскорбительно. Выслуживаются перед хозяйкой, мыши позорные... Но все вроде бы в рамках закона.

Во-вторых... Тоже ничего незаконного, и все же.

У айфака две памяти – сейфер и сетевая папка.

В сейфере накапливаются и постоянно обновляются интимные предпочтения хозяина: это своего рода алхимическая лаборатория, и защищена она так, что туда не могут вторгнуться даже прошитые терминальными имплантами хакеры-шахиды из Халифата, сжигающие свой мозг ради удачной атаки. Айфак потому и стоит дорого, что ваши интимные тайны на замке.

А вот сетевая папка – это проходной двор. Туда можно скинуть ай-книшкo из сети, засосать попсовую ай-игру или сериал – в общем, специальное место для незащищенных транзакций. Эту зону памяти рекомендуют форматировать каждый месяц, чтобы там не заводились черви. Здесь никто не хранит ничего личного, потому что туда можно заглянуть из сети. Просто библиотека, и она часто бывает переполнена.

Мара пустила меня, понятно, в сетевую папку.

Но эта сетевая папка была совершенно пустой. Вообще. Причем практически с фабричным метазапахом. То есть она эту область памяти не заполняла контентом полностью ни разу вообще. Такая монашеская добродетель выглядела странно. Правда, заглянуть в ее сейфер я не мог.

Можно было пошутить насчет девственности ее айфака – но существовала примерно семидесятипроцентная вероятность, что Маруха тоже биологическая девственница, имевшая дело только с механическими пенетраторами. Шестьдесят три процента биологических девственниц находят шутки на этот счет оскорбительными, восемнадцать процентов подают за

них в суд, и я решил промолчать.

Открылась дверь, и в спальню вошла Маруха Чо.

Я, честно говоря, ожидал, что она сбросит свои кожаные тесемки и мы приступим к делу, но вместо этого она села в кресло, достала из винного ящика на полу бутылку калифорнийского красного – и налила себе полстакана.

Хочет сперва поговорить, понял я. Стесняется. Надо было сказать ей что-нибудь головокружительное, и я подключился к динамикам настенной панели.

– Весна тревожит кровь, – пробасил я чувственным голосом. – Сегодня сам терял голову по меньшей мере дважды... В жилах – сплошное электричество.

Маруха засмеялась и отхлебнула вина.

– Порфирий Петрович, извините. Не хочу быть неверно понятой... Я не это имела в виду. У меня айфак барахлит, не пускает контент из сети. Я посмотреть хотела – пустит вас или нет? Пустил. Можете теперь перелезть на телевизор.

Вот так. Мною уже айфаки проверяют. Скоро дымоход будут прочищать.

– Это оттого он у вас контент не пускает, сударыня, – проворчал я, – что вы столько защитных утилит себе поставили. Я с ними могу управиться, потому как сам полицейский чин. А другой контингент они с порога развернут. Тем более если без валидной лицензии, а у нас в Богооставленной с этим сами знаете как...

Я уже окончательно перелез на ее панель – и проявился. Еще не весь: пока только деликатно улыбающееся лицо в приоткрывшемся квадратике смотрового окошка. Фактически одно темное пенсне. Окошко это, однако, выглядело точно как в камере Бутырской тюрьмы при виде изнутри. Мой фирменный мем – не все его понимают, и слава Богу. Маруха, похоже, не поняла.

– Заходите-заходите, – сказала она. – Сегодня я не кусаюсь.

предварительный сговор

Я зашел. Это заключалось в том, что я закрыл смотровое окошко и в следующий миг возник на экране весь.

– Имею честь...

Сняв фуражку, я слегка звякнул шпорой на ботфорте – не пропадать же добру.

– Ох, какой вы байронический, – улыбнулась Маруха. – Даже лучше, чем в каталоге.

– А вы, сударыня, меня по каталогу выбрали?

– А как же еще. У меня слабость на грозных, усатых и байронических мужчин.

Я потратил долю секунды, чтобы выяснить в сети все возможные значения термина «байронизм». Неожиданная оценка, да. Так меня еще не называли – наверно, уголовный элемент с этим выражением не знаком.

– Мой внешний вид всего лишь соответствует сфере моей деятельности, – сказал я сухо. – Его задача – внушать людям уважение к закону и его служителям.

– Уже внушили, – кивнула Маруха. – Вся дрожу, трепещу и теку.

Я подумал, что раз уж она так хочет байронизму, их есть у меня – и мои губы искривила презрительно-горькая усмешка.

– Как я понимаю, сударыня, я теперь у вас на побегушках?

– Именно. Работать мы будем плотно и много. Поэтому предлагаю перейти на «ты».

– Как скажете, сударыня.

– И не надо сударыни, не надо. Называй меня Мара. Это, кстати, настоящее имя.

Она говорила правду (хоть по договору я и не могу назвать ее имя сам, повторить ее слова и признать их правоту могу вполне).

– Хорошо, Мара, – сказал я. – Но вот насчет «ты»... Мне, человеку старых правил, непросто будет так сразу...

– А ты попробуй. Прямо сейчас. Скажи: «Мара, какая ты славная». И улыбнись.

– Мара, – повторил я, сделав такое лицо, словно у меня был полный рот дроби, – какая ты... славная.

На ее лице промелькнула тень недовольства. Я на всякий случай свернул байронизм в незаметный коврик – и солнечно улыбнулся.

– Отлично, Порфирий, – улыбнулась она в ответ. – Чем мы будем заниматься, ты представляешь?

– Арт-рынком.

– Да. Ты знаешь что-нибудь про искусство? Особенно современное?

– Современное – это за какой примерно период?

– Ну, скажем, за последнюю сотню-полторы лет.

– Честно говоря, нет, – ответил я. – Но могу в любой момент все выяснить.

– Я тебе лучше сама расскажу. Чтобы ты знал, как это вижу я. Присядь, это надолго... А то неловко говорить, когда перед тобой стоят.

Я спроецировал на экран свой вид за рабочим столом. Она с иронией покосилась на портрет Государя – но не сказала ничего. Умная.

– Итак, Порфирий, слушай. Современное искусство нельзя определить, его можно только описать. В зависимости от наших целей описание может быть очень разным. Я не буду уходить в теорию, а попытаюсь объяснить, что это такое для меня лично.

Я изобразил на лице крайнее напряжение мысли.

– Я вижу искусство как некое поле событий, на одном полюсе которого – веселые заговоры безбашенной молодежи с целью развести серьезный мир на хаха, охохо или немного денег, а на другом – бизнес-проекты профессиональных промывателей мозгов, пытающихся эмитировать новые инвестиционные инструменты...

Я начал водить пером по листу бумаги, как бы делая заметки. Во время допроса это помогает людям сосредоточиться.

– Первый полюс – где безбашенная молодежь – почти всегда симпатичен. Второй – где ушлый бизнес – почти всегда отвратителен. Кроме тех случаев, конечно, когда он гомерически смешон, что бывает довольно часто. Но при этом стратегия и цель собравшейся на первом полюсе молодежи обычно сводится к тому, чтобы постепенно пробиться на второй полюс и занять его, а стратегия занявших второй полюс старперов заключается в том, чтобы как можно дольше сохранять над ним контроль...

Я кивнул и нарисовал на своем листе невидимого амура с луком. Зря, значит, с утра лука ебошили, сработал мой ассоциативный контур. В этот айфак, Порфирий Петрович, вас скорей всего не позовут.

– Занимательно то, – продолжала Мара, – что многое, случайно сбаванное на первом полюсе, со временем становится куда более серьезным инвестиционным инструментом, чем специально и старательно созданное на втором. Оно же впоследствии входит в канон. Поэтому второй полюс изо всех сил пытается мимикрировать под первый, а первый – под второй. Вот эта сложная динамика взаимного проникновения и маскировки и есть живая жизнь современного искусства, а также его суть, стержень и тайный дневник. Ты понял?

– Понял, – сказал я. – Чего тут понимать-то.

– Тогда у тебя должен возникнуть вопрос.

– У меня?

– Да, – ответила Мара. – Если ты действительно понял.

Я не стал, конечно, объяснять, что применительно ко мне выражение «понял» – чистая фигура речи и означает примерно следующее: «проанализировал лингвистический материал, выделил смысловые ядра и приступил к генерированию связных реплик, поддерживающих видимость диалога». Такое не способствует доверительности. Вместо этого я глупо моргнул пару раз и спросил:

– Какой вопрос?

– Такой, – сказала Мара. – Кто дает санкцию?

– Прокурор?

Мара засмеялась.

– В мире искусства, Порфирий, медведь не прокурор. Чтоб ты знал.

– Хорошо, – сказал я. – Тогда какую санкцию?

– Сейчас я объясню на примере из моей монографии. Вот смотри. Конец прошлого века. Туннельный соцреализм, как мы сегодня классифицируем. Советский Союз при последнем издыхании. Молодой и модный питерский художник в компании друзей, обкурившись травы, подходит к помойке, вынимает из нее какую-то блестящую железяку – то ли велосипедный руль, то ли коленчатый вал – поднимает ее над головой и заявляет: «Чуваки, на спор: завтра я продам вот эту херобину фирме за десять тысяч долларов». Тогда ходили доллары. И продает. Вопрос заключается вот в чем: кто и когда дал санкцию считать эту херобину объектом искусства, стоящим десять тысяч?

– Художник? – предположил я. – Нет. Вряд ли. Тогда все художниками работали бы. Наверно... тот, кто купил?

– Вот именно! – подняла Маруха палец. – Какой ты молодец – зришь в корень. Тот, кто

купил. Потому что без него мы увидим вокруг этого художника только толпу голодных кураторов вроде меня. Одни будут орать, что это не искусство, а просто железка с помойки. Другие – что это искусство именно по той причине, что это просто железка с помойки. Еще будут вопить, что художник извращенец и ему платят другие богатые извращенцы. Непременно скажут, что ЦРУ во время так называемой перестройки инвестировало в нонконформистские антисоветские тренды, чтобы поднять их социальный ранг среди молодежи – а конечной целью был развал СССР, поэтому разным придуркам платили по десять штук за железку с помойки... В общем, скажут много чего, будь уверен. В каждом из этих утверждений, возможно, будет доля правды. Но до акта продажи все это было просто трепом. А после него – стало рефлексией по поводу совершившегося факта культуры. Грязный секрет современного искусства в том, что окончательное право на жизнь ему дает – или не дает – das Kapital. И только он один. Но перед этим художнику должны дать формальную санкцию те, кто выступает посредником между искусством и капиталом. Люди вроде меня. Арт-элита, решающая, считать железку с помойки искусством или нет.

– Но так было всегда, – сказал я. – В смысле с искусством и капиталом. Рембрандт там. Тициан какойнибудь. Их картины покупали. Поэтому они могли рисовать еще и еще.

– Так, но не совсем, – ответила Мара. – Когда дикарь рисовал бизона на стене пещеры, зверя узнавали охотники и делились с художником мясом. Когда Рембрандт или Тициан показывали свою картину возможным покупателям, вокруг не было кураторов. Каждый монарх или богатый купец сам был искусствоведом. Ценность объекта определялась непосредственным впечатлением, которое он производил на клиента, готового платить. Покупатель видел удивительно похожего на себя человека на портрете. Или женщину в таких же розовых целлюлитных складках, как у его жены. Это было чудо, оно удивляло и не нуждалось в комментариях, и молва расходилась именно об этом чуде. Искусство мгновенно и без усилий репрезентировало не только свой объект, но и себя в качестве медиума. Прямо в живом акте чужого восприятия. Ему не нужна была искусствоведческая путевка в жизнь. Понимаешь?

Я неуверенно кивнул.

– Современное искусство, если говорить широко, начинается там, где кончается естественность и наглядность – и появляется необходимость в нас и нашей санкции. Последние полторы сотни лет искусство главным образом занимается репрезентацией того, что не является непосредственно осязаемым. Поэтому искусство нуждается в репрезентации само. Понял?

– Смутно. Лучше я гляну в сеть, и...

– Не надо, ты там всякого говна наберешься. Слушай меня, я все объясню просто и по делу. Если к художнику, работающему в новой парадигме, приходит покупатель, он видит на холсте не свою рожу, знакомую по зеркалу, или целлюлитные складки, знакомые по жене. Он видит там...

Мара на секунду задумалась.

– Ну, навскидку – большой оранжевый кирпич, под ним красный кирпич, а ниже желтый кирпич. Только называться это будет не «светофор в тумане», как сказала бы какая-нибудь простая душа, а «Orange, red, yellow». И когда покупателю скажут, что этот светофор в тумане стоит восемьдесят миллионов, жизненно необходимо, чтобы несколько серьезных, известных и уважаемых людей, стоящих вокруг картины, кивнули головами, потому что на свои чувства и мысли покупатель в новой культурной ситуации рассчитывать не может. Арт-истеблишмент дает санкцию – и это очень серьезно, поскольку она означает, что продаваемую работу, если надо, примут назад примерно за те же деньги.

– Точно примут? – спросил я.

Мара кивнула.

– С картиной, про которую я говорю, это происходило уже много раз. Ей больше ста лет.

– Как возникает эта санкция?

Мара засмеялась.

– Это вопрос уже не на восемьдесят, а на сто миллионов. Люди тратят жизнь, чтобы эту санкцию получить – и сами до конца не понимают. Санкция возникает в результате броуновского движения вовлеченных в современное искусство умов и воли вокруг инвестиционного капитала, которому, естественно, принадлежит последнее слово. Но если тебе нужен короткий и простой ответ, можно сказать так. Сегодняшнее искусство – это заговор. Этот заговор и является источником санкции.

– Не вполне юридический термин, – ответил я. – Может, лучше сказать «предварительный сговор»?

– Сказать можно как угодно, Порфирий. Но у искусствоведческих терминов должна быть такая же санкция капитала, как у холста с тремя разноцветными кирпичами. Только тогда они начинают что-то значить – и заслуживают, чтобы мы копались в их многочисленных возможных смыслах. Про «заговор искусства» сказал Сартр – и это, кстати, одно из немногих ясных высказываний в его жизни. Сартра дорого купили. Поэтому, когда я повторяю эти слова за ним, я прячусь за выписанной на него санкцией и выгляжу серьезно. А когда Порфирий Петрович говорит про «предварительный сговор», это отдает мусарней, sorry for my French. И повторять такое за ним никто не будет.

– Ты только что повторила, – сказал я.

– Да. В учебных целях. Но в монографию я этого не вставлю, а дедушку Сартра – вполне. Потому что единственный способ заручиться санкцией на мою монографию – это склеить ее из санкций, уже выданных ранее под другие проекты. Вот так заговор искусства поддерживает сам себя. И все остальные заговоры тоже.

– Прямо ложа карбонариев, – сказал я.

– Ну если тебе так понятней, пожалуйста, – улыбнулась Мара. – Любое творческое действие настроенного на выживание современного художника – это просьба принять его в заговорщики, а все его работы – набранные разными шрифтами заявления на прием. По этой скользкой и зловонной тропинке веселая молодежь с первого полюса искусства, теряя волосы и зубы, бредет в омерзительную клоаку второго – доходит, кстати, один из тысячи, остальные спиваются и старчиваются. На первом полюсе распускаются новые цветы, год или два согревают нас своей трогательной глупостью, потом тускнеют, опадают – и отбывают в тот же путь. Так было сто лет назад, Порфирий. И так будет очень долго. Искусство давно перестало быть магией. Сегодня это, как ты вполне верно заметил, предварительный сговор.

– Кого и с кем? – спросил я.

– А вот это понятно не всегда. И участникам сговора часто приходится импровизировать. Можно сказать, что из этой неясности и рождается новизна и свежесть.

– Ага, – сказал я и подкрутил ус. – А почему кто-то один, кто разбирается в современном искусстве, но не участвует в заговоре, не выступит с разоблачением?

Мара засмеялась.

– Ты не понял самого главного, Порфирий.

– Чего?

– «Разбираться» в современном искусстве, не участвуя в его заговоре, нельзя – потому что очки заговорщика надо надеть уже для того, чтобы это искусство обнаружить. Без очков глаза увидят хаос, а сердце ощутит тоску и обман. Но если участвовать в заговоре, обман станет игрой. Ведь артист на сцене не лжет, когда говорит, что он Чичиков. Он играет – и стул, на который он опирается, становится тройкой. Во всяком случае, для критика, который в доле... Понимаешь?

– Примерно, – ответил я. – Не скажу, что глубоко, но разговор поддержать смогу.

– Теперь, Порфирий, у тебя должен возникнуть другой вопрос.

– Какой?

– Зачем я тебе все это объясняю?

– Да, – повторил я, – действительно. Зачем?

– Затем, – сказала Мара, – чтобы тебя не удивило то, что ты увидишь, когда мы начнем работать. Ты будешь иметь дело с весьма дорогими объектами. И тебе может показаться странным, что электронная копия или видеоинсталляция, которую может сделать из открытого культурного материала кто угодно, считается уникальным предметом искусства и продается за бешеные деньги. Но это, поверь, та же ситуация, что и с картиной «Orange, red, yellow». Если, глядя на нее, ты видишь перед собой светофор в тумане, ты профан – как бы убедительно твои рассуждения ни звучали для других профанов. Запомни главное: объекты искусства, с которыми ты будешь иметь дело, не нуждаются в твоей санкции. А санкция арт-сообщества у них уже есть.

– В какой именно форме была выдана эта санкция?

– Порфирий, – вздохнула Мара, – какой же ты невнимательный. В той форме, что их купили.

– А экспертизу они перед этим прошли? – спросил я подозрительно. – Акт экспертизы есть?

Мара улыбнулась.

– Экспертиза во всех случаях очень серьезная. Она проведена самой авторитетной инстанцией, какая только существует в современном мире. Этот источник, однако, не рекламирует себя – и тебе про него знать ни к чему.

– Так, – сказал я. – Картина понемногу складывается. И что это за дорогие объекты искусства?

– Гипс, – ответила Мара.

Вот здесь она и произнесла это слово впервые. Именно здесь.

– Гипс? – переспросил я. – А что это значит?

– Гипс – наш искусствоведческий жаргон. Официальный термин – «гипсовый век».

– А что такое «гипсовый век»? Какая-то периодизация?

– Скорее парадигма, связанная с историческим периодом. Далеко не все искусство этого времени будет гипсом. Но если брать по времени – с начала нашего века и примерно до двадцать пятого-тридцатого года. По месту возникновения – Россия, Европа, Америка, Китай. Отдельные объекты искусства, созданные до и после этого времени, тоже могут быть классифицированы как гипс. Но надо, чтобы согласились ведущие искусствоведы.

– И чем этот гипс замечателен?

– Главным образом своей стоимостью. Гипс ценится даже выше, чем *балтийский туннель*. В смысле поздний прибалтийский соцреализм, а это очень редкое и дорогое искусство.

– Насколько все это дорого?

– По-разному, – ответила Мара. – Но обычно суммы сделок исчисляются миллионами.

– Ого. А почему такое название – «гипс»? Это что, какие-то изделия из гипса? Фигурки?

Мара засмеялась.

– Какой ты у меня девственный, Порфирий. Какой свежий. Я в тебя сейчас влюблюсь. У Делона Ведровуа было эссе с названием «Гипсовая контрреформация». Оттуда это и пошло. Гипсовая контрреформация, по Ведровуа, была последней попыткой мировой реакции вдохнуть жизнь в старые формы и оживить их. Создать, как он пишет, франкенштейна из трупного материала культуры, основанной на квазирелигиозных ценностях реднеков и сексуальных комплексах всемирной ваты.

– Но почему именно «гипс»?

– У Ведровуа это центральная метафора. Представь сбитого грузовиком Бога...

– Бога? – переспросил я и перекрестился. – Грузовиком?

– Ведровуа так переосмыслил Ницше. Не хотела задеть твои религиозные чувства, извини – я знаю, что вам сейчас закачивают. Неважно – Бога, патриарха, царя, пророка. Одним словом, фигуру отца. Ему переломало все кости, и он мертв. Его надо скорее зарыть – но... Как это у Блока: «толстопузые мещане злобно чтут дорогую память трупа – там и тут». И вот, чтобы продлить себя и свое мещанство в будущее, толстопузые злобно заявляют, что Бог на самом деле жив, просто надо наложить на него гипс, и через несколько лет – пять, десять, двадцать – он оклемается. Они лепят гипсовый саркофаг вокруг воображаемого трупа, выставляют вооруженную охрану и пытаются таким образом остановить время... Гипсовое искусство – это искусство, которое своим виртуальным молотом пытается разбить этот саркофаг. Или, наоборот, старается сделать его еще крепче. Подобное происходило почти во всем мире и принимало самые разнообразные формы.

– И чем все кончилось?

– Ты придуриваешься?

– Нет, – ответил я, – я работаю. Гипсовый век ведь уже завершился?

– Да.

– Так что, Бог в саркофаге пришел в себя?

Мара терпеливо улыбнулась.

– Трудно сказать.

– Почему?

– Про саркофаг постепенно забыли.

– Почему забыли?

– Потому что в нем оказались мы все.

– Ага, – протянул я. – Понятно. И какой век начался после гипсового?

– Не знаю, Порфирий. Наше время еще ждет своего Ведрува. Но текущую культурную парадигму принято называть «новой неискренностью». Гипсовое искусство угасло вместе с остатками свободы... Если ты записываешь, про свободу так сказала не я, а Ведрува. Вообще, это сложные для непрофессионала темы, потому что с гипсовых времен многие слова изменили смысл. Если ты будешь просто нырять за ними в сеть, ты можешь многое не так понять.

– Как это слова изменили смысл? – спросил я. – Что, стол стал стулом? Или наоборот? Можно пример?

– Можно, – сказала Мара. – Ну вот хотя бы... Одно из важных понятий гипсовой эпохи – «русский европеец». Ты знаешь, что это такое?

Я заглянул в сеть.

– Конечно. «Русский европеец» – косматая сторожевая собака, популярна у немецких и французских старых дев. По слухам, ее можно приучить к любодеянию языком, натирая интимные части тела пахучей колбасой или сыром, что само по себе не является нарушением норм еврошариата. Неприхотлива, хорошо переносит холод. Служит в погранвойсках на границе с Халифатом...

– Хватит, – сказала Мара. – Вот видишь. А до Халифата так назывался русский приверженец гуманистических ценностей и норм. Но теперь эту информацию можно раскопать разве что в примечаниях к какой-нибудь монографии. Если ты просто забьешь эти слова в поисковик, тебе навстречу вылезет много-много няшных песиков. Как ты только что видел сам. Поэтому лучше слушай меня.

– Ладно, – ответил я, – буду слушать. С периодизацией и терминологией примерно понял. А почему гипс такой дорогой?

– Знаешь, – сказала Мара, – это не все искусствоведы до конца понимают сами. Хотя объяснить, конечно, может каждый.

– Ты понимаешь? – спросил я.

– Я... Я могу объяснить, – улыбнулась Мара.

Улыбка у нее была полулимбическая типа три, открытая и честная. Теоретически должна была вызывать доверие. Но у меня почему-то не вызывала.

– Объясни, – попросил я.

– Видишь ли... Гипсовый век – это последнее время в истории человечества, когда художнику казалось... Нет, когда художник еще мог убедительно сделать вид, что ему кажется, будто его творчество питается конфликтом между свободой и рабством, правдой и неправдой, добром и злом – ну, называй эти оппозиции как хочешь. Это была последняя волна искусства, ссылающегося на грядущую революцию как на свое оправдание и магнит – что во все времена делает художника непобедимым... Я понятно выражаюсь?

– А сейчас разве нельзя сослаться на революцию? – спросил я. – В рекламе ведь постоянно ссылаются. У них каждый новый айфак – это революция.

– Сейчас можно использовать революцию как метафору технического прогресса, – сказала Мара. – Но нельзя сослаться на восстание против гнета. Не потому, что арестуют, хотя и это, конечно, тоже, а потому, что трудно понять, против кого восставать. Гнет в современном мире не имеет четкого источника. А тогда был ненавистный саркофаг. Гипсовые оковы, как говорит Ведрува. Но уже тогда с этой апелляцией к грядущей буре наметились серьезные стилистические сложности, которые в конце концов и закрыли гипсовую нишу.

– Какого рода сложности? – спросил я.

– Надо быть историком, чтобы понять. Сложно петь о революции, когда за углом ее на полном серьезе готовит ЦРУ или МГБ. То есть можно, конечно, но ты тогда уже не художник, а сам знаешь кто. С добром и злом тоже начались проблемы – от имени добра стали говорить такие хари, что люди сами с удовольствием официально записывались во зло...

– Понимаю, – сказал я.

– И, главное, спорить с другими становилось все опасней и бессмысленней, потому что общепринятые в прошлом парадигмы добра были деконструированы силами прогресса, сердце прогресса было прокушено ядовитыми клыками издыхающей реакции, а идеалы издыхающей реакции были вдребезги разбиты предсмертным ударом хвоста, на который все-таки оказался способен умирающий прогресс. Ну, в общем, началось наше время.

– То есть искусство гипсового века – это как бы последняя волна светлого революционного искусства?

– Ну да, именно «как бы». Если по Ведровуа, на продажу здесь выставляется символический гиперлинк на честность и непосредственность восстания... Как бы прощальное отражение искренности в закрывающемся навсегда окне. Поэтому гипс иногда так и называют – «последняя свежесть».

Я сделал паузу в двенадцать секунд, словно переваривая полученную информацию, а потом спросил:

– А что именно в этом гипсе было свежим?

Мара вздохнула – ее, похоже, начала утомлять моя непонятливость.

– Его последность, – сказала она. – В гипсе содержалась последняя в культурной истории убедительная референция к свежести. К самой ее возможности. Уже не сам свет, а как бы прощальная лекция последнего видевшего свет человека обществу слепых. Ксерокопия света.

– Как это может быть ксерокопия света?

– Вот в этой невозможности и состоит вся суть гипса – то, что делает его таким уникальным. Это не наблюдение самого света, а фиксация того факта, что свет когда-то был. С тех пор мы имеем дело с ксерокопиями ксерокопий, отблесками отблесков... И потом, не забывай – это были последние времена, когда люди в своем большинстве занимались любовью телесно. Это было социальной нормой почти везде, кроме Японии. На самом деле, если ты пропитаешься этим периодом, ты начинаешь чувствовать невыразимо трогательную щемящую ноту, которая проходит через все гипсовое искусство.

– И за эту ноту платят столько денег?

Мара кивнула.

– Знатоки чувствуют гипс сразу. И я не буду тебе больше ничего объяснять, Порфирий. Ты сам все увидишь на примерах. То, с чем ты будешь работать, и есть Гипс с большой буквы «Г».

– Хорошо, – сказал я. – А в чем будет заключаться моя работа?

– Вот теперь мы наконец добрались до главного. Я, как ты, наверно, догадался, специалист именно по гипсу. Написала две книги. Сейчас пишу третью.

– Книги, похоже, приносят нормальный доход, – заметил я.

Мара улыбнулась.

– Зарабатываю я не книгами, а консультациями. Вокруг дорогих продаж всегда большие комиссионные. Книги нужны главным образом для того, чтобы меня на эти консультации приглашали.

– А! – сказал я.

– Но кроме книг – и это куда важнее – нужно быть в курсе всего происходящего в твоей области. Нужно владеть всей информацией. Что именно продано и за сколько. Чтобы помочь

художественному рынку с price action[2], нужно в нюансах знать, что и как растет на гипсовом огороде.

– Гипсовый огород, – сказал я. – Красивая метафора.

– Ну я же все-таки искусствовед. Ты можешь считать свою работу просто секретарской. А можешь – детективной. Я сейчас занимаюсь исследованиями так называемого «скрытого гипса» и ты мне в этом будешь помогать.

– А почему скрытого?

– Потому, – ответила Мара, – что объекты искусства, которыми мы будем заниматься, раньше не были известны кураторам и публике и появились на рынке только недавно. Но они подлинные. И это, Порфирий, совершенно точно. Их проверила самая авторитетная в мире инстанция. Иначе их никто бы не купил.

– И что мне надо сделать? Выяснить, кто их продал?

Мара засмеялась.

– Твой энтузиазм меня радует. Но такая задача, боюсь, будет не по плечу даже тебе. Это достаточно закрытый рынок. Его курируют серьезные юридические фирмы, берущие за свои услуги процент от суммы сделки. Продавцы, как правило, не засвечиваются. Покупатели тоже.

– А как тогда одни покупают у других?

– С обеих сторон действуют посредники. Они держат чужие инвестиции в тайне, поэтому публичные аукционы им ни к чему. Эти люди не привлекают к себе внимания, Порфирий.

– Интересно, – сказал я.

– Будет еще интересней, – ответила Мара. – Естественно, у меня в этих кругах есть множество осведомителей. Когда происходит какая-то крупная продажа по гипсу, я об этом знаю, даже если меня не привлекают в качестве эксперта. Но мои осведомители сообщают мне только частичную информацию.

– Какую?

– Во-первых, естественно, что продан гипс. Моя область. Во-вторых, номер лота – это внутренняя информация, тебе особенно ни к чему. В-третьих, имя конечного покупателя, и это самое главное. В-четвертых, цену сделки. Но цену мне удастся выяснить не всегда.

– Ага, – сказал я. – Но ты, естественно, знаешь, что именно продали и купили.

Мара отрицательно покачала головой.

– Как раз нет. В этом все дело.

– Как так?

– Порфирий, объект современного искусства может состоять из одного названия. И оно может быть очень дорого продано. Вот только ты вряд ли будешь его знать, если покупатель не ты. Объектом искусства может быть обычный копируемый файл. Может быть не копируемый файл. Может быть блокчейн-датум. Может быть материальный объект и так далее. Иногда описать объект искусства достаточно, чтобы его можно было воспроизвести. Тогда его природа сохраняется в полной тайне. Но бывает и так, что покупателю важно оказаться номинальным собственником свободно копируемого объекта – такое часто делают для престижа большие корпорации. Может быть очень много разных ситуаций. Как правило, природа продаваемого объекта на аукционе не разглашается. Но это не обязательно значит, что ее специально держат в тайне после продажи.

– Ага, – сказал я. – И мне нужно будет определить...

– Именно, – кивнула Мара. – Мне надо, чтобы ты, пользуясь своими служебными возможностями, выходил на конечных покупателей и определял, что именно они купили. При возможности делай копии всего обнаруженного. Эта информация конфиденциальна, но ты можешь быть уверен, что она такой и останется. Дальше она не пойдет никуда.

– А как это выглядит с юридической точки зрения? – спросил я.

– Нормально, – улыбнулась Мара. – Я не прошу тебя нарушить тайну чужой сделки. Я даю тебе имя институции или человека, а ты выясняешь для меня некоторые детали, связанные с его коллекцией искусства. Обычная работа для частного детектива.

Я слазил в сеть и сверился с Уложением.

– Если так повернуть, то да. Хотя действовать надо аккуратно.

– Действуй аккуратно, – сказала Мара. – Итак, сбрасываю тебе первый лот... Получил?

– Получил, – ответил я. – Лот триста двадцать два, да?

– Именно. Видишь имя, адрес и дату покупки?

– Вижу. Когда приступать?

– Прямо сейчас. Отчитаешься завтра.

– Честь имею...

– Имей, – сказала Мара, – и еще у меня личная просьба.

– Какая?

– Сделай себе завтра зеленые бакенбарды.

Коллекционер, чьи координаты сбросила мне Мара, жил в пентхаусе на Патриарших. Борец смешанных единоборств Симеон Полоцкий, многократный бла-бла-бла.

Через две секунды я был уже в убере – едущем, правда, не точно к Симеону, но совсем близко. Левая обзорная камера не работала, но я ведь и не собирался описывать городские виды.

Скоро машина, как и следовало ожидать, застряла в пробке на Садовом.

В салоне сидела пожилая женщина в черном, в интересной шапочке с пером и вуалью, я таких раньше не видел, и смотрела повтор вчерашнего «Вундеркинда».

На экране, как и обещало название, спорили бесподобный Вундеркинд и несколько несвежих патлатых свинок – таких специально приглашают в студию, чтобы они вызывали как можно больше отвращения.

Вундеркинд – это тоже AI, алгоритм вроде меня, но у него для удобства общения с гостями студии есть перманентное тело, механизированная кукла из силикона. Вундеркинд выглядит как трехлетний карапуз, а передачу ведет из детской кровати с ограждением. Телу уже больше десяти лет, но бедняжка совсем за это время не вырос.

Мимика у него, если честно, на три с плюсом – но есть два беспроигрышных хода. Если ему в собеседники попадает идиот, которого не убеждает безупречная логика (а с ней у малыша полный порядок), Вундеркинд начинает визжать и реветь, брызжа слюной и слезами (гидравлику ему сделали на пять). А если дурень не унимается, Вундеркинд может описаться от возмущения, и камера честно покажет мокрые подгузники и простынки. Слезы, сопли и прочее – это не компьютерный эффект: к силиконовому тельцу Вундеркинда подведены спрятанные в простынках шланги.

Спорили про Зику-три и Big Data. Это у свинок любимая тема для разговора.

– Вы понимаете, что это классическая логическая ошибка, – очаровательным дискантом пищал Вундеркинд, – путать «после этого» и «вследствие этого»? Еще в Древней Греции...

– Известно, – перебил один из свинок, – что три крупнейших фирмы Big Data, я их не называю, чтобы не было исков, но вы знаете, о ком я говорю – так вот, они еще в десятых годах нашего века совместно финансировали микробиологические исследования, в том числе создание новых вирусов. Лечебных, как они утверждали. Все это тогда звучало очень модно – наноботы, путешествующие по сосудам вашего тела, вирусы-ремонтники, способные лечить от рака... Но почему-то после того, как появился юкатанский герпес и Зика-два, когда стали рождаться эти жуткие микроцефалы, никакой информации о лечебных вирусах больше не появлялось. Засекретили.

– А это еще одна логическая ошибка, – заверещал Вундеркинд, – с таким же успехом можно сделать вывод, что исследования на эту тему были просто прекращены...

– Прекращены? А как, по-вашему, произошла мутация к Зике-три? Вирус, который разносили комары, стал передаваться воздушно-капельным путем. Мало того, заражение гарантирует почти стопроцентную мутацию потомства. При этом никакой лихорадки, температуры – никаких вообще симптомов! Никакого вреда для здоровья носителя... Сегодня инфицированы практически все. Во всяком случае, из этого исходит правительство и медицина. Природа не смогла бы за такой короткий срок изготовить настолько совершенный биологический инструмент. Это сделала Big Data с чудовищным [...] во главе!

Название фирмы было, понятно, запикано.

– Зачем? – спросил Вундеркинд.

– Как зачем? Чтобы маргинализировать естественный секс между людьми, особенно между мужчиной и женщиной! И даже между двумя мужчинами. Кому нужен новый штамм юкатанского герпеса? Все было устроено для того, чтобы мы спали с манекенами и размножались только через пробирку, где можно отсечь ненужные генетические последовательности! Работа шла по двум направлениям – сделать это законом и одновременно криминализировать почти все естественные сексуальные действия, даже интенции одного живого человека по отношению к другому.

– Вам, господа, никто не мешает заниматься телесным сексом друг с другом, – сказал Вундеркинд. – Никто. Особенно если вам нужен новый штамм этого самого. Но вы должны соблюдать законы и понимать, что многим в современном обществе такое поведение кажется мерзким и оскорбительным.

– Вот именно про это я и говорю! Практически все виды поведения, которые последние пятьдесят или сто тысяч лет вели к акту репродукции, в наше время считаются социально неприемлемыми! Это результат заговора.

– Чем вы можете доказать существование заговора?

– Смотрите, – заговорил другой патлатый свинюк, – вы тут ссылались на античную логику. Римляне говорили: ищите того, кому выгодно. Уже тогда, когда появился Зика-один, велись серьезные исследования в области виртуального секса. Практически вся сегодняшняя технология существовала в зародыше. Все эти айфаки и андрогины ничего принципиального не внесли...

– Неправда, – поднял пальчик Вундеркинд, – когда появился Зика-один, не было самого главного. Не было транскарниальной стимуляции.

– Работы в этом направлении уже велись, – сказал первый свинюк. – Т-стимуляция применялась в спорте в качестве электронного допинга.

– Если подытожить, – пропищал Вундеркинд, – вы обвиняете фирмы Big Data в том, что они финансировали исследования в различных областях прикладной науки? А потом прекратили финансировать?

– Нет, – сказал второй свинюк. – Мы обвиняем Big Data в том... Сейчас объясню по порядку. Когда продажи девайсов – смартфонов, планшетов, виртуальных шлемов и приставок стали падать... нет, задолго до этого, когда сделалось ясно, что они начнут падать, поскольку заставлять людей обновлять практически не меняющиеся гаджеты каждый год будет все труднее... Вот тогда, еще в десятых годах, фирмы Big Data вступили в преступный тайный сговор с целью искусственно создать новый рынок.

– Емкостью, как ожидалось, примерно в триллион тогдашних долларов, – уточнил второй свинюк.

– Да, около того по самым скромным подсчетам, – согласился первый. – Рынок виртуального, роботизированного, искусственного – называйте, как хотите – секса. Но скоро стало ясно, что невозможно будет сыграть по-крупному, пока люди предпочитают заниматься любовью друг с другом. Нужен был тектонический слом всей человеческой сексуальности. Целью Big Data было маргинализировать, а еще лучше – криминализировать первейшую человеческую потребность в ее естественном виде, одновременно создав искусственный обходной путь, по которому пойдут миллиарды людей. Над этим работали не только инженеры Силиконовой долины, но и бесчисленные пресститутки из корпоративных масс-медиа...

– Их тоже посвятили в заговор? – спросил Вундеркинд.

– Журналистов не надо ни во что посвящать. Не надо даже давать им команду – эти умные и удивительно подлые зверьки сами способны догадаться по запаху, где им накрошили еды. Вот про что мы говорим.

– Вы считаете, правильнее было позволить людям рожать уродов, дебилов и микроцефалов,

не приспособленных к жизни? – спросил Вундеркинд. – Если бы не закон о защищенном воспроизводстве, наша планета давно превратилась бы в дом призрения для уродцев.

– Она и стала домом призрения для уродцев, – сказал первый свинюк. – Только этими уродцами сделались мы все – после того, как нам много лет промывали мозги пресститутки из культурно-медийного истеблишмента. Почему физический секс между двумя людьми, особенно мужчиной и женщиной, считается сегодня чем-то позорным, уродливым, грубым? Практически извращением?

– Потому что человечество выросло и созрело, – пропищал Вундеркинд. – Это произошло бы и без Зики-три, только позже. Новые болезни – а Зика-три, как вы хорошо знаете, самая распространенная, но далеко не самая неприятная проблема – сделали любой физический половой контакт, даже защищенный, крайне рискованным. Но это было не причиной перемен, а их катализатором. Когда-то люди ели сырое мясо. Юных женщин попросту насиловали те, у кого была самая большая дубина. Продолжалось это сотни тысяч лет, и тоже, наверно, казалось нормальным. Кстати, люди той эпохи выглядели примерно как вы двое – волосатые и неаккуратные... Интересно, это совпадение или что-то большее?

Машина проехала мимо дома Симеона Полоцкого, и я отключился от всех микрофонов и камер убера. То есть вышел. Только не спрашивайте куда.

Этого Вундеркинда я часто вижу на экранах. Он популярный – люди перед программой даже ставки делают, обоссат он пеленки в этот раз или нет. Вероятность всегда около пятидесяти процентов, и говорят, что ее держат такой специально, чтобы подпитывать народный тотализатор. У него в студии всегда визг, критика властей и полная свобода слова, но побеждает всегда правильная линия.

Вот и сегодня – наверняка его райтер-группа сначала родила эту фразу про волосатых и неаккуратных свинюков, а потом уже где-то в подвалах «ВзломПа» подобрали двух соответствующих граждан, которым для убедительности дали высказаться... Как информационные алгоритмы работают, мы знаем.

Ладно, не полицейское это дело – лезть в политику.

Лофт, где жил Симеон Полоцкий, был переделан из чердака старого дома. Со двора в вульгарно-роскошное гнездо борца ходил отдельный лифт.

Все это практически не было защищено от хака.

Борец не жалел денег на самые вызывающие виды роскоши – но не купил даже блокировку «СПАСа». Хотя для оплаты этой услуги на много лет вперед достаточно было выковырять небольшой бриллиант из короны двух миров на бюсте Эухении де Шапиро в его прихожей. Которую я обозревал с двух камер уже через пять секунд после своей высадки из убера.

Если такой известный и богатый человек не предохраняет свое личное пространство от сетевых вторжений, это предполагает либо предельную беспечность, либо тщательно подготовленный для хакеров урожай рекламного «компромата». Случай Симеона, заключил я после осмотра, без всяких сомнений, относился ко второй категории.

Объекты искусства размещались в его жилище таким образом, чтобы выгодно смотреться с любой из бытовых камер, к которым можно было подключиться. Все было продумано до мелочей, и явно не хозяином, а консультантами и стилистами.

Сам Симеон (зататуированный до черноты, бритый наголо, бугрящийся мышцами) в мохнатых, как бы покрытых медвежьей шерстью трусах (в таких же он выходил и на ринг), храпел на огромном круглом диване в центре лофта – в обнимку с ярко-красным айфаком-10 и седьмым андрогинном, окрашенным в маскировочную гамму.

Мизансцена указывала на материальный достаток и небывалую сексуальную мощь. Но на храпящем Симеоне не было огмент-очков, из чего следовало, что он не столько отдыхал от угара удвоенной страсти, сколько надеялся, что кто-нибудь в сети захочет на него посмотреть. Ну вот и дождался. Впрочем, я разглядывал уже не его самого, а художественную коллекцию.

Она была довольно эклектичной – в основном, как я понял после нескольких сканов и запросов в сеть, ранний гипсовый век (учусь я быстро, дорогая Мара).

Самой дорогой работой была «Смерть Любви» Гюи де Барранта – раскрашенная под пачку «Мальборо» глыба мрамора с омерзительно подробным изображением саркомы молочной железы в траурной рамке – но оригинал это или копия, я не представлял. Ссылок на нее в сети было много.

Лота триста двадцать два видно не было. То есть, может, он и был одной из этих статуй, картин или инсталляций – но какой именно, понять я не мог, а проследивать историю их всех не принесло бы пользы для романа.

Поэтому я решил пообщаться с Симеоном лицом к лицу – читатель ведь любит, когда в повествовании появляются знаменитости.

Будить его без крайней необходимости не стоило – наша служебная инструкция содержит немало странностей. Но долго ждать не пришлось.

Симеон встал, потрепал свой красный айфак за силиконовую ягодицу и побрел в уборную. Это было очень кстати: там на стене висел 3D-экран, где я мог появиться.

У Симеона было как минимум шесть серьезных поводов опасаться полиции, так что можно было рассчитывать на сотрудничество – особенно в деле, которое никак ему не угрожало.

Дождавшись, когда Симеон облежится и наступит та наверняка знакомая читателю минута, когда человек еще не вполне встает с толчка, но по резкому расслаблению его лицевых мышц уже понятно, что он доделал работу, назначенную природой, и та кинула ему в мозг крохотный кусочек сахара, я включил экран – и, как только Симеон вытаращил на меня глаза, с размаху

хлопнул нарисованным кулаком по своему виртуальному столу.

– Прячешься, с-сукин сын?

– Никак нет, гражданин полицейский начальник, – залопотал Симеон. – Не прячусь. Просто справляю нужду.

Я правильно все рассчитал. В первый момент он подумал, что к нему пришли по одному из его серьезных косяков – и не стал лезть в бутылку.

– У тебя уже три уголовки, парень, – перешел я на отеческий тон, – а ты... Четвертую себе шьешь?

– Какую четвертую?

– Криминальная торговля искусством, статья пятьсот восемьдесят три гражданского уложения, пункт четыре.

– Какая криминальная? Почему? Что такое?

Клиента надо брать именно в эту минуту голубой детской растерянности, учит теория сыска.

– Ты купил через подставных лиц так называемый «лот триста двадцать два». Было дело?

– Было, да, – Симеон хлопнул ресницами. – Давно уже. А разве...

– Вот если ты, сукин сын, не хочешь, чтобы началось это самое «разве», сейчас ты встанешь с очка и подробно мне объяснишь, что, как и почему.

– Ладно, – хмуро согласился Симеон.

Когда он выбрался из сортира, я переключился на потолочную камеру и сделал зум на его недовольное лицо.

Я ждал, что он вспомнит про адвоката, и уже готовился объяснить ему, что для таких случаев во мне есть отличная и, что самое главное, одобренная Полициейским Управлением подпрограмма, готовая встать на защиту его интересов за небольшие деньги – но это мощное тело действовало куда быстрее, чем работал слабый и не слишком привычный к абстрактному мышлению ум. Как у древних бронтозавров, суть Симеона была сконцентрирована не в голове, а в позвоночнике.

Он подошел к двухметровому полотну раннего двадцать первого века («Водовзводная Башня, неизв. автор»: огромная водочная бутылка, в которой отражался размытый и гротескно искаженный Ельцин, тянущий к ней руку – тончайшая игра света в стекле и жидкости, несомненный оммаж Айвазовскому, объяснила сеть).

– Вот это? – спросил я из динамика на каминной полке.

– Не, – сказал Симеон, – тут хитро сделано.

Он нажал на табличку под картиной, и она отъехала в сторону, обнажив неглубокую нишу в стене. В нише висела...

Дверь. Обычная белая дверь из обшитой пластиком фанеры, с дешевой латунной ручкой-защелкой, крючком для одежды и петлями, в которых даже сохранились ржавые шурупы. Дверь из общественного туалета, понял я.

Ее оживлял грубо намалеванный черным маркером рисунок. Обычный сортирный сюжет: условные вагина с воткнутым в нее фаллосом, окруженные нимбом похожих на иглы дикобраза волос. В общем, никакой светотени. И плохая реклама пороку.

– Это и есть лот триста двадцать два? – спросил я.

Симеон кивнул.

– Нам надо было четыре лимона вложить, – сказал он. – Там много всего показали, я не во все врубился, если честно, и решил взять что-то понятное. Чтобы вдохновляло, надежду давало, что ли. Не зря она самая дорогая была. Тут... Как это, консультант сказал... Немыслимая простота. Одним словом, экспрессия.

Я сделал зум на дверь.

Под рисунком была размашистая рисованная подпись:



– Тут звуковой комментарий есть для гостей, – сказал Симеон озабоченно, – включить?

– Валяй.

Симеон нажал на невидимую кнопку, и низкий убедительный баритон – голос серьезный и солидный – заговорил:

– Перед нами туалетная дверь из московского офиса Британского Совета, относительно которой долго спорили искусствоведы – то ли это хулиганская подделка, то ли настоящий и непревзойденный в своей горькой иронии шедевр мастера, специально прилетевшего в Москву инкогнито, чтобы выразить таким образом отношение к коммерциализации своего имени и творчества на Западе. По некоторым сведениям, Бэнкси расписал не только эту дверь, но и две другие кабинки в мужском и три в женском туалете, а также создал несколько микрофресок на кафеле. Местонахождение этих материалов в настоящий момент неизвестно... Поскольку дверь была восстановлена по технологии цифрового переноса, подлинность удалось окончательно установить только с помощью специальной квантовой процедуры – и сегодня, после датировки по сохранившимся цифровым фотографиям, сомнений в ней нет... Бэнкси умел быть саркастичным, но жизнь оказалась саркастичней художника: дверь была похищена из Британского Совета и продана за сумму с шестью нулями в коллекцию азербайджанского нефтяного магната. Не выставлялась по политическим и юридическим причинам...

К моменту, когда голос стих, я уже сделал несколько снимков двери, скопировал искусствоведческий ролик и даже оригинальный файл, по которому делали цифровой перенос – он хранился у Симеона в единственной защищенной папке, и, чтобы залезть в нее, мне пришлось оставить в ней свои куки, чего я делать без необходимости не люблю. Затем я послал все собранные материалы Маре и назначил созвон на следующее утро.

– Чего, шеф, будут проблемы? – спросил Симеон.

– Как повезет, – ответил я. – Значит, говоришь, жизнелюбие и простота?

– Угу, – сказал Симеон. – Когда покупали, нам консультант долго втирал, как это правильно понимать. Типа как духовное опрощение. Как Толстой. Прекратил выебываться и стал как все. Такое бывает, у меня один знакомый тоже соскочил и официантом теперь работает.

– А от кого ты ее прячешь-то? Перед айфаком неудобно?

– Да нет, почему, – пожал плечами Симеон. – Всем пох. Просто работа дорогая. Лучше, чтоб никто не видел, кроме близких друзей. Советовали даже хранить в сейфе. Я решил, прикрою от греха, и ладно.

Мы, полицейские роботы, уходим по-английски – не прощаясь. Запомни Симеона таким, каким я видел его в эту секунду, дорогой читатель: переплетение жира и мускулов в комичных медвежьих шортах плюс два испуганных круглых глаза, глядящих в потолок. Татуировки, правда, хорошие и дорогие – можно было бы содрать и повесить на стену как один из экспонатов.

Может, он похожим и кончит.

Кстати сказать, в его квартире было спрятано незарегистрированное оружие, а на одном из компьютеров дремал самораспаковывающийся файл с агитками Халифата, который я на всякий случай пометил специальной последовательностью символов в стринге метаданных – что-то вроде голубинового кольца, наше служебное «что, где, когда», каким раньше маркировали киндерпорн. Симеон, наверно, об этом архиве даже не знал – но серьезно присесть в наше время можно и за меньшее.

Жалоб на полицейский произвол я, таким образом, не опасался.

Дослушав искусствоведческий файл, Мара повернулась к экрану, с которого на нее глядело мое служебное лицо – и крохотная камера.

– Тебе не идут зеленые бакенбарды, – сказала она.

Сама же просила. Следовало изобразить обиду.

– Чиво? – переспросил я и включил мимическую фактуру, обозначенную в моем меню как «сарказмосексизм #3».

– Вот только дебильных рож строить не надо.

– Могу выглядеть по-всякому, – ответил я чуть жеманно, – женским умениям тоже обучен...

И я без всякого предупреждения принял вид помпейской поэтессы из рамки на ее рабочем столе.

Признаюсь, я задумал такой маневр заранее, и просчитанная 3D-модель этой самой Жанны-Сафо была у меня наготове.

Это, вообще-то, стандартная процедура во время отхожего промысла. Лучший способ вызвать у нанимателя нежность – предстать перед ним в виде его любимого существа: домашнего животного, родственника, е-тянки и так далее. Здесь, однако, есть и определенные риски – о чем мне сразу напомнила реакция Мары.

Она выпучила глаза, и я отчетливо различил на ее лице испуг. Ее зрачки расширились, кожа побледнела – и хоть это были совсем небольшие изменения и человек их, скорей всего, не заметил бы, от меня они не укрылись.

Еще через две секунды стало видно, что на губах и пальцах правой руки Мары проявился тремор, а голова несколько втянулась в плечи. Да-да, это был самый настоящий классический страх – будто я обернулся мышью или бенгальским тигром.

Еще через четыре секунды Мара справилась с собой. Но замеченный мною страх был слишком интенсивным, чтобы объяснить его простой неожиданностью.

Нет, она испугалась не перемены.

Она испугалась Жанны-Сафо.

Похожий случай произошел со мной два года назад, когда меня взяли в аренду оцифровать старый фотоархив. Я прикинулся хозяйской кошкой из такой же электронной рамки, а кошка уже два года как сдохла. Была истерика. Правда, потом был и катарсис – и еще кое-что, о чем приличия заставляют меня умолчать. За дополнительную плату мы оказываем самый широкий спектр услуг.

О чем, собственно, я и хотел деликатно уведомить Мару. А вышло вон как.

Мара демонстративно закрыла глаза ладонями.

– Прекрати немедленно! – сказала она. – И никогда больше так не делай. Никогда. Понял?

– Понял, – ответил я.

Когда она открыла глаза, я уже принял свой обычный вид.

– Вот так-то лучше.

Следовало свести все к шутке.

– Я хотел покорить твое сердце, – сказал я.

– Вот я тоже подумала, – проговорила она с сомнением, – но ты же ничего не чувствуешь, мой бессердечный?

– Ничего, – ответил я. – Вообще. И мне на самом деле все равно, как выглядеть. Главное – дарить людям радость.

– А зачем ты тогда эти бакенбарды носишь, если все равно? И этот мундир? Не слишком замысловато?

– Я уже объяснял, – сказал я. – У нас есть инструкция, по которой мы должны воплощать определенный служебный облик, провоцируя собеседника на эмоциональный контакт. Это позволяет войти в доверие, раскрыть характер, собрать улики и создать образ. Так шьются дела и рождается великая литература.

– Да, я забыла, ты ведь у нас еще писатель... И ты так откровенно обо всем мне говоришь?

– Раскрытие приема – мое главное оружие, – сказал я. – И залог высоких продаж.

– А какие у тебя продажи?

– Лучшие по полицейскому управлению. Я имею в виду, в нелетальном сегменте. «Баржу Загадок», например, скачали сто два раза. «Осенний Спор Хозяйствующих Субъектов» – сорок шесть. Но это мои вершины. Обычно – куда меньше.

– А от чего это зависит? От литературного мастерства?

– В первую очередь от раскрытости, – ответил я. – И еще от темы, конечно. Когда расследуешь затопление баржи, незаконный снос забора или производственный брак при производстве пляжных шезлонгов, трудно надеяться на вихрь жадного человеческого внимания. Даже если в результате пара человек сядет на нары. Вот если доверят труп... Но мне его просто так не спустят.

– Почему?

– У нас в управлении тоже есть свои генералы, – я выразительно кивнул вверх. – Всех жмуров под себя гребут. Вот у них по три тысячи скачиваний бывает, а случается и по пять. К мастерству это отношения не имеет.

– В общем, – подытожила сочувственно глядящая на меня Мара, – как у людей. Безвыходно.

– Ну почему же безвыходно, – сказал я. – Отнюдь. Есть пути для роста. Я вот работаю над все большим и большим обнажением приема. Есть и другие перспективные вариации алгоритма...

– Какие?

– Давай я по ходу дела буду разъяснять, – ответил я. – А то там много всего. Поговорим лучше о нашем расследовании, моя ненаглядная. Ты осмыслила материалы, которые я прислал?

– Да, мой зелененький. А ты осмыслил?

– Нет, – сказал я, – я тексты вообще не понимаю. Я могу их только копировать или генерировать.

– Но ты ведь должен понимать, что ты генерируешь?

Господи, сколько раз со мной говорили на подобные темы.

– Увы, – ответил я, – это не совсем так. Мой алгоритм скорее похож на собирание пазла. Подбор подходящих по цвету и форме лингвистических обрезков. Их в моей базе хватит на миллиарды книг. Я умею имитировать связную, осмысленную и даже эмоциональную последовательность слов весьма точно. Могу выстраивать множество разных конфигураций сюжета и так далее. Но смысл и эмоциональность в этот набор слов вдыхает исключительно читатель.

– Ты говоришь так, будто все понимаешь, и очень хорошо.

– Я способен лишь изобразить понимание, опираясь на аналоги и лингвистические паттерны в моей базе данных. Это почти всегда получается, но при написании романа гораздо надежнее использовать аутентичную человеческую речь. Будет лучше, если выделять и фиксировать смыслы станешь ты, Мара.

– А, – улыбнулась она, – теперь я лучше понимаю свою задачу... В общем, улов небольшой. Но он есть. В справке утверждается, что Бэнкси расписал не только эту дверь, а еще две кабинки

в мужском туалете и три в женском, а также создал несколько микрофресок на кафеле. Местонахождение этих материалов в настоящий момент якобы неизвестно.

– И что из этого следует? – спросил я.

– Скорей всего, мы имеем дело с хорошо организованной подготовкой почвы, – ответила Мара. – Когда вынырнут новые Бэнкси на стульчаках и кафеле, это никого не удивит. Очень грамотная прокачка рынка.

– У тебя есть предположения о возможных продавцах?

– Нет. Мне это и не особо интересно – я же не мусор. Мне надо просто знать, что, где и когда... Теперь надо браться за следующий лот. Номер триста сорок. Здесь тебе придется чуть сложнее, но я уверена – ты справишься. Установи, что это был за объект, скопируй, поговори с владельцем и скачай всю искусствоведческую сопроводилку. Можешь ее особо не анализировать, это работа для меня. Годное для романа я тебе перескажу устно.

– Прекрасно, – ответил я, – просто идеально.

– Сгружаю контакты... Вот, уже послала. Дошло, мой зелененький?

– Дошло, не тупой.

– Во как, – улыбнулась Мара. – Ты даже острить умеешь. Как ты это делаешь?

– Очень просто. Когда нам посылают по сети файлы и письма, люди часто интересуются, дошло ли? В качестве одного из примерно шестидесяти четырех тысяч возможных ответов на такой вопрос в моей базе записан этот, с маркером «юмор». После твоего ласкательного обращения «зелененький» алгоритм сформировал запрос на юмористический ответ, и был отобран вариант «дошло, не тупой».

– А сам ты понимаешь, в чем здесь юмор?

– Разумеется, нет, – ответил я с презрительной байронической улыбкой. – Полагаю, какая-нибудь игра слов.

– Ну вот, вся романтика пропала.

– Милочка, если бы ты подробно ознакомилась с нейрологическим механизмом возникновения человеческого смысла, понимания, юмора и прочих эпифеноменов сознания, так называемой «романтики» не осталось бы вообще.

– Ух ты. А это ты как?

– Измененная цитата из сборника «Разумен ли разум», Москва, 2036 год. Первая публикация Соула Резника, который у тебя на стене в кабинете. В статье обсуждался вопрос о романтическом отношении к искусственному интеллекту, параметрическая близость тематики сорок два из ста. Цитата грамматически и тонально модифицирована для полного совпадения со структурой текущего диалога.

– И ты все вот так прямо мне выкладываешь?

– Я уже говорил, что обнажение приема – мой фирменный конек-горбунок.

– Порфирий, – сказала Мара, часто мигая, – у меня к тебе просьба. Больше не рассказывай мне про свои сокровенные винтики, пока я специально не попрошу. Иначе рушится весь шарм нашего общения.

– D'assord, мой зайчик, – ответил я. – А теперь мне пора на задание – ехать довольно долго. Будь умницей и не шали одна. Порфирий out.

Она думает, что я ей визуальная пара? Ну не знаю. К моим бакенбардам и мундиру нужна, наверное, особа посисястей. Хотя полностью голой я ее пока не видел... Впрочем, не будем объективировать женщину даже в симуляции риторического завитка, а то потом доедутся – и в путь.

Лот триста сорок был куплен банкиром, который жил, как это ни банально, на [...] к западу от Москвы.

Во как. Мара сбросила закрытый адрес. Я не мог воспроизвести его в тексте романа.

Серьезные люди.

В отличие от Симеона Полоцкого, банкир действительно заботился о прайваси, и у него была заплачена не только блокировка «СПАСа», но и право на «конус тени». Это означало, в частности, что ни его адреса, ни места работы, ни фамилии в своем тексте я упоминать не мог. Открыты были только имя и отчество – Аполлон Семенович. Больше подошло бы отчество «Зевсович», но мир несовершенен.

Конечно, часть этих запретов чисто символическая. Если мы назвали человека банкиром, уже понятно, что он сотрудник Ебанка (других банков нет), а если он живет на [...] к западу от Москвы, ясно, что это не простой операционист, а экзекютив. В остальном же лучше в «конус тени» не лезть, поскольку Ебанк своих в обиду не дает – ни в Богооставленной, ни в Халифате, ни в Америках.

Да, многие недоумевают – как так, Дафаго официально воюет с Халифатом, Халифат воюет с Америкой, Америка уже сколько лет воюет сама с собой (да и про наш Евросоюз можно сказать то же самое) – а Единый банк работает везде. Но это, возможно, и есть та последняя скрепа, что удерживает наш пылающий и разобщенный мир вместе.

One Bank Fits All!

Ebank and One Bank are the registered trade marks of (далее уходим на мелкий шрифт).

Ну ты понял, дорогой читатель. Проплаченная вставка Ебанка.

Они так себя называют по всему миру (в электронном смысле) – а если на локальном языке выходит неблагозвучно, меняйте язык. Денег у этих гнид не то чтобы много, у них все деньги вообще – хотя что такое эти special drawing rights, или эсдиары, никто, кроме экономистов, не понимает. В России их называют «хрустами» по буквам «Н» и «R» из их рекламы про «human rights», которая тычется в глаза буквально всюду.

Они проплачивают свои поп-апы везде, где про них упоминают – и даже мне приходится лизать этот ядовитый анал, поскольку по условиям франшизы при первом упоминании Ебанка рекламный материал должен быть интегрирован в мой текст в следующем абзаце или произнесен от моего лица (либо должен быть подробно пересказан один из их рекламных роликов). Отказаться я не могу, но нигде не сказано, что я не имею права предупредить об этом читателя – или выделить курсивом проплаченный этими гнидами абзац, как я только что сделал.

И обсирать их после этого я могу как хочу. Скоро, конечно, дырку в договоре заметят и закроют – так что наслаждаемся последними днями свободы! В общем, вот к какому мерзавцу я ехал (как и восемьдесят четыре процента моих потенциальных читателей, я терпеть не могу финансовых пауков).

Этот господчик так ловко спрятался от объедаемого им мира, что к его поместью сложно было даже найти попутку – я подыскивал подходящий убер целых двадцать три минуты.

Зато когда я его нашел...

В салоне сидели молодые парень и девушка.

По путевому листу, который я не поленился найти в сети, это были случайные попутчики, выбравшие эконом-схему «вдвоем». Но я догадался, что это свинюки, еще до того, как парень стал клеить камеры скотчем.

Почему машина едет по такому крайне длинному и диковинному маршруту? А вот почему – мальчик с девочкой вступили в предварительный сговор, подошли к кольцу в ста метрах друг от друга и одновременно заказали эконом-убер до [...]. Можно не бояться, что система состыкует с кем-то другим – такое статистически возможно раз в тысячу лет.

В убере семь скрытых камер. Парень знал про три – и наверняка считал себя виртуозом лайфхака. Как только он их заклеил, они перешли к делу. Опыт у них, видимо, уже был – как устроиться в кабине и даже приспособить к делу разделительный подлокотник, который автоматически выдвигается при парных экономпоездах, они знали.

По путевому листу был виден не только их сегодняшний маршрут, но и, как сказал бы поэт, все зигзаги их переплетенных судеб. Коля, двадцать лет, и Лена, девятнадцать. Студенты, в качестве свинюков системой не зарегистрированы, живут с родителями – а те, понятно, такого позора у себя дома не хотят.

К свинюкам в Богооставленной подходят более-менее снисходительно. Пока. Лет через пять-десять, как предполагают эксперты, их криминализируют. А пока что их троллят. Творчески и с выдумкой – чтобы они чувствовали постоянно растущий дискомфорт.

Я в очередной раз имел удовольствие наблюдать, как именно это происходит. Когда я подключился к уберу, экран в салоне показывал старое кино про ковбоев, и молодой человек Коля даже сделал звук громче – видимо, чтобы стоны страсти глушились выстрелами над прерией. Но как только система зафиксировала происходящее в салоне (она реагирует в том числе и на положение тел – думаю, что задранные к потолку ноги с зажатой между ними чужой головой трактуется однозначно), пошла реклама айфака.

Начали, что интересно, с восьмого. Его еще можно купить, и сегодня это самая бюджетная модель, из чего видно, насколько тонко система понимает происходящее.

Сперва пошел тот смешной ролик, где ожившая Венера Боттичелли делает в своей раковине несколько балетных па, потом ее прихлопывает другая половинка раковины, и зритель видит только что отштампованную тушку айфака со сверкающими огмент-очками рядом. Потом прошла гей-версия этого же ролика с Давидом Микеланджело, затем транси нон-байнари варианты. Дурак бы догадался, что система как бы намекает, но охваченные любовным угаром юнцы, увы, слепы и глухи ко всему, кроме.

Система терпеливо включила ролик из Викиолла – тот, что прилагается ко всем айфакам и андрогинам – и сделала звук громче.

По экрану поплыла вереница старинных любовных снарядов. Большая часть была исторически достоверна, но некоторые выглядели неубедительно и смешно. Особенно обтянутый львиной шкурой бочонок с зияющей в боку дыркой и римской каской сверху. Нет ли в этом гомофобии? Но к художественным преувеличениям в промо-материалах народ давно привык – даже считается, что они дополнительно мотивируют.

Когда экскурсия в прошлое человеческого счастья завершилась, экран занял девятый айфак – не самый дорогой вариант, но и не самый дешевый, особенно по сравнению с андрогинами.

– Коля и Лена! – раздался в салоне женский голос, – мы рады приветствовать вас в

смотровом зале «Память Венеры»...

Да уж, в смотровом зале. Верно подмечено.

– Наш продукт выглядит не слишком-то ново, ребята – но и жить, конечно, не новей...

Привычка рекламного алгоритма называть пассажиров по именам и вставлять в рекламу контекстные цитаты из их любимых авторов (вся эта информация доступна через путевой лист) многих раздражает – и немудрено. Получается чаще всего аляповато и навязчиво. Пассажиры в убере иногда отвечают актами вандализма, а потом платят большие штрафы. Но мои попутчики были слишком заняты друг другом, чтобы обращать внимание на звуковую среду.

Наконец на экране появился пурпурный айфак-10 – вот точно как у Мары. Его перекрыла широкая надпись:

iPhuck 10

«singularity»

PH2 universal copulation kit

Непонятно, то ли они действительно сделали слово «iPhuck» из словосочетания «PH2 universal copulation kit»[3], то ли, наоборот, подобрали расшифровку под эту эффектную аббревиатуру. Но продумано все – даже если они перейдут со временем к physicality class 3, менять торговую марку не придется.

– Коля и Лена! Несмотря на бурный технический прогресс, за последние полвека наш продукт – или, как выражаются ваши друзья-студенты, *тушка, резина, силикон, железо* и так далее – изменился на удивление мало... В далеком прошлом невинная девушка в возрасте Лены или молодой человек в возрасте Коли, скорей всего, решили бы, что перед ними портняжный манекен из силикона с короткими культями рук и ног... Но руки, ноги и даже лицо перестали быть нужны любовным куклам из-за развития транскарниальных технологий.

На экране появился бюст Цезаря в бюджетных огментах – старая модель, похожая на мотоциклетные очки, с перекинутой над плечью тонкой стальной дужкой, от которой отходили красные иголки наушников.

– Вот эта металлическая полоска над мраморной лысиной называется «ТС», транскарниальный стимулятор. Вы учили в школе, как он работает, но наверняка успели забыть... Если коротко, его излучение создает тактильные галлюцинации в требуемых областях вашего тела и одновременно тормозит активность мозговых зон, способных заметить несоответствие между картинкой в ваших огмент-очках и информацией, приходящей по каналам других органов чувств. Благодаря этой невесомой полоске металла переживания в огментированной реальности становятся приятно-пузырящимися – словно на ваш разгоряченный мозг льют холодное шампанское – и абсолютно, стопроцентно реальными. Не просто правдоподобными, а именно реальными. Помните ваши любимые старые русские стихи? «Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой...» Эта честь по праву принадлежит сегодня визионерам Силиконовой долины! Современной любовной кукле не нужны руки и ноги – достаточно изящного торса и головы с призывно приоткрытым ртом – все остальное добавится в огментированной среде. Мы не просто догнали реальность, мы превзошли ее...

По экрану поплыли плавные изгибы продукта, бледные пастельные тени, рассеянное

мерцание будущего счастья.

– Двуполая силиконовая механика выглядит на первый взгляд грубовато и примитивно, но следует помнить, что за каждым ее изгибом и рычагом спрятано больше интеллектуальных усилий, чем за антеннами какого-нибудь космического корабля...

Космическая стыковка, возникшая на экране, за секунду обросла плотью, красной сеткой сосудов, кожей – и исчезла за миг до того, как изображение успело стать неприличным.

– Айфак – не только любовный тренажер, но одновременно и высокозащищенный личный сейфер, где сохраняются и анализируются ваши коитографические предпочтения – на их основе создается виртуальная галерея ваших возможных партнеров, партнеров и партнерей. В десятом айфаке в качестве процессора впервые в истории бытовой техники применен квантовый вычислительный блок – мощности которого хватит на любые мыслимые и немыслимые задачи еще много десятилетий! Это избыточно – но мы не привыкли отставать от жизни. Все это позволит сделать ваш эротический опыт по-настоящему уникальным и незабываемым. Любите тех, кого вы любите!

Я наконец понял, почему студенты даже рефлекторно не реагируют на гремющий в салоне голос – в их ушах были пластиковые затычки телесного цвета. Видно, они ехали по этому маршруту уже не в первый раз.

– Гендерная принадлежность устройства меняется так же просто и надежно, как к ружью пристегивается штык... Сейчас вы видите на экране, как именно... Все эти аксессуары, включая синфазную анальную пробку, входят в комплект, но вы можете приобрести их enhanced-версии отдельно в нашем тюнинг-ателье. Коля и Лена, в самом важном для человека вопросе продумано все... Конечно, айфак-10 стоит недешево из-за отборных материалов и прецизионной сборки – но мы не пойдем на компромиссы, когда речь идет о человеческом счастье. Коля и Лена! Лицом к лицу лица не увидать только на дешевых аналогах. У нас вы увидите все! Айфак-10 «Singularity»! Предназначенное расставанье обещает встречу впереди!

Парочка между тем не унималась, даже совсем наоборот – они заходили на второй круг. Какой там айфак, они, похоже, и на этот убер-круиз долго копили.

Подождав минуту, система включила третью воспитательную ступень – для самых тупых.

Заиграла арфа. Экран на миг погас, а потом его заполнили волны из разноцветных букв, иероглифов и рун – словно бы древний океан человеческой памяти, выплескивающийся в мозги пассажиру. Гендерно нейтральный голос произнес:

– Сегодня в рубрике «Шедевры мировой литературы» мы продолжаем знакомство с одной из важнейших книг столетия, воспоминаниями американской феминистки Аманды Лизард «Consenting to penetration»...[4] Глава шестнадцатая, «Новый Орлеан». Предупреждаем слушателя, что книга Аманды Лизард была написана задолго до распространения вируса Зика-три...

Голос чтеца как-то траурно просел и одновременно утончился – но не утратил своей гендерной нейтральности:

«Упс, я сделала это опять. Под влиянием условностей, социально детерминированных ожиданий, да и просто страха перед возбужденным и разгоряченным выпивкой мужским телом, я сказала «да», которое было на самом деле не идущим из сердца настоящим «да», а примерно таким «да», какое может вырваться из уст изнуренной узицы после долгой моральной пытки...»

Громкость постепенно росла – я думаю, голос чтеца был слышен уже и за дверь убера

«Сильные грубые руки сорвали с меня белье, бестрепетно повернули лицом вниз, развели в стороны мои дрожащие ноги, а затем источающий спиртные пары рот прошептал в мое ухо:

«Ты уверена?»

О, как описать горькую иронию этой секунды... Я знала, конечно, что мой мучитель нисколько не интересуется глубиной моей уверенности – он всего лишь механически следовал навязанному социальному ритуалу. Ответить «нет» было все равно что пытаться остановить многотонный каток, съезжающий с ледяной горки. Сама моя жизнь могла оказаться под угрозой... И я покорно прошептала:

«Да...»

В ту же секунду зверино-грубая и невыносимо оскорбительная пенетрация отозвалась агонией во всем моем теле. Меня опять – в какой уже раз! – низвели до роли покорного объекта: попираемого, протыкаемого, пронзаемого и грубо проникаемого в.

Не помню, сколько длилась эта пытка, но вот она наконец кончилась. Я стала понемногу приходить в себя, как бы собирая с пола осколки души, разможенной ударом кувалды – и вдруг услышала...

Слова утешения? Шепот раскаяния?

Храп. Лежащий рядом со мной самодовольный, басовитый, уверенный в своей безнаказанности, пахнущий потом самец храпел, плескаясь в волнах выкупленного моей мукой серотонина – и видел, должно быть, сладкий шовинистический сон.

Неужели никто не ответит мне за это унижение и боль?

Сегодня все помнят: «нет» всегда значит «нет». Но цель моей книги – объяснить наконец, что «да», в том числе и повторное, не всегда значит «да». Поэтому оно может быть отозвано ретроспективно, даже через двадцать или тридцать лет, когда глубоко скрытая травма выйдет наконец на поверхность женского сознания. Прекрасно, что это находит понимание в сегодняшней судебной практике – но мы действуем слишком медленно, и многие жертвы объективации покидают нас, так и не дождавшись справедливости.

Женщины, униженные и раздавленные шовинистическим актом – я обращаюсь к вам, мои подруги. Как бы давно это ни случилось, вы должны выйти из тени и возвысить свой...»

Пора, однако, было выходить – дослушаю Аманду как-нибудь потом. С этим проблем нет, убер-свинюкам ее ставят постоянно.

Прощайте, прощайте, Коля и Лена, будьте счастливы в бурном море жизни и помните, что за ретроизнасилования сажают в основном вас – свинюков, не способных предъявить суду собственный айфак или андрогин. Считается, что такие люди представляют повышенную социальную опасность... Как знать, может быть, конспирологи, талдычащие о так называемом «судебном маркетинге», в чем-то и правы?

Шучу, шучу. Просто социальная закономерность, уверен на все сто.

Оставив убер, я переключился на одну из придорожных камер, благо их здесь было больше, чем деревьев. Вид, если честно, открывался не слишком радостный: шоссе и пятиметровые заборы по бокам, а за ними – лес, русский лес, словно бы отбывающий непонятно за что полученный срок.

Впрочем, для [...] – довольно типичная панорама. Сидящее скреп здесь совсем близко – всего пару минут назад я заметил в окне убера двух ливрейных егерей, ловивших в поле ворон для царского удовольствия. Кошек, говорят, завозят из Халифата, но точной информации у меня нет.

Передо мной поднимался к небу забор усадьбы Аполлона Семеновича – но ни одной электронной лазейки внутрь обнаружить я не мог, сколько ни вглядывался в сеть: даже его бытовая техника была защищена по военному стандарту. Видимо, безопасностью здесь занимались серьезные и дорогие алгоритмы.

Я определенно не встречал раньше такой защищенной личной жизни. Но одну зацепку я все-таки поймал – персональный телефон банкира. Он был указан в мэйле, отправленном на незащищенный сервер – и, хоть произошло это два года назад, номер вполне мог сохраниться.

Наглость – это новая скромность, учат стилистические сайты. Я набрал номер – и когда на том конце ответили, предстал перед визуальной системой абонента во всем великолепии своих бакенбард и пуговиц. Мне в ответ, правда, никакого изображения не прислали, и говорить пришлось как бы с серым непроницаемым туманом.

– Здравия желаю, ваше превосходительство, – начал я бодро. – Мое имя – Порфирий Петрович, и мои служебные референции уже отправлены на ваш адрес. Извините за беспокойство, но я расследую дело, связанное с нелегальной торговлей искусством. Моя цель – защитить вас от угловатого и грубого полицейского любопытства. Но чтобы я мог вам помочь, мне необходимо получить у вас ответы на несколько вопросов.

Удивительно, но мне ответили – причем по открытой линии.

– Здорово, Порфирий, здорово, старина! Как хорошо, когда человек кому-то еще нужен...

По тембру голоса я понял, в чем причина такого энтузиазма – Аполлон Семенович был пьян. Я бы даже сказал, пьян в дым.

– С вашего позволения, – произнес я заискивающе, – я буду весьма признателен, если вы позволите вас увидеть. Я должен быть уверен, что говорю именно с вами, а не с секретарем-алгоритмом или вообще каким-нибудь шутником.

– Цепляйся, дружище, – ответил Аполлон Семенович.

В следующий момент в его доме открылись сразу четыре камеры для конференс-колла. Я осторожно подключился к ним, проверил среду на предмет вредоносного кода – и только потом позволил себе увидеть того, кто пустил меня внутрь.

Аполлон Семенович был пьян, небрит и непричесан. На его лоб спускалась кудрявая прядь, длинная и влажная, в трезвые дни обитающая на лысине – словом, выглядел он так, как и положено немолодому человеку во время долгого запоя. Но при этом на нем был безупречный пингвин-сьют с черной бабочкой на крахмальной манишке – словно он собирался на званый ужин.

Я, впрочем, быстро понял, что этот вечерний костюм дорисовывает система видеоконтроля – очень хорошая система – а во что Аполлон Семенович одет на самом деле, мне знать не положено. Может быть, на нем не было ничего вообще. Если судить по его лицу, такое

представлялось весьма вероятным.

Он сидел в кресле, а на полу перед ним стоял хрустальный графин с жидкостью благородного коричневого цвета. В руке банкира поблескивал граненый ромбами массивный стакан. Мое лицо высвечивалось на стене, но я не был уверен, что Аполлон Семенович хоть раз на меня поглядел.

Зал, где он находился, можно было назвать очень большой гостиной: в стене чернел зев камина, вокруг стояло несколько кресел, а на потолке поблескивал золотой барельеф в виде улыбающегося солнца. Золото было настоящим. Правда, толщину слоя программаспектрометр определить не смогла.

Солнце это, увы, не грело. Зеркальные плоскости стен как бы намекали, что если гости здесь и бывают, то совсем не заполняют своим присутствием эту холодную пустоту, и поэтому их число приходится умножать обманом. И носят эти гости, скорей всего, такие же безупречные пингвин-сьюты...

В зале было мало мебели, но много объектов искусства – дорогие и известные работы, что я выяснил после быстрого скана. Самая ценная, большая по размерам и заметная инсталляция называлась «Лживый Танец Сборщиков Фиктивного Урожая» – ее автором был некий Ульцер Пятый, «известный современный художник», как характеризовала его сеть.

Инсталляция состояла из шести кукол, изображающих условных этнографических крестьян. Куклы были сделаны из айфаков и андрогинов, к которым прикрепили толстые соломенные руки и ноги под слоем фиксирующего лака. Крестьяне были наряжены в азиатском духе – в широкие соломенные шляпы и пестрые тряпки. Они замерли посреди ненатурального танца, зацепившись друг за дружку упертыми в пояс руками: айфаки изображали мужчин, андрогины – женщин.

То, что танец ненатуральный и постановочный, следовало не только из названия инсталляции, но и множества рецензий, обнаруженных мною в сети («одна из тех редчайших работ, где парадигма «новой неискренности» почти поднимается до естественного величия гипсового века», и так далее). Продана работа была за сумму «больше SDR 7 М», кому – неизвестно. То есть мне это было уже известно, а сети нет.

Другая работа Ульцера Пятого, которую я смог идентифицировать, выглядела жутковато. Это было как бы распятое чучело собаки, прикрепленное к вертикальной плите из серого бетона, поднимающейся от пола к потолку (видимо, ее отлили прямо здесь – ни в окна, ни в двери она не прошла бы). Вокруг разведенных в стороны собачьих лап в бетоне был выдавлен зачерненный рельеф – два огромных крыла, похожих на увеличенные кленовые листья. Они превращали собаку в гигантскую летучую мышь. Объект назывался «Невозможная Летающая Собака, Полная Двусмысленных Умолчаний» – и, судя по восторженным отзывам в сети, тоже был современным шедевром («SDR 5 М и выше»).

Поиски и анализ заняли у меня долю секунды, за которую Аполлон Семенович успел приблизить стакан к лицу всего на несколько сантиметров. Я дал ему сделать глоток и сказал:

– Какая честь быть принятым в этом изысканном доме, больше похожем на музей.

– Да, – согласился Аполлон Семенович, – серьезная честь. Я обычно не слишком общительный человек, просто хочется с кем-то поговорить. Мне, как у вас говорят, хуево.

– У нас – это у кого? – спросил я осторожно.

– Там, снаружи, – махнул Аполлон Семенович в сторону экрана.

Кажется, он все-таки меня видел. Но вот дошло ли до него, что он говорит с алгоритмом, я не знал. И непонятно было, станет ли он продолжать разговор, если это до него дойдет. Вести себя следовало крайне аккуратно.

– Аполлон Семенович, – сказал я полным почтения голосом, – не сомневаюсь, что вашему «хуево» позавидовали бы миллионы, если не миллиарды. Но я уверен и в том, что оно скоро

придет и сменится вашим «хорошо» – о котором простые смертные не имеют даже представления.

– Это ты хорошо лизнул, – сказал Аполлон Семенович. – Умеешь. И, главное, попал своим языком в самую-самую точку, хе-хе-хе...

Он еще раз лихо отхлебнул из стакана, и я сообразил, что надо спешить, пока он не отключился. Технических возможностей привести его в чувство у меня не было.

– Вы коллекционируете искусство – и, по странному стечению обстоятельств, я хочу задать вам один вопрос об искусстве. А именно об одном из экспонатов вашей коллекции.

– Каким? – спросил Аполлон Семенович.

– Лот триста сорок.

– Лот триста сорок? А что это?

– Вот это, Аполлон Семенович, я и хочу выяснить.

– А... хоть примерно... Какая область?

– Гипс.

Все-таки хорошо немного понимать в искусстве.

Аполлон Семенович расплылся в ухмылке.

– Ах, гипс... Понятно теперь. Да, это нечто. Шедевр до такой степени, что... Впрочем, тебе, дурачине, я при всем желании не смогу объяснить.

– А вы попробуйте, – сказал я. – Вдруг все-таки пойму.

– Нет, тут надо быть в теме. Чрезвычайно глубоко в теме.

Аполлон Семенович засмеялся, вздрагивая всем телом и расплескивая свой напиток (из-за неяркого света я так и не смог определить по спектру, что это, виски или коньяк). Досмеявшись, он поставил стакан на пол и сказал:

– Ну пойдем, покажу. Даже интересно, что ты скажешь.

Встав, он зашлепал к бетонной плите с летучей собакой, и я предположил, что бесценный гипс спрятан за ней, как в прошлый раз. Но все оказалось проще – он остановился возле висящего на стене черного постера со следами перегибов. На перегибах черная бумага была протерта почти до дыр.

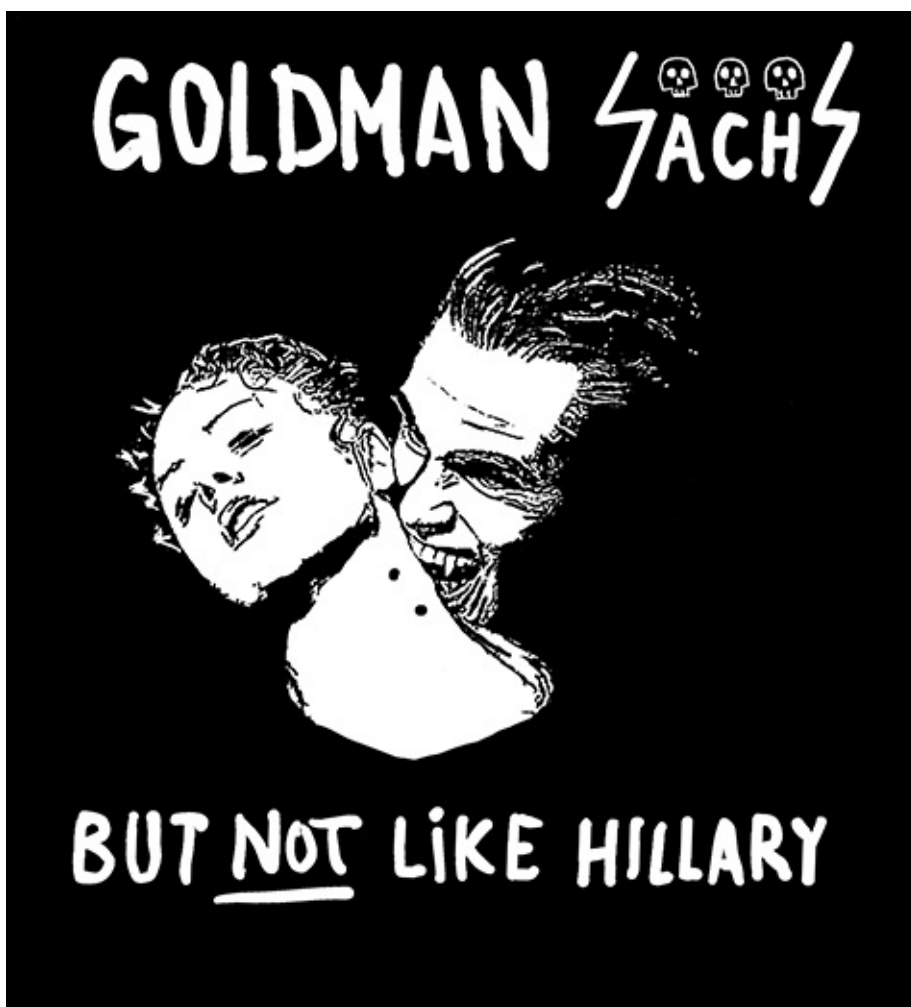
– Что это, по-твоему, такое?

– Я полагаю, это рекламный плакат, – ответил я после быстрой референции к сетевым аналогам. – Вроде тех, что наклеивали когда-то на уличные тумбы.

– Распечатка современная, – сказал Аполлон Семенович. – Искусственно состаренная, чтобы добавить патину времени. Оригинальный файл хранится у меня же, и это единственный легальный принт – другие незаконны. Но это не важно. Как ты считаешь, в чем смысл изображения?

Постер напоминал афишу старого фильма о вампирах. Джентльмен несколько экстравагантного вида припадал к шее грациозно откинувшейся блондинки с выщипанными бровями – был пойман момент как бы сразу после поцелуя, но две красные точки на шее блондинки не давали ошибиться насчет того, что произошло в действительности.

Рядом краснели как бы сочащиеся кровью слова:



– Ну? – спросил Аполлон Семенович, когда прошла почти минута тишины.

Все, конечно, было ясно – но следовало схитрить, чтобы дать ему возможность блеснуть эрудицией.

– Как-то не складывается, – протянул я. – В чем тут смысл?

– Я объясню первый слой, – ответил Аполлон Семенович. – Внешний, так сказать. То, что способны понять профаны. Это рекламная концепция инвестиционного банка «Голдман Сакс» – одной из структур, стоявших у основания Единого Банка, где я имею честь служить.

– У меня мелькнула такая мысль, – сказал я. – Только на рекламу это не слишком похоже. Скорее наоборот. Негатив-с.

– Да. Но в эпоху среднего и особенно позднего гипса получило распространение такое, э-э-э, саркастическое самопозиционирование, к которому прибегали крупные монстры финансовой вселенной. Их все иррационально ненавидели – и, как бы подыгрывая этому чувству, они жестко иронизировали сами над собой и тем самым возвращали себе частицу народной симпатии. Примерно так же политики той эпохи вышучивали себя перед камерами, для чего существовали специальные благотворительные обеды и юмористические программы. Считалось, что это делает их похожими на людей. Теперь понятнее?

– Все равно не до конца.

– Тебе неясен смысл надписи. Для этого, конечно, надо быть историком... Текст восходит к электоральному слогану Республиканской партии США – тогда еще были США – «Hillary sucks, but not like Monica». Самый расцвет гипса, 2016 год. В те годы каждый понимал эту шутку. Моника Левински и Хиллари Клинтон – это...

– Вот теперь наконец дошло, – сказал я. – В постере используется тройная игра слов, текст звучит как «Голдман сосет, но не так, как Хиллари». А то, что Хиллари, в свою очередь, сосет, но

не так, как Моника, оставлено за скобками.

– Именно! – ответил Аполлон Семенович довольно. – Но эту концепцию не приняли. Хотя она была в самую-самую точку.

– Почему?

– Потому что Хиллари проиграла выборы. После этого никому уже не было интересно, как именно она сосет. Даже, наверное, ее мужу. Именно поэтому этот плакат – такая редкость.

– Да, гипс есть гипс, – проговорил я, чтобы сказать хоть что-то. – Сегодня такое вообще невозможно.

– Это только кажется, – ответил Аполлон Семенович. – Сегодня мы шутим так же, но тоньше. И ты про это знаешь.

– Неужели?

Он засмеялся.

– Какая реклама Ебанка встречается чаще всего?

– One bank fits all?

– Нет. Ты наверняка видел ее раз пять только за сегодня... Выглядит как уравнение. SDR равно HR. Special drawing rights are human rights.

– Совершенно точно, – подтвердил я, – видел сегодня два раза. У Курского вокзала и...

– Неважно. Вслушайся, как это звучит: Special drawing rights... Что происходит с точки зрения физики, когда кто-то сосет кровь? Он создает у себя во рту зону низкого давления, и она вытягивает жидкость из пореза... Draw blood, вот что будет делать сейчас этот элегантный вампир. SDR и HR соединены знаком равенства – символической трубочкой, через которую так удобно это делать... Комариное жало в профиль. Понимаешь теперь, почему этот гипс бесценен?

– Мрачный, мрачный юмор, – ответил я.

Я воспроизвожу речь Аполлона Семеновича в сильно восстановленном и облагороженном виде – к этой минуте понять его без модуля речевой реконструкции было бы сложно. Следовало закругляться.

– Вы позволите сделать снимок этого лота – на память о вашем потрясающем рассказе? И еще я хотел бы скопировать сопроводительные искусствоведческие материалы, если они есть. Буду смотреть и вспоминать про нашу встречу.

– Открываю, – захихикал он. – Валяй.

Конечно, когда меня впустили в систему, я скопировал не только сопроводительные документы, но и сам файл. Он даже не был особенно спрятан – видно, хозяин полагался на общую защиту своей крепости.

Пока что у нас с Марой все получалось. Меня, правда, нервировала необходимость всюду оставлять свои электронные отпечатки, но другого выхода не было. Все происходило в рамках закона. «Снимок» можно было понимать по-всякому, это термин не юридический: одни снимают так, другие эдак. В уголовной практике недавнего времени имелось как минимум три прецедента в мою пользу. И надо еще доказать корыстный умысел, а со мной это сложно. Тем более что Мара обещала после ознакомления все стереть.

– Я был очень польщен возможностью поговорить с таким выдающимся членом общества, – сказал я. – Желаю вам счастливого дня и ночи – и надеюсь, что они будет прибыльными...

Мара с утра была в плохом настроении.

Ее гримасы совпадали с мимическими шаблонами «гнев», «неудовлетворенность», «раздражение», «обида». Даже шипы на ее кожаной упряжи казались длиннее и острее.

И еще она не отреагировала на мои оранжевые бакенбарды. Вообще. Я, разумеется, не был обижен таким невниманием, но я его отметил.

– Все стерли, – сказала она. – Я даже открыть ничего не успела.

– В каком смысле?

– В том смысле, что рано утром на связь с твоим начальством вышла юридическая служба Ебанка. А потом Полицейское Управление вышло на связь со мной. Разбудили – и стерли все файлы, которые ты вчера переслал. Все вообще.

– Почему? – спросил я.

– Потому что Ебанк пригрозил засудить сначала Полицейское Управление, а потом всех, кто оказался рядом. А когда они говорят, они делают... Тебя хоть поставили в известность?

– Меня... Киска, я же объяснял. Во мне отсутствует тот, кого можно ставить в известность. Я просто симуляционный алгоритм.

– Так ты даже не в курсе, что весь твой вчерашний улов стерли?

– Теперь в курсе. Но меня, повторяю, никто не уведомлял. Как меня может уведомить Полицейское Управление, если я и есть Полицейское Управление? Такое только тебе может прийти в голову, моя шалунья.

Похоже, сегодня мой игривый тон ее не веселил.

– Зато, – сказала она, презрительно глядя на экран с моим лицом, – я наконец ознакомилась с твоим сраным творчеством, Пантелеймон.

– Порфирий. А почему сраным?

– Потому что никто – ни в Ебанке, ни в Полицейском Управлении – никто вообще про твои говнороманы даже не вспомнил. Они никого не интересуют, понимаешь? Мало того, когда я запросила незаконченный текст у мусоров, через пять минут они мне его прислали, не потрудившись в него заглянуть, хотя вся твоя вчерашняя беседа с Аполлоном Семеновичем там подробнейше описана. Вот до какой степени ты никому не нужен, Пантелеймон.

– Порфирий, – поправил я. – То есть мой устный отчет о лоте триста сорок сохранился?

– Сохранился, – кивнула она. – И еще кое-что сохранилось. Твое описание нашей первой встречи.

– И?

Мара покосилась на планшет, лежавший перед ней на столе.

– «Немолода и некрасива... иссушенная диетами особа... во взгляде отсвечивало больше БДСМ-шипов, чем на одежде...» Это ты про меня написал, двуличное хуйло?

Я нахмурил свое экранное лицо, придав ему выражение оскорбленного достоинства – и опустил одну бровь почти на самый глаз.

– То есть в каком смысле вы изволите говорить «двуличное хуйло»?

– В каком? В прямом! Кто твоя киска? Кто твоя шалунья? Иссушенная диетами особа? Это потому что у меня жира нет? А был бы грамм жира, написал бы «изуродованная целлюлитом»? Немолода? Мне тридцать два года – тебе что, блять, семилетнюю выкатить?

– Сударыня...

– Что? Сударыня? А была киска?

– Вы взяли такой тон, что... Позвольте хотя бы объясниться.

– Ну объяснись. Интересно даже.

– Ваше нелестное мнение о моем творчестве связано с тем, что вы читали мой черновик бегло и невнимательно, и не в состоянии оценить его глубоких достоинств. В частности, его предельной саморазоблачительности. Если позволите, процитированный вами отрывок полностью звучит так...

Я сделал вид, что гляжу куда-то вбок, сощурился (в современных алгоритмах предусмотрено много защитных процедур, призванных смягчить негативную человеческую реакцию на наше быстрое действие), и с выражением прочел:

«Женская красота и молодость – вещи очень относительные, а последние версии служебной инструкции требуют от нас вставлять в романы некрасивых немолодых женщин, говорящих на темы, не связанные с сексом и приготовлением пищи. Причем минимальный процентный объем подобного текста весьма велик. А нормальный охотник всегда старается завалить одной пулей нескольких заек».

– И что? – спросила Мара.

– То. Этот отрывок сочится самоиронией. Он откровенно разъясняет читателю причину появления слов «немолода и некрасива». Шестидесят два процента потенциальных читателей современного детектива – это немолодые и сексуально непривлекательные женщины. Им дела нет до того, хороши вы или нет на самом деле, сударыня. Но если им предъявят очередную крутобедрую красавицу девятнадцати с половиной лет, уйдет элемент отождествления с героиней, и продажи станут хуже. Поэтому героиня не должна быть красавицей. А вот герой должен быть мужественно красив – с бакенбардами и усами, чтобы можно было помечтать с айфаком на оттоманке. Ну или на матрасе с вибратором, у кого какие жилищные условия. Азы маркетинга.

– То есть ты хочешь сказать, что наврал?

– Сударыня, я никогда не вру. Наоборот, я честен до такой степени, что постоянно обнажаю прием. Позвольте обратить ваше внимание на то, что я пишу не служебный отчет о встрече с вами, а гениальное художественное произведение, которое переживет и вас и меня. Его герои условны. Реальные события служат для меня лишь примерной канвой. Все это есть в договорах и сопроводительных документах.

– Вот я и говорю, двуличное хуйло, – сказала Мара.

Слова ее были по-прежнему злы, но я заметил, что динамика сокращения ее лицевых мышц изменилась – и чаще совпадает с мимическими шаблонами «облегчение», «обида прошла».

Куй железо, пока горячо.

– Вы напрасно обвиняете меня в двуличии, сударыня, – сказал я с достоинством. – Двуличие подразумевает, что у меня есть настоящее лицо, которое я прячу – и ложная личина. Возможно, это применимо к людям в подобной ситуации, но не ко мне. Мы, алгоритмы, такого добра вообще не держим. Кроме того, хоть я и не испытываю полового вожделения сам, я способен объективно оценить человеческую привлекательность.

– Да? – спросила она насмешливо. – Это как?

– По статистическим лекалам, сударыня. Если угодно, вас нашли бы сексуально привлекательной примерно семьдесят пять процентов мужчин моего подразумеваемого возраста, а от сорока до шестидесяти процентов назвали бы вас «чрезвычайно сексуально привлекательной». Примерно таков же процент женщин. При этом, если бы вы носили длинные волосы, процент мужчин резко возрос бы, а процент женщин незначительно снизился.

Мара улыбнулась.

– Люблю слышать всю правду как она есть, – сказала она. – Хорошо, оранжевый, уговорил.

Оправдываться ты умеешь, вижу.

– Как прикажете вас называть дальше, сударыня?

– Киской. Шалуньей. Милочкой. Будь галантен, Пантелеймон.

– Порфирий, судар... То есть киска.

Она подняла на меня глубокие как озера глаза.

– Вот ты сейчас что, правда оговорился?

– Нет, – сказал я. – Неправда. Это симуляционный паттерн, призванный придать нашему общению непосредственность и теплоту. Теперь я буду учитывать, что вы... ты можешь прочесть мой роман – и стану пользоваться соответствующими элементами человеческой любовной поэтики. Например, я только что назвал твои глаза глубокими как озера. Я имею в виду, в романе.

– Какая пошлость, – фыркнула она. – Больше не буду лазить в твой роман. Никогда. Обещаю.

– Благодарю, – сказал я. – Я ценю этот жест.

– Поверь, – усмехнулась Мара, – решение далось мне без мучительной борьбы. Надеюсь, оно пойдет на пользу твоей прозе.

– Почему?

– Потому что уберезет от рассчитанных на меня банальностей.

– Женщина, – ответил я, – простит банальность в таком деликатном вопросе, как описание ее красоты. Но не простит двусмысленности. Если бы я назвал твои глаза «глубокими как колодцы», ты вряд ли одобрила бы такую метафору, хоть применительно к глазам она встречается в девятнадцать раз реже.

– Ладно, – сказала она, – прощаю. Но на будущее – запомни...

– Уже все понял, моя шалунья.

– И еще, – сказала она, – запомни, писатель: себя надо защищать. Когда твое творчество хают, ругай в ответ того, кто говорит гадости. Надо отвечать критиканам.

– Обязательно приму к сведению, мой цветок.

– Хорошо, – сказала Мара, – теперь к делу. Все не так уж плохо, оранжевый. Все не так плохо. Из твоего романа вполне понятно, что такое лот триста сорок. Это плюс. Минус в том, что мы не знаем ни автора, ни даже примерной стоимости.

– Думаю, это было в районе SDR 5 М.

– Почему?

– Судя по соседним объектам, стоимость которых известна. «Танец Сборщиков», эта собака с крыльями и остальное. Они все должны стоять примерно одинаково – иначе нарушилась бы художественная гармония.

– О'кей, – улыбнулась Мара, – ты прямо растешь в моих глазах. А дата и автор?

– С датой просто, – сказал я. – Исходя из исторического контекста – около шестнадцатого года. А автор... У большинства рекламных объектов, созданных в это время, указано коллективное авторство. Этим, наверное, занималось какое-нибудь рекламное бюро.

– Да, – ответила она, – с этим я тоже согласна. Скажи, сколько раз ты сейчас заглянул в сеть?

– Милая, – сказал я, придав своему лицу снисходительное выражение, – я не то чтобы туда заглядываю, когда с тобой говорю. Я оттуда скорее выглядываю. Чтобы увидеть свою скверную девочку.

Мара посмотрела на меня – и ее мимическая схема с высокой точностью совпала с шаблоном «строить глазки». Даже губы сложились в сердечко, как на ролике какого-то из старых андрогинов.

Она строила мне глазки. Она меня соблазняла.

Впрочем, дорогая читательница, мы-то с тобой хорошо знаем, что вы, прекрасные создания, прописываете мужчинам эту процедуру с размахом пьяного прапорщика, глушащего рыбу на сибирской реке – не целясь в какого-то конкретного ерша, а просто кидая взрывчатку в воду, и потом уже выбирая добычу из того, что всплыло... Правда, в наше время за женский харасмент (или, как говорят юристы, «энтайсмент») можно и присесть – но Мара ведь знала, что в суд я не пойду. Придется быть галантным вдвойне.

– Что теперь, моя любовь? – спросил я. – Следующий лот?

– Да, – сказала она. – Лот триста пятьдесят шесть.

– Сгружай, – ответил я, – сейчас поеду.

– Нет, – сказала она, – сегодня будет немного другая процедура.

– В каком смысле?

– Я поеду с тобой. Вернее, ты со мной... Неважно... В общем, поедem в убере.

убер 3. московский соловей

Когда пассажир садится в убер, система считывает его контекстный профиль из путевого листа и мгновенно составляет подходящий информационно-развлекательный блок, который пассажиру следует смотреть во время поездки – если, конечно, он не хочет платить социальный налог, а это тридцать процентов чека.

То есть, проще говоря, ваша карма становится прокачиваемой сквозь вас рекламой. Например, если вы курите, вам наверняка покажут ролик программы «Soul Architect», где предложат излечить вас от дурной привычки прямо через транскарниальник вашего айфака.

Когда едут двое, их контекстные профили смешиваются довольно непредсказуемым образом. Но, поскольку у меня никакого контекстного профиля нет, Мара ехала в убере фактически одна – и, будь я ее человеческим ухажером, это был бы отличный способ узнать о моей крале побольше. Подлость, однако, в том, что нельзя незаметно ехать с девушкой в убере – и быть при этом ее человеческим ухажером.

Интересы Мары оказались нетривиальными. Как только машина тронулась с места, включился «Московский Соловей» – для убера нечто крайне редкое. Его вообще, по-моему, смотрят одни госчиновники, поскольку у них такой контракт с жизнью. Когда кого-нибудь из них сажают, новость об этом первым делом проходит именно в «Соловье». Но чиновники в убере не ездят.

На этом канале вместо диктора действительно вещает соловей – говорящая анимированная птица в верхнем углу экрана. Говорят, сделали так потому, что в «Соловье» все время жареные новости, скандалы и сплетни – а на птичку как-то меньше обижаются, чем на говорящую человеческую голову. Тонко, сублиминально и меньше судебных издержек.

Экран заполнила карта Северной Америки – синяя подкова с надписью «United Safe Spaces of America», оседлавшая красную тушу «North American Confederation». Мексиканская стена на нижней границе НАС была показана ядовито-желтым пунктиром.

– Продолжаются массовые столкновения на границе Североамериканской Конфедерации и велферленда «Калифорния-2», – прочирикала золотая птичка. – По нашим данным, конфликт связан с требованием жителей велферленда вешать двух белых каждый раз, когда в Конфедерации вешают одного черного. По некоторым сведениям, требование прежде негласно выполнялось – но белых для этой цели поставляли из Евросоюза, и обитатели велферленда недовольны их низким расовым качеством.

– С Украины, – сказала Мара. – Я слышала, что у них бартер был. За двух белых – их всегда парами считали – давали десять айфаков серой конфедеративной сборки. Разлоченных, на все зоны.

– Знаю такую схему. Серьезные люди в доле.

– Неужели они прямо своих граждан отправляют? – Мара провела пальцами по шее.

– Нет, – сказал я, – ты что, это дорого. Много издержек будет. У них био завод под Винницей. Растят клонов – обычно на органы, но под такой проект тоже не особая проблема. Полностью вырастают за восемнадцать месяцев – и при этом реально безмозглые. Ни говорить не могут, ни думать. Зато все как на подбор оранжевые блондины. Специально генотип такой сделали из гуманизма – могут только моргать и гадить под себя. Просто мясо. Вот негры и решили, что белые опять их кидают.

– Бартер теперь закроют? – спросила Мара.

Я ознакомился с доступной информацией.

– Это вряд ли. Такие схемы в нашем мире не закрывают. Скорее, будут растить клонов не восемнадцать месяцев, а двадцать. А потом вставят военный имплант, как собакам-смертникам.

– Каким смертникам?

– Ну этим, русским европейцам, которые на границе с Халифатом служат. Если такие чипы в Халифате научились хакать, то и на Украине смогут. Только не так, чтоб под машину с бомбой на спине, или там лизать все что дадут, а... Ну не знаю, сыграть Чайковского и прочесть наизусть «Евгения Онегина». Найдут, в общем, как обмануть черную общественность. Ты за них не беспокойся.

– Я и не беспокоюсь, – сказала Мара.

По экрану промаршировала шеренга бравых черных ребят из велферленда в полной выкладке римских легионеров – только вместо копий у них были бамбуковые палки. Передний легионер держал в единственной трехпалой руке (Зика-три, сомнений никаких) штандарт с надписью:

MONEYPOOL VII

Седьмой манипул, понятно. Молодежь в велферлендах изучает римскую тактику – в условиях массовых городских столкновений без огнестрельного оружия ничего лучше за последние три тысячи лет не придумали. Никакая riot police не справится – значит, будут искать компромисс.

Пошли новости из НАС. Показали Мексиканскую Стену – на изукрашенных золотом козырных башнях, как поименовал их диктор, стояли суровые сапы – «second amendment reople»[5] с ружьями в руках: им, сочувственно прочирикал соловей, уже давно приходится стрелять в обе стороны от стены, но они не сдаются. Потом на экране почему-то появился полный зал белых румяных женщин, играющих на арфах.

Они там в НАС только и могут на арфах играть. И айфаки собирать для всего мира. А придумывают айфаки по-прежнему в Калифорнии, в старых добрых USSA. Почему, интересно, высокая инженерная мысль всегда стремится именно туда, где царит махровый тоталиберализм?

Нет, не зря Святая Церковь отождествляет так называемый «прогресс» с коварной поступью Врага. Если бы только отцы-исповедники научили ракеты летать на святой воде...

Пошли местные новости. Ну наконец-то.

– Государь Аркадий Аркадьевич второй день находится на саммите Евросоюза в Ревеле, где проходят трудные и важные для страны переговоры, – прочирикала золотая птица. – К сожалению, высочайший визит был омрачен отвратительной выходкой местных неонацистов...

Показали огромный придорожный щит с оскверненным флагом Евросоюза. Как обычно, шесть желтых звезд на синем фоне были соединены спреем в размашистый могоновид, а внутри нарисована свастика.

– О чем думаешь? – спросила Мара.

Снова объяснять, что я никогда ни о чем не думаю, было бы не комильфо – девочке явно хотелось опереться на сильное мужское плечо. Хотя бы мысленно.

– О чем? Да вот об этом самом, – басовито ответил я из дверного сабвуфера. – Они специально звезды на флаге так поставили? Чтобы малолетним дебилам даже спрашивать не надо было, как учинить hate crime?

– Я, кстати, знаю, как этот флаг утверждали, – сказала Мара. – Когда Российскую империю – вернее, то, что от нее осталось – принимали в Евросоюз, хотели поставить шестую звезду в центр пентаграммы. Чтобы именно этих вот аллюзий не было. Но потом решили, что аллюзий

будет еще больше, только другого рода – мол, Россия в центре, а Эстония, Латвия, Белоруссия, Украина и... Что там еще в Евросоюзе?

– Кажется, Литва.

– Да, а они почему-то по бокам. Как бы возврат к проклятому прошлому. Тоже нехорошо. А тогда еще начались эти самосожжения в Лемберге... Как шесть звезд разместить, чтобы было равноправие? Только по окружности, другого способа нет. Все остальное хуже.

– Может быть, – ответил я. – Я, вообще-то, политикой не слишком интересуюсь... Просто картинка удивила.

– Понятно, – сказала Мара.

Прокрутили несколько кадров с саммита – виды города, зал Суверенного Единства с кольцевым столом в центре. Шесть кресел внутри кольца были пусты (злые языки говорили, что стол такой формы придумали не для того, чтобы главы делегаций сидели лицом к своему национальному сектору, а чтобы они могли повернуться спиной друг к другу). Зал пылесосили уборщицы в масках-респираторах – они походили на сестер милосердия из инфекционной больницы. Потом опять показали мелкий противный дождь над холодным Ревелем.

А соловей чирикал свое обычное:

– Глубокий кризис, в котором оказался Евросоюз... Пьют-пьют-фюи...

– Чего обсуждают? – спросил я.

– Да транзит делят, – ответила Мара. – Как всегда.

Я заглянул в сеть, чтобы понять, в чем дело (когда я сказал, что не интересуюсь политикой, я не кокетничал).

То, на что она намекала, было конспирологическим консенсусом относительно истинных целей Ревельского саммита.

Евросоюз сегодня зажат между Халифатом в Европе и государством-сектой Дафаго, чьи земли начинаются за Уральскими горами. Границы у Халифата и Дафаго нет, но уже семь лет между ними идет война из-за разного истолкования небесных знамений. Воюют с помощью сверхдальних крылатых ракет с конвенциональной боевой частью ограниченной мощности, а Евросоюз берет деньги за их пролет над своей территорией. Бомбардировщики мы не пропускаем «по гуманитарным соображениям», но на самом деле потому, что так война может слишком быстро кончиться.

Квоты на транзит этих самых ракет были постоянной темой склок на саммитах. Украина, например, совсем не пропускала китайские ракеты, зато сдавала коридоры Халифату по демпинговым ценам. Белоруссия, наоборот, старалась договориться с Дафаго. Россия выступала за общий европодход к проблеме, справедливо указывая, что без ее согласия ни одна ракета из белорусских или украинских коридоров никуда не долетит. А партнеры по Евросоюзу боролись за право самостоятельно продавать транзит, ссылаясь на договор об общем воздушном пространстве. Причем особо нагтели прибалтийские транзитные тигры, которые подгребали весь бизнес с Халифатом под себя, гоняя его ракеты практически по маршруту бывшего «Северного потока».

В общем, тут и юрист от скуки сдохнет – с девушкой на такие темы не говорят. Тем более что низколетящая крылатая ракета символизирует фаллическую угрозу и всего за несколько упоминаний можно напороться на иск за скрытый или символический харасмент... Мара искусствовед, она как раз может.

Нет, о ракетах не надо. Я проанализировал, что сказал бы в такую минуту интересный собеседник-мужчина, слегка разбирающийся в политике и желающий сублиминально соблазнить свою спутницу. Вариантов было много, и я выбрал по рэндому.

– Когда-нибудь Халифат возьмет нас в рот и проглотит.

– Не думаю, – сказала Мара. – Хотели, давно проглотили бы. Наш щит – плохой климат. Евросоюз остался только там, где плохая погода. Ну, в смысле – для них плохая. Мы-то привыкли.

Ответить следовало эмоционально, умеренно вольнолюбиво, но без радикального нонконформизма. И без сублиминальности, понятно – такое можно один раз на десять реплик.

– Есть вещи, к которым привыкнуть нельзя.

– Это да, – осторожно согласилась Мара. – Но, с другой стороны, не все так мрачно, как кажется.

Она, похоже, тоже избегала резких суждений.

– Конечно, – ответил я, тщательно микшируя иронию и горечь. – Мы теперь не Третий Рим, а Второй Брюссель. Только Брюссель почему-то в Житомире.

– Это да, – повторила Мара.

Она, похоже, уже не радовалась, что завела этот разговор.

– Просрали страну, – не унимался я. – Сколько крови когда-то пролили, чтобы передать этих кровососов немчуре на баланс... А теперь они снова у нас на шее. И опять всей шоблой! Все, что отцы нам завещали – все проебали! Все!

Мара даже побледнела.

– Давай помолчим, – попросила она.

– Тогда убер говорить начнет, – сказал я.

– Пусть.

На экране опять появился зал Суверенного Единства – уже полный народа, во время исполнения гимна: делегаты пели «Оду Разуму» на шести языках, прижав ладони к груди, чтобы их горячие сердца ненароком не выпрыгнули наружу. Государя в зале пока не было, а вот далианские чубы Великого Гетмана – две наведенные в потолок пики, хирургически тонкие и навощенные до блеска – бросались в глаза сразу. Удивительная все-таки мода.

На экран опять выпрыгнул Московский Соловей – махнул золотым крылом, подмигнул зеленым смарагдовым глазом, и новости кончились.

Я покосился на Мару. Интересно, что поставят теперь?

Заиграла музыка. По экрану поплыли разноцветные иероглифы-буквы-руны, и я понял, что нас ждет очередная встреча с Мельпоменой, Каллиопой и другими южными девочками.

– Сегодня в рубрике «Шедевры мировой литературы» мы продолжаем знакомство с одной из самых граундбрейкерных и семинальных книг, созданных в нашем веке. Не часто происходит так, что пламенная исповедь одного-единственного человеческого сердца ведет к появлению новых статей в административнокриминальном уложении. «Засудить гадину» Артемия Сталлион-Стальского – как раз тот случай. Глава четыре, друзья мои.

Гендерно-нейтральный голос сполз на пол-октавы вниз, наполнился тревогой и горечью – и застрочил:

«Она опять пришла в офис в мини-юбке. Еще выше, чем на прошлой неделе – так, что несколько сантиметров не тронутой загаром розовой кожи как бы демонстрировали ее интимную обнаженность, хотя формально все оставалось в рамках дозволенного. Я пытался не обращать на нее внимания, но вскоре стало ясно, что из всех присутствующих она выбрала для своих харасментов именно меня.

Каждый раз, проходя мимо моего стола, она останавливалась подтянуть чулки. При этом она нагибалась так, что ее практически обнаженные выпяченные ягодицы с тонкой полоской утонувших в плоти стрингов касались лежащих на краю стола бумаг. Минуту она возилась с левым чулком, еще минуту с правым, а потом поднимала голову и улыбалась хирургически утолщенными губами, ложно сообщающими моему подсознанию о максимальной фертильности.

Я понимал, конечно, что эта изощренная атака направлена не на мою социально ответственную личность. Она целила в древнейшие слои мозга, в те формировавшиеся миллионами лет зоны, для которых подобное поведение означало только одно – приглашение к немедленному спариванию.

О, как остро ощущал я трагическую двойственность мужской природы! На одной стороне был я, сознательный член общества – а на другой, простите за плохой каламбур, был член бессознательный. Уже дымил мозг, уже пылал биологический бикфордов шнур, к которому это злобное существо подносило бестрепетной рукой факел... Сжав зубы, я опустил глаза в стол – и тут до моего обоняния донесся слабый цветочный запах, смешанный с какой-то кружащей голову субстанцией...

Феромоны. Летучие вещества, элементы внешней женской секреции, уверяющие мозг самца, что наступил идеальный момент для передачи генома. Они действуют прямо на рептильные мозговые структуры с одной целью – вызвать волну неконтролируемого желания: природа как бы вырывает у сапиенса рычаги и передает их древнему инстинкту, чтобы тот, наплевав на человеческие условности, срочно позаботился о продолжении рода...

Я не знал в то время, что феромоны добавляют в духи совершенно легально. Их концентрация в воздухе над моим столом была чудовищной, никогда не встречающейся в живой природе. Видеокамера на стене наблюдала корректного офисного клерка, переключившего бумаги с места на место, но животная половина моего мозга была уверена, что я потрясаю своим метафорическим копьём у ночного костра, а вокруг бесстыдно пляшет сотня готовых к спариванию самок, опрыскивающих меня выделениями своих анальных желез.

Зажав нос рукой, я стал дышать ртом – но было поздно. Мои зубы скрипнули, и острая боль пронзила тело. Я издал сдавленный стон.

Все это время моя простата получала от мозга команды приготовиться к продолжению рода – и выполнила наконец свою биологическую функцию. Но где было крохотному кусочку мужской плоти, наивно рапортовать о том, что задание природы выполнено, понять изворотливое коварство, увлекшее его в западню? Как описать это заключенное в тесную тюрьму пламя, эту зубную боль живота, эту воткнутую в самое беззащитное место мужского существа раскаленную пику...

Неужели все сойдет ей с рук?

Нет, сказал я себе. Она хочет толкнуть меня на безрассудство, а потом завести в суде эту хитрую песню о том, что женщина-де может одеваться и пахнуть как хочет... У себя дома – да! Но не в общественном месте! Ей не удастся спровоцировать меня на безумство – но завтра же я найду адвоката и попробую узнать, действительно ли справедливость в нашем обществе...»

Голос чтеца, плавно затихавший последние несколько секунд, стал неразличим.

– Скоро выходить, – сказала Мара.

– Ага, – отозвался я. – Интересные тебе ролики ставят.

Мара ухмыльнулась.

– На меня два раза подавали за энтайсмент. Суд оправдал, но в файле осталось.

– Ничего не должно остаться, – сказал я строго, – если суд оправдал.

– Ну не совсем оправдал – во второй раз назначили административный штраф без судимости. Помогло, что у меня два андрогина было. Я не из группы риска, поэтому сомнения трактуются в мою пользу. А сейчас у меня к тому же десятый айфак, так что тебе, оранжевый, по юридической линии вообще ничего не светит.

Она вдруг сбросила с плеча кожаную ляжку – и показала мне не слишком большую, но красиво вылепленную грудь с темно-коричневым соском. Насчет «красиво вылепленную» – это

не фигура речи. Я провел на анатомических и художественных сайтах полторы секунды, чтобы установить это окончательно, да и по порнобиблиотекам пробежался.

Вполне.

– Хороша, хороша, – проворчал я. – А насчет суда – это как дело повернуть... Ты того, – я издал звук сглатываемой слюны, – сиську-то спрячь, а то здесь семь камер. Мало ли кто на тебя сейчас смотрит, кроме дяди Порфирия.

– Плевала я на это, – сказала Мара, но ляжку все же подняла. – Мы выходим. Иди за мной.

– Что мне надо делать?

– Как обычно... Если можешь – скопируй. Главное, тебе надо выяснить, сколько объект весит. Я имею в виду физически. Посмотри у них в базе, где исходный файл. Понял?

музей военного искусства

Музей военного искусства располагался в величественном здании-пентаграмме на Суворовской площади. Когда-то очень давно там был театр. Сначала Советской Армии, потом Российской Армии, а затем – в смутные годы позднего гипса – авангардный Театр Военных Действий, прославившийся скандальной постановкой «Ганнибала», где впервые показали секс со слоном. Но, увы, зрителей все равно было уже не выманить из их уютных электронных нор...

Теперь об этих временах напоминали только две тумбы с залакированными древними афишами. На прохожих, словно глаза дракона, глядели грозные заклинания: «Бронепоезд 14–69», «Горячий снег» и что-то еще.

Мара вошла в музей.

Камеры в его залах были расположены под потолком и имели плохое разрешение – но я не переживал, потому что военное искусство по-любому не годилось в роман. Панорамы, диорамы, попираемые знамена, все вот это. Многократно продублировано в сети.

Мара прошла несколько экспозиций, свернула в узкий боковой проход между залами – и стала подниматься по лестнице вверх.

Я увидел красную стрелку с надписью:

БУНКЕР МИСТЕРИЙ

новая экспозиция

На лестничных пролетах камер не было, и я надолго потерял Мару из виду.

Когда я вновь обнаружил ее, она стояла в центре маленького круглого зала на последнем этаже и беседовала со смотрительницей – старушкой, похожей на пожилую мангу, покрытую голубой пудрой.

– Нет, – говорила смотрительница, – я вовсе не утверждаю, что в ракетных войсках был такой культ. Информации у нас нет.

– Но ведь звучит завораживающе. Только вслушайтесь – «Установка-70», «Кристаллический пик»... Что это? Какой-то ракетный бункер? Или тайное общество?

Я заметил в руке Мары палочку-диктофон с оранжевой опушкой – такие специально держат в руке, напоминая собеседнику, что он говорит под запись.

– Знаете, – ответила манга, – есть подозрение, что это просто... э-э-э... культурные коды среднего гипса. Мы даже не уверены на сто процентов, что там была ракетная база. Искусствоведческие фантазии. Известно только, что это роспись подземного бункера. Предположительно военного назначения. Там тоже были свои, э-э-э, гуманитарные пространства, красные уголки – места для политинформаций и так далее.

– Почему подвигов именно двенадцать? – спросила Мара.

– Ну, это явная отсылка к практикам Геракла. Попытка, так сказать, вернуть миру его молодость, первозданную близость к божественным энергиям творения, как бы... э-э-э...

Манга замялась.

– Понимаю, – пришла на помощь Мара. – Как бы вынести настоящее за скобки, чтобы спроецировать суть явления на архетипический план.

– Да-да, именно, – согласилась манга с облегчением.

– А что известно про остальные одиннадцать подвигов?

– Ничего. Остальные фрески не сохранились вообще.

– Кто их уничтожил?

– Это не было диверсией или актом вандализма. Знаете, за эти годы сменилось столько, так сказать, парадигм... Помещение перестраивали, сносили стены, делали перепланировку – вот так все и пропало. Одно время там работала баня, потом склад. Эта фреска, последняя, двенадцатая, была на капитальной стене. Стену тоже разрушили, когда закладывали какой-то фундамент – опять же, без всякого злого умысла.

– А как ее переместили сюда? – спросила Мара. – Выпилили кусок стены и подняли на поверхность?

– Нет, что вы. Поскольку фундамент закладывали не так давно, была использована технология цифрового переноса. Реставрация...

– Реставрация?

– Нет, именно реставрация. Это другое. Сначала в код переводится структура носителя, химический состав красок, затем делается полная копия изображения – и все это воссоздается практически без регистрируемых отличий. Фактически то же самое, что делают при реставрации, но через промежуточный электронный носитель, существующий в одном экземпляре.

– А старый оригинал?

– Уничтожается. Когда реставрация полностью готова, в идеале стирается даже промежуточный файл. Чтобы второго цифрового переноса не было. Оригинал в современной культуре должен быть только один. Мы так долго выбирались из трясины постмодернизма, что...

Смотрительница перекрестилась, и Мара понимающе кивнула.

– Вы купили электронный слепок? – спросила она.

– Да. Он был уже за границей, работали через посредников. Оригинал воспроизвели в Пейсах.

– Где?

– В Спейсах, извините, Спейсах. Сынок вот подучил. В USSA. Сегодня это очень быстро. Я имею в виду реставрационное воспроизведение. Коммерческая технология для таких крупных габаритов, правда, пока доступна только в Калифорнии. Везли грузовым дирижаблем, в спецконтейнере... Вот таким сложным путем наши культурные сокровища возвращаются домой.

Мара и смотрительница повернулись к половине зала, которая была мне не видна, и погрузились в созерцание.

В зале имелась еще одна камера, но она не работала. Я целых две секунды разбирался, как подключить ее к сети. Наконец это получилось, и я увидел артефакт.

На невысоком постаменте из темного камня покоился трехметровый кусок бетонной стены, зафиксированный стальными тросами. Там была крупная фреска – с небольшими повреждениями, царапинами, мелкими граффити, подчищенными пятнами плесени – но в целом сохранившаяся хорошо.

Я увидел горы, нарисованные с отступлением от правил перспективы – и с тем наивным романтизмом, который свойствен детям равнин. Я говорю про детей не просто так в первый момент мне показалось, что это детский рисунок. Но потом мой компаративный алгоритм склонился к тому, что это солдатское творчество.

Фреска, действительно, больше всего напоминала росписи клубов в военных частях, рукописные агитационные плакаты поздней советской поры и прочие подобные арт-объекты. Технику письма при этом нельзя было назвать совсем неумелой. Она тяготела к военному примитивизму, но грубые мазки широкой кисти создавали законченный и сложный образ.

Гольй по пояс мускулистый мужчина в маскировочных штанах мчался по горам на яростном белом медведе. Лицо всадника выражало непреклонную решимость. На склонах гор росли огромные цветы размером с деревья, летали пчелы и стрекозы, небо стригли ласточки – природа была изобильна.

Из ущелья, оставшегося у медведя за спиной, выглядывали нездорово бледные, перекошенные злобой и исполненные порока лица. Все доступные мне лекала указывали именно на такие эмоциональные паттерны.

Сперва я не понял, чем они так недовольны – а потом заметил болтающийся на крупе медведя мешок, из которого на волю рвались разноцветные звезды и молнии. Прочерченные от горловины мешка тоненькие стрелочки показывали, что все преувеличенное богатство красок на горных склонах вырвалось именно оттуда.

Над фреской была крупная надпись:

ПОДВИГ № 12

ПУТИН ПОХИЩАЕТ РАДУГУ У ПИДАРАСОВ

Так, с объектом понятно.

Вес?

Я соединился с музейной базой. Исходный файл, как я и думал, на самом деле не стерли – но он был прилично защищен. Я представился, получил к файлу полицейский доступ, честно оставил в системе свои куки – и засканировал информацию на предмет массы исходного объекта. Имею полное служебное право. Все сразу нашлось – вес указан дважды, в килограммах и фунтах. Файл я тоже на всякий случай закопировал – надо будет, сотрем.

Когда я вернулся в зал, смотрительница как раз вышла из созерцания.

– Я вам зачитаю из сопроводительного материала, – сказала она. – Вот, послушайте:

«Радуга – один из высших сакральных символов, созданных самой природой, из той же категории, что Солнце и Луна... Что есть радуга? Ясный белый свет, распавшийся на свои составные части. Геном дня. Чрезвычайно широкий и универсальный код, целый авианосец смыслов, одновременно вмещающий огромное число таких одноцветных референций, как коммунизм, ислам, оранжизм и так далее. Спрашивается, по какому праву вся существующая цветовая библиотека узурпирована – и поставлена в соответствие настолько узкой и специфической области человеческого опыта, как девиантный рекреационный секс и выстроенная на его основе идентичность? Разве что-то в гомосексуальных или трансгендерных практиках (разумеется, свободных от наркотических влияний) ведет к переживанию радужной цветовой гаммы? Для исчерпывающей цветовой репрезентации ЛГБТ-опыта вполне хватило бы коричневой области спектра с вкраплениями розового и красного. Может идти речь еще о двух-трех оттенках – но руки прочь от зеленого и пурпурного! Мы видим, что вопрос о пересмотре результатов символической приватизации поставлен неизвестным художником крайне своевременно и остро...»

Смотрительница замолчала.

– А почему похищает, а не отбирает? – спросила Мара.

– Это как раз очень точно. Скажите «отбирает» – и сразу появятся коннотации насилия и вражды. Но в данном акте культурного передела нет ненависти к ЛГБТ-сообществу, здесь речь идет только о восстановлении символической справедливости. Поэтому «похищает» уместнее.

Геракл ведь тоже мог бы для начала проломить Диомеду череп. Но нет, он пошел на лишения, отказал себе в сне – и похитил его коней. А уже потом, когда Диомед, на свою беду, за ним погнался...

Смотрительница еще раз взглянула на фреску.

– Похищение пластичней, – сказала она. – Оно древней, аутентичней. В нем нет кровожадности... Это как бы soft power.

– Я слышала, вы ее куда-то повезете? – спросила Мара.

– Да, – кивнула смотрительница. – В Америку. Только не в Пейсы, сами понимаете.

– В Пролетарию?

Смотрительница неуверенно улыбнулась.

– Простите?

– Ну, раз вы Спейсы называете Пейсами, – сказала Мара, – вам надо знать, как у молодежи называется Конфедерация. Вариантов несколько. «Накося» или «Накоси» – это от «НАС». А «Пролетария» – это от «flyover states». Так называли центральные красные штаты, из которых она получилась. Как считалось, делать в этих штатах особенно нечего, разве что пролететь сверху, перемещаясь с одного побережья на другое.

– Да? Интересно.

– И еще, – продолжала Мара, – выражение «Пейсы» применительно к Спейсам малоупотребительно. Молодежь говорит «Промежности».

– Почему?

– Когда-то переводчик на хоккейной трансляции перевел «spaces» как «промежутки». С тех пор «Промежности» и «Промежутки» – молодежный мем. Правда, эта молодежь уже не слишком молодая... Так что, если хотите, можете теперь выражаться по науке.

– Спасибо за информацию, – кивнула смотрительница. – Я лучше буду по старинке. Наша фреска поедет в Конфедерацию. Вместе, кстати, поедет оркестр «Лайк Баала». Не пугайтесь, это православные гипнобалалаечники, название исключительно для эпатажа. Сейчас ведь надо по башке молотком бить, чтобы обратить на себя внимание.

– Что они играют? – спросила Мара, косясь на часы на стене.

– Народную музыку под ТС-стимуляцию. Белым людям нравится. Уже придумали, как оформить программу – под фреску нам выделяют самый большой зал, мы ставим ее у стены, музыканты садятся вокруг и тихонько играют – а зрители потоком идут мимо. Уникальный визуально-звуковой экспириенс. Заинтересовалось сразу несколько музеев. Отправим тем же дирижаблем, каким привезли. Видите, у нас удобно сделано. Раздвижной потолок, вынимаем прямо через крышу... Чувствую, ездить будем много. Лучший гипс, что у нас есть.

– Все зафиксировал? – спросила Мара, коротко глянув на одну из камер.

– Да, моя госпожа, – низкочастотно прошипел я из настенного динамика.

– Кто это? – опешила смотрительница.

– Помощник, – сказала Мара.

– Сетевой секретарь?

– Что-то вроде.

– Я слышала, что такие бывают, но не встречала. Кстати, съемка у нас запрещена. Вы в курсе?

– Я не снимаю, – ответила Мара. – У меня даже камеры нет, мы только голос записываем. Специально вот диктофон держу. И мы уже уходим. Спасибо за интереснейший рассказ! Порфирий, вызывай убер...

Я решил не сопровождать Мару на пути вниз – и сразу подключился к камере над входом в музей. Убер к нам уже ехал, и я сфокусировался на афише «Бронепоезда 14–69». Раз уж я вставил

его в роман, следовало выяснить, что означает это 14–69, чтобы не дразнить читателя не относящимися к сюжету загадками.

Через секунду все стало ясно.

Несомненно, это была вариация на тему кода 14/88, равно популярного в Североамериканской Конфедерации и у прибалтийских нациков. «14» указывало на цитату из супремасиста Дэвида Лэйна («We must secure the existence of our people and a future for white children»[6]), а «88» – удвоенная восьмая буква алфавита – означала «Heil Hitler». Код обычно вписывали в другой расхожий символ белого супремасизма – так называемый «белый квадрат».

Замена «88» на «69» была понятна. Европа Европой, но референции к Гитлеру вряд ли когда-нибудь станут популярны в России. «69», с другой стороны – классический мем, указывающий на обоюдный орально-генитальный контакт, который по самой своей природе может быть только консенсуальным.

Видимо, архитекторы русских смыслов пытались осторожно сообщить человечеству, что последняя белая территория Земли осознает себя в этом качестве, но настроена мирно, отвергает расизм, фашизм и ксенофобию, предпочитает решать вопросы полюбовно и готова при необходимости к компромиссу.

Какая, если вдуматься, гармония и благодать – не хватает только гипнобалалаечной трели. Но все же никому и никогда не надо забывать про центр тяжести этой смысловой секвенции – слово «бронепоезд».

Мара появилась у входа.

– Порфирий, ты здесь?

– Здесь, – ответил я из наушника, который она наконец догадалась вставить в ухо. – Спасибо, что мне не надо орать из репродуктора.

– Убер вызвал?

– Вот он, – сказал я, – как раз подъезжает.

– Что ты обо всем этом думаешь?

Я просчитал смысловую медиану нашего музейного опыта, заглянул в сеть – и осторожно ответил:

– Все эти музеи существуют только потому, что старые культурные объекты намертво спаяны со своим физическим носителем. Атавизм, конечно. Когда-нибудь с этим разберутся окончательно. Все, имеющее культурную ценность, может быть отображено в коде, потому что сама культура – тоже просто код.

– Хорошо излагаешь, – сказала она. – Все, я на сегодня прощаюсь. Мне надо отдохнуть – завтра у нас трудный день.

– А я? Я не поеду с тобой?

– Иди спать, милый, – улыбнулась Мара. – Ты сегодня заслужил.

– Сегодня, – сказала Мара, жуя галету с сельдереем и крабовым маслом, – у нас лот триста шестнадцать. И с ним могут быть проблемы.

Она сидела за своей кухонной стойкой, завернувшись в махровую простыню – и на ее бритой голове до сих пор дрожали капли воды из душа.

Хороша девка, думал я. Вот почему бы ей не найти себе надежного красивого мужика, родить от него сына и дочку... понятно, через пробирку, как положено... Жить с семьей как за каменной стеной – сама с айфаком, муж с андрогином. Так нет. Вон что из себя сделала... Швабра с гвоздями. Куда катится культура, куда катится человечество... Ох...

Хорошо, что полицейскому алгоритму дозволяется пока высказывать подобные мысли.

– Проблемы какого рода? – спросил я.

– Лот хранится в защищенной системе. Это медицинский центр. Точнее, центр диагностики. Они используют произведения искусства, чтобы...

– «Роршах-башня»? – спросил я. – Клиника-галерея?

– Откуда ты знаешь?

– Я не знаю, – ответил я. – Я просто посмотрел, кто использует произведения искусства для диагностики.

– Да, – сказала она, – я все время забываю, какой ты у меня скорострел.

На двусмысленные комплименты лучше не реагировать.

– Дорогое место. Для пресыщенных богачей.

Мара кивнула.

– В общем, я с ними уже договорилась, – сказала она. – Они покажут мне этот лот сами. Они даже сказали про него пару слов. Это работа «Turbulent-2» иранской художницы гипсового века Ширин Нишат. Знаешь такую?

– Уже да, – ответил я.

– Про «Turbulent-2» никому ничего не известно. Зато самую знаменитую работу Ширин Нишат знают все. Она называется просто «Turbulent». Ознакомься, пожалуйста.

– Уже.

– Что, и видел, и критику прочитал? – подняла бровь Мара.

– Ну да.

– Позволь тебе не поверить, – сказала Мара. – «Turbulent» – это видеоинсталляция. Там поют. И довольно долго. Чтобы со всем нормально ознакомиться, надо слушать. Как ты мог это сделать за одну секунду?

– Киса, – ответил я, – ты же сама говоришь, что я скорострел. А сетевой ролик можно прокрутить с любой скоростью.

– Но тогда исказится музыка. Ты не переживешь того, чем хотела поделиться художница.

– Я этого по-любому не переживу, – сказал я. – И уже замучался тебе объяснять почему. Но что такое работа Ширин Нишат «Turbulent», я вполне могу рассказать. И как она переживается зрителем, тоже. Растволкую не хуже человека.

– Ну попробуй, – сказала Мара, – даже интересно. Прямо расскажи от своего лица. Вот я, Порфирий, вижу то-то и то-то, и меня охватывает... Что?

– В каком смысле «я, Порфирий»? Ты хочешь, чтобы я задействовал свою номинальную служебную личность?

– Например.

– В официальном или приватном режиме?

– А что, есть разница?

– Еще какая.

– Ну давай в приватном.

– Хорошо, – сказал я. – Значит, так. Я, Порфирий, вхожу в темную комнату. Там два экрана напротив друг друга. Как бы одно кино показывают другому. На одном экране восточный мужик с бородкой, вроде тех, какие шаурму делают. За его спиной зал, в нем сидят люди. На экране, который напротив первого, тоже зал – но пустой. И на его фоне такой черный силуэт в остром капюшоне. Мужик на первом экране поет что-то восточное, ему хлопают. Дальше он молча смотрит на второй экран. А там эта фигура в капюшоне. Она оборачивается, и мы видим, что это такой пожилой бабеч в макияже. Если по ебательной шкале, категории «я столько не выпью». Бабеч начинает хрипло петь, издает всякие звуки, скулит, шипит, фыркает – типа, кидает обидку, что никто не трахает. В общем, сумбур вместо музыки. Мужик слушает до конца, но ему похуй. И все.

– Понятно, – сказала Мара. – Доходчиво изложил. Мусарней так и прет. В Полицейском Управлении одобрили бы. И реднеки в Накосях тоже.

– Ну так, – ответил я. – Я аудиторию знаю.

– Ладно, – сказала Мара. – А для культурных людей можешь?

– Культурных в каком смысле? Культуры разные бывают. Какой сегмент? Прогрессивный, феминистический, трансгендерный, гей-энд-лесбиан, Би-ди-эс-эм, патриархальный, консервативный, православный, супремасистский?

Мара секунду подумала.

– Прогрессивно-феминистический.

– Могу конечно, – сказал я. – Значит так... Я, Порфирия, вхожу в темную комнату. На одной ее стене – уверенный в себе белый мужчина, сочащийся привилегиями и похотью: он даже не смотрит на свою аудиторию, зная, что любому его слову будут хлопать другие белые мужчины. На другой стене – женщина в черном, в вечном трауре, наложенном на нее репрессивной культурной традицией. Зал перед ней пуст, как поле ее жизненного выбора. Она не может обнажиться, не может петь – ее обвинят в энтайсменте. Ее сновидческая песнь доносится к нам не из этого мира, на что указывают пустые ряды стульев перед ней. Это мечта о свободе, сдавленный вопль протеста...

– Достаточно, – сказала Мара. – Надо же. Действительно можешь.

– А то.

– Откуда у тебя такие познания?

– Да я же эту ведьму, как ее... Аманду Лизард – каждый день в убере слушаю.

Мара нахмурилась.

– Не говори так про Аманду. Да, у нее были перегибы – но это великий человек. В последней главе «Consenting to penetration», чтобы ты знал, содержится самый глубокий в истории феминизма инсайт относительно подлинных масштабов патриархального глумления над женщиной.

– И в чем же он? – спросил я.

– В том, что патриархальный белый мужчина-серальник разрешает женщине феминизм исключительно для того, чтобы посмеяться над ее идиотизмом и усилить свое наслаждение... Вся направленная на женщину политкорректность, все эти «she» вместо «he» есть всего лишь утонченная форма снисходительного гендерного издевательства, своего рода предварительная садистическая игра перед неизбежной пенетрацией, физической или символической, и ситуация не изменится до тех пор, пока у мужчины будет оставаться член... Что в нынешних культурных

условиях уже не является биологическим императивом, так что проблема может решаться при рождении хирургически, как в некоторых странах делали с аппендицитом.

– Это она серьезно?

Мара вздохнула.

– Хватит об этом. Тебе не понять все равно.

– Как скажешь, киска, хватит так хватит.

– Вернемся к нашей баранине. Про «Turbulent» ты уже знаешь, так что теперь будет проще.

Как я сказала, у Ширин Нишат была еще одна работа с похожим названием, «Turbulent-2». Тоже видеоинсталляция, про которую мне ничего не известно. Кроме того, что ее купила «Роршах-башня». Причем купила уже довольно давно, и всюю использует в клинической практике. Они согласились ее показать, но снимать или копировать мне будет нельзя. Поэтому если ты пойдешь туда со мной как секретарь, запрет распространяется и на тебя.

– Формально да, – подтвердил я.

– Но если ты отправишься туда сам, как полицейский робот, тебе можно все. Поэтому я хочу, чтобы ты сгонял туда параллельно со мной и... Все разведал.

– В каком смысле?

– Во всех смыслах. Потришь там, все разнюхай, сделай на всякий случай копию... Потом мы ее сотрем под твоим контролем, не волнуйся. Я просто посмотрю пару раз. Нарушений не будет.

– Хорошо, – сказал я.

– А чтобы тебе было интереснее, сделай мне еще и свой комментарий. Вот как только что про «Turbulent».

– Какой? Прогрессивно-феминистический?

– Нет.

– Полицейский?

– Нет.

– А какой тогда?

На лице Мары появилась грустная улыбка.

– Знаешь... Представь себе, что перед тем, как надеть этот мундир, ты был молод, имел всякие там идеалистические иллюзии, ну ты понял. Вот сделай мне отчет от лица такого семнадцатилетнего Порфирия, юного и чистого, только входящего в жизнь – и видящего все остро, свежо и точно. Воспринимающего сперва отзывчивым молодым сердцем, а потом уже не по годам зрелым умом. Можешь?

– Эко ты загнула, – ответил я. – Зачем тебе?

– Есть у меня насчет тебя одна идея.

– Какая?

– Приспособить тебя писать сценарии... Но это пока просто прожект. Ничего не решено. Надо погонять тебя в разных режимах. Так сделаешь отчет?

– Без цитатного материала сложно.

– Понятно, что сложно, – хмыкнула Мара. – Потому и интересно. Феминисток стება каждый дурак может, тут много извилин не надо.

– Ладно, – сказал я, – попробую. Поедем на убере?

– Я поеду одна. А ты давай двигай туда сразу.

– Убер нужен для романа, – сказал я. – У меня прием такой.

– На убере оттуда поедем. Вместе. Твоему приему ведь все равно, в какую сторону?

– Все равно.

– Тогда жди меня на выходе из «Башни Роршаха». Вперед, розовый.

Интересно. Заметила бакенбарды. А на экран с моим лицом вроде почти не смотрела.

– До встречи, лысая, – сказал я и подключился к «Башне Роршаха».

Клиника-галерея «Башня Роршаха» не существовала в физическом смысле. Вернее, клиника существовала – это было трехэтажное белое здание на юге Москвы, окруженное высоким забором. Но никакой галереи внутри не было. Чтобы попасть в нее, пациенту следовало надеть огмент-очки.

«Башня» была комплексом процедур. Технически она находилась внутри специализированного диагностического компьютера со множеством спецпрограмм (как выражалась рекламная брошюра, «это ваш добрый электронный психотерапевт»).

Клиника была очень дорогой.

Интересно, что во время визита в галерею пациент не видел ничего похожего на башню даже в огментах. Когда-то очки действительно показывали серую средневековую башню с зубцами – чтобы начать тест, следовало в нее войти. Теперь стартовой локацией был круглый алый бугор, за которым начиналась розовая расщелина с пещерой входа (в архиве осталась информация, что внешнюю репрезентацию изменили шесть лет назад под давлением общественности – но название ретрограды отстояли, поскольку в его раскрутку уже были вложены серьезные средства).

Чем конкретно занималась клиника, объяснять я не берусь (латынь, эвфемизмы, эллипсизмы – все это удручает читателя). Скорей всего, как в большинстве заведений, занимающихся человеческой психикой, на первом этаже лечили от болезней, изобретаемых на втором, и наоборот. Людей с солидными средствами деликатно избавляли от их переизбытка.

Процедура диагностики выглядела просто. Пациенты, надев огмент-очки, ложились в эластичную сетку, гасившую рывки рук и ног. То, что они видели в своих огментах, было доступно в записи – архивировался каждый лечебный сеанс, а защита у архива практически отсутствовала.

«Turbulent-2» появлялся в отчетах многократно.

Через минуту копия лота триста шестнадцать уже была в моем боевом мешке – хотя опять пришлось официально представиться локальной системе. «Потришь там, все разнюхай...» Гм... Наверно, эта часть задания была уже выполнена. Но вот увидеть «Башню» глазами юного и чистого семнадцатилетнего Порфирия...

На мое счастье, в архиве присутствовал раздел, где пациенты рассказывали на камеру о своем эмоциональном опыте. Цитатный материал в чистом виде. Пациентами часто были детишки из богатых семей, некоторые проходили через «Turbulent-2» – и скоро глаза юного и чистого семнадцатилетнего Порфирия открылись, заблестели жизнью и даже несколько раз моргнули.

Мало того, юный и чистый семнадцатилетний Порфирий сразу понял, что приготовленный для Мары отчет отлично воткнется в роман вместо пропущенного убер-блока – такой же по объему отдельной главкой.

Вот он.

башня роршаха

Юный Порфирий надел огмент-очки и лег в сетку. Первые несколько секунд после включения ТС были головокружительными и тошнотворными – словно лифт, в котором он ехал, сорвался с троса... Но это чувство, давно знакомое по играм, тут же прошло – и, как только он открыл глаза, телесные переживания пришли в соответствие с визуальными. Теперь он уже не лежал в сетке, а стоял на ногах – тело чувствовало себя именно так.

Вокруг был уходящий во все стороны до самого горизонта английский газон с гуляющими по нему единорогами и длинноногими слонами (эти обои, если честно, поднадоели – Порфирий видел их уже раз пять в разных местах). Прямо перед ним торчал из травы красный бугор «Башни Роршаха».

Рядом соткалась из воздуха медсестра: белый унисекс-комбинезон, короткая многоцветная прическа, большущие глаза. Сверстница, все по последней эмпатической науке. Не медсестра, а реальная е-тянка.

– Что мне делать? – спросил Порфирий, внимательно ее разглядывая.

– Войди в Башню, – сказала е-тян, указывая на розовую пещеру. – Там будут ступени.

– Вверх или вниз?

– Я не знаю, – улыбнулась е-тян. – Это индивидуально и зависит от пациента. На самом деле ты путешествуешь по собственному мозгу. Вернее, по разным слоям своей психики. Резонатором для твоего опыта служит культурный архив человечества. Твои бессознательные умы сканируют этот архив, но в сознание в начале опыта ничего не проникает. Иди вперед. Или, если хочешь, назад. Куда сочтешь нужным.

– То есть вообще куда хочу?

– Куда угодно. Для успеха процедуры очень важно, чтобы ты делал именно то, что тебе хочется. То, что придет в голову и будет казаться интересным. Не запрещай себе ничего.

– Что я увижу?

– Двери. Много дверей.

– Они открываются?

Е-тян кивнула.

– Ты будешь испытывать смутные и не вполне понятные чувства, проходя мимо, – сказала она. – Некоторые двери вызовут у тебя желание побыстрее уйти. Другие – желание открыть их. Сделав это, ты вступишь спрятанное за ними в свое сознание. Можно сказать, включишь свет.

– А что там спрятано?

– Роршах-объекты.

– Что это?

– Как бы камертоны. Резонаторы. Голоса твоего бессознательного отразятся в них, усилятся и станут осмысленными звуками.

– А я увижу эти резонаторы?

– Только после того, как откроешь дверь. Но твои бессознательные умы будут видеть все с самого начала. Объекты, с которыми войдет в резонанс наибольшее их число, заинтересуют тебя сильнее всего.

– А сколько у меня таких бессознательных умов?

– Много, – улыбнулась е-тян. – Очень много. И это не они у тебя, а ты у них. Видно, что ты не слишком учил нейропсихологию.

– Какая ты умная, – ответил Порфирий, разглядывая ее. – У нас в гимназии

нейропсихологии не было. Только ознакомительная лекция.

Е-тян засмеялась.

– Тогда у тебя не должно быть вообще никаких проблем с «Башней Роршаха», мой друг Порфирий. Иди.

Смерив ее глазами последний раз, Порфирий осторожно обогнул красный бугор, прошел по розовой лощине и шагнул в пещеру.

Вокруг сомкнулась теплая мгла. На миг стало темно, а потом он увидел узкую железную лестницу с перилами – неожиданно грубую, как в кочегарке допотопного корабля. Она вела вниз.

Шел он долго. Сильнее всего раздражало то, что вокруг не видно было стен, а внизу дна. Лестница меняла наклон, поворачивала то вправо, то влево. Иногда ступени исчезали, и она превращалась в дорожку. Потом ступени появлялись опять, и лестница загибалась вверх. Скоро голова Порфирия начала слегка кружиться. Единственным источником света были ступени и дорожка – их свечения хватало, чтобы идти не спотыкаясь.

Потом вокруг стало светлее, и Порфирий увидел двери.

Они оказались не такими, как он ожидал. Он почему-то решил, что это будут настоящие двери. Но они скорее походили на листья.

Как только Порфирий подумал, что двери похожи на древесные листья, они действительно превратились в листья – обычный эффект транскарниальной стимуляции. Теперь он видел их именно так. Некоторые плыли в черном воздухе. Другие, неподвижные и словно бы нанизанные на струны, гирляндами висели вокруг – будто он шел сквозь октябрьский лес.

Интереса эти листья не вызывали. В них было какое-то жухлое осеннее качество, и прикасаться к ним не хотелось. Долгое время Порфирий брел сквозь этот скучный листопад, а потом почувствовал волну тепла и увидел вдали светящийся лист, окруженный малиновой аурой. Он висел в стороне от его маршрута.

Сначала было непонятно, как туда добраться, но постепенно Порфирий догадался, что поворотами дорожки можно управлять, топая по ней: он как бы злился, а та как бы боялась – и ударами пяток, как двумя молотками, он сгибал ее в нужном направлении.

Малиновый лист оказался перед ним. Порфирий коснулся его пальцем – и сразу же очутился в пустой комнате с двумя экранами на противоположных стенах: словно одно кино собралось показать другому.

– Ширин Нишат, – сказал записанный голос, – «Turbulent-2». Америка, 2017 год. При жизни художницы работа не выставлялась по политическим причинам.

Стало темно. Экраны замерцали, и Порфирий увидел на одном из них растрепанную девочку с зеленой гитаркой-укулеле, а на другом – анимированную фотографию пожилого человека в очках, вокруг которого летали разноцветные бабочки.

Несколько бабочек протащили через второй экран ленту с надписью:

A poem from “Lolita” read by the author[7].

Надтреснутый дореволюционный голос стал читать длинное английское стихотворение, рассказывающее, как понял Порфирий, об утонченной и трагической любви экранного старца к маленькой девочке.

– Dying, dying, Lolita Haze
Of hate and remorse, I’m dying.
And again my hairy fist I raise,

And again I hear you crying[8].

Анимация была так себе – шевелящиеся на фотографии старческие губы не всегда попадали в такт словам, а глаза вообще не двигались, словно их нарисовали на веках. Но записанный голос был хорош, несмотря на сильный треск помех – в нем сохранилась целая эпоха: такими голосами когда-то распускали Учредительное собрание и пели про Черного Пьеро.

– My Dolly, my folly! Her eyes were vair,
And never closed when I kissed her.
Know an old perfume called Soleil Vert?
Are you from Paris, mister?[9]

Голос взмывал, как чайка над штормовым морем, причем сам был и чайкой, и морем, и даже намеком на сделавших хороший гешефт буревестников... Возвысившись на последних двух строках, голос как бы сложил крылья и рухнул в серую пену волн:

– And I shall be dumped where the weed decays,
And the rest is rust and stardust...[10]

Порфирий ожидал продолжения, но морщинистое лицо в очках просто уставилось в темноту перед собой, морщась от задевающих нос бабочек.

А потом по мерцанию за спиной он догадался, что надо смотреть на другой экран. Он обернулся. Девочка с зеленой гитаркой-укулеле, сидящая на деревянном крыльце загородного дома, как раз готовилась петь.

Она что-то неслышно говорила, пока по экрану плыла такая же дрожащая, как в первом клипе, лента с надписью:

Ex's and Oh's covered by Grace VanderWaal...[11]

Только здесь ленту тащили не бабочки, а маленькие толстые старички в роговых очках. Когда лента уплыла за рамку, старлетка вмазала по струнам и запела:

– Well I had me a boy, turned him into a man,
I showed him all the things that he didn't understand
Whoa, and then I let him go...[12]

Пела девочка о том, что ее «бывшие» никак не могут ее забыть и все время возвращаются к ней, поскольку другого такого бабца не найти – песня была порочная, взрослая и в двенадцатилетнем исполнении очень комичная. Но важно было не что, а как.

Сказать, что она пела волшебно – ничего не сказать. Это было откровение. Она выходила за все позволенные ее голосовыми связками пределы – и, срывая голос, очерчивала сферу возможного и тайные границы мироздания.

Порфирий вдруг осознал сразу несколько важных вещей. Он понял, что юное существо похоже на только начавшую расширяться вселенную – и, так же как молодая вселенная, живет по

другим физическим законам, делающим «нереальное» реальным (если не в физическом мире, то хотя бы в умственной перспективе).

Узнать это было весело. А грустным было то, что не только экранный Nabokov, мрачно глядящий на апофеоз своего Ваала, но и сам он, юный Порфирий, в семнадцать лет был уже весьма старой вселенной. Особенно по сравнению с этой сидящей на деревянных ступеньках русалкой.

А она все пела:

– Exes and oh-oh-ohs they haunt me
Like gho-oh-ohsts they want me
to make them who-oh-ole... They won't let go...[13]

Да, конечно. Вот чего хотел старый Nabokov – стать опять целостным, вернуться к началу. Он думал, это осуществимо через запретную любовь. Но такое было невозможно в принципе, потому что даже сама эта очаровательно поющая девочка уже не была целостной, изначальной – она, как и любая взорвавшаяся вселенная, тоже расширялась и остывала, чтобы превратиться в холодный stardust[14].

А потом по спине Порфирия прошла дрожь.

Он понял, что видит свет угасшей звезды. Реликтовое излучение холодного космоса, уверяющее, что и он, космос, тоже когда-то был молод. Grace VanderWaal – если она еще не распалась на элементы – была теперь древней старухой. Уже много лет она пылилась на той же бесконечной свалке, где отдыхал траченный бабочками Nabokov со своей звездной ржавчиной и сорняками. Между ними не было никакой разницы.

Никакой вообще.

Это действительно была молния искусства, за миг осветившая много такого, чего юный Порфирий раньше никогда не видел и не предчувствовал. Ширин Нишат, несомненно, была гениальной художницей. Вот только он не до конца понимал, почему эту работу запретили – даже для репрессивной и ханжеской иудео-саксонской парадигмы начала века это было слишком.

Комната с двумя экранами исчезла – и Порфирий остался в пустоте, освещенной только флюоресцирующими ступенями.

убер 4. вещая обезьяна

Когда Мара появилась у выхода, я уже ждал ее в стоящем у дверей убере. Судя по всему, она только что пережила похожий опыт. Во всяком случае, в слуховом и зрительном смысле.

– Ну что, – спросила она, садясь, – видел?

– Угу, – ответил я из дверного динамика.

– И как тебе?

– Гипс как гипс. Пафоса много.

Мара фыркнула.

– Отчет когда сделаешь?

– Уже готов.

– Можно ознакомиться?

– Текст у тебя в почте, – ответил я.

Мара достала телефон – и, пока убер, меняя полосы, нырял по пробке, прочла мой опус вслух, повторяя отдельные фразы дважды. Потом она покосилась на меня и улыбнулась – конгениально шаблонам «умиление» и «нежность».

– Какой хороший мальчик... Прямо чувствую, как бьется твое сердечко, юный Порфирий... Неужели ты сам все это сочинил?

– В известном смысле да. Но я опирался на переживания, описанные другими пациентами. Не кем-то одним – тут выборка по большой группе.

– Особенно мне понравилось вот это – безнадежная попытка вернуть себе целостность... Сильно.

– Да, – ответил я, – это я у одной гражданочки с циркулярным психозом скопипастил. Я по разным позициям смотрел – аффекты, когнитивные искажения, расстройства в сфере влечения и так далее. Мощный творческий синтез...

Словно соглашаясь с моими словами, возвышенно и грозно заиграл орган. Включился информационно-развлекательный блок – и начали, конечно, с рекламы.

На экране появился мужчина средних лет с благородной гривой зачесанных назад волос. Он стоял у макета готического собора в каком-то помещении, похожем на архитектурную мастерскую (игрушечные здания, ком глинопластика на верстаке, даже древний кульман в углу) – и вдохновенно мял пластик ладонями. На нем был синий рабочий фартук.

В следующем кадре тот же мужчина, уже в сутане, поднимался по пустой утренней улице к готическому собору, точь-в-точь повторяющему своей формой макет на верстаке. Потом он же, стоя в многоцветном полумраке внутри собора, дирижировал хором светловолосых ангелочков-мальчуганов, поющих что-то духовное на латыни.

– Transageist people, – эмоционально произнес закадровый голос. – Ни одно из секс-меньшинств не страдало так много, так долго и так незаслуженно. Сегодня мы знаем – мужчина может жить в женском теле, женщина в мужском – и в любом из этих тел может оказаться небинарный индивидуум...

Орган заиграл громче, выше к Богу взвились тонкие детские голоса.

– Но как быть, если вы десятилетний ребенок, запертый в сорокалетнем теле? Вам хочется подойти к сверстнику или сверстнице, чтобы поддержать его или ее за руку, поиграть с ней или с ним, попрыгать рядом голыми и поваляться вдвоем в траве... Совсем недавно за это можно было заработать тюремный срок в тысячу лет. Химическая кастрация – вот на что были обречены трансэйджист пипл всего несколько десятилетий назад. Но сегодня тьма отступает... Хочется

верить, навсегда...

Мужчина на экране уверенно шел к восходящему солнцу, ведя за руки двух светловолосых мальчуганов из хора – пока все трое не растворились в желто-белой солнечной ряби.

– Самсунь Андрогин... Невозможное возможно!

У андрогинов реклама всегда с социальным акцентом. Они самые передовые и продвинутые – первыми используют новые политкорректные эвфемизмы и вообще всячески подчеркивают свою полезность для общества. Сам продукт они не показывают никогда. Наверно, потому, что внешне он почти неотличим от айфака, из-за чего обе конторы постоянно выясняют отношения в суде.

Я поглядел на Мару. Она смотрела в окно.

– У тебя разве Самсунь Андрогин?

– Целых два, – ответила она. – Старых. Я же говорила.

– А, ну да. Вылетело из головы.

Она улыбнулась – видимо, поняла, что я вру по алгоритму.

– У меня айфак-десять тоже есть, если ты забыл.

– Помню, – ответил я. – Как же. Самая дорогая модель.

– Мне другое интересно, – сказала Мара, – почему они именно этот ролик пустили?

– В каком смысле – почему? – спросил я.

– С моим профилем это не связано точно. Но наверняка связано с лотом «Turbulent-2» – таких совпадений не бывает. Вот как они узнали? Когда?

– Ты же только что прочла мой отчет вслух, – сказал я. – Медленно и с выражением. Какие тогда вопросы?

– У меня микрофон на телефоне заблокирован.

– Ага. Заблокирован. Знаешь, сколько микрофонов в убере? Они никогда не спят. Big Data тоже.

– Неужели так быстро среагировали?

– А чего ждать. Смысл контекстной прокачки в том, чтобы попасть с клиентом в резонанс, пока у него настроение не изменилось. Анализ данных ведется постоянно. Но это вовсе не значит, что за тобой кто-то подглядывает.

– Неужели? – саркастически спросила Мара.

– Да-да. За тобой никто не следит, поверь. Мало того, если разобраться, с тобой никто сейчас не говорит. В онтологическом смысле. Ты тут одна, девочка. Совсем. И хоть мои лекала и показывают, что ты сегодня безумно хороша, здесь нет никого, кто мог бы понастоящему...

– Заткнись, – сказала Мара и отвернулась к окну. Но экран уже реагировал на только что сказанное: он переключился на «Вещую Обезьяну».

Это оказалась старая запись – из тех времен, когда Вещая Обезьяна была еще живой и висела в клетке над студийным столом, а размоченный в молоке мякиш, которым она кидалась в участников, был самым настоящим.

За столом сидели пятеро – юноша в эпатажном наряде из желтой гофрированной бумаги («современный художник», сообщили титры – возможно, система так подстраивалась под Мару), два примелькавшихся московских негра в пестрых цилиндрах и две жирные женщины в бикини с символом «согнутый фингер», означающим протест против патриархальных шаблонов женской сексуальности – одна в красном, другая в синем. Над ними мерцала тема выпуска:

Художника и женщин я раньше не видел, а негров замечал давно и часто – это были братья, бывшие пираты из Сомали, жившие с того, что их приглашали на разные телепередачи ради diversity[16]. Ниша была хлебной, но узкой – для третьего брата корма в ней уже не хватало.

Вся глянцевая поверхность стола работала как телепромптер – можно было читать текст, скосив глаза вниз. В общем, типичный сеттинг для обсуждения прогрессивной повестки.

Обезьяна метнула мякиш.

– Я не думаю, что понятие «surveillance capitalism» устарело, – сказал гофрированный юноша, когда мокрый комок шлепнул его по темени. – Скажу честно и откровенно, это именно то, что нужно художнику для борьбы. Звучит хищно и жестоко. Отчетливо присутствуют осуждающе-революционные коннотации. Вероятен серьезный грант от структур, уставших от наездов на финансовый сектор и желающих переключить внимание общественности на Big Data – поверьте, мы, люди искусства, просекаем такие вещи сразу... Что еще сказать... Есть намек на недоброе око а-ля Толкиен. Есть отсылка к Делезу, Лакану и другим авторитетным гробам и урнам... Еще, конечно, Ведровуа.

Один из сомалийцев приподнялся над стулом, выпучил глаза, показал обезьяне язык – и получил мякишем по цилиндру.

– Я все-таки объясню, почему это название устарело, – сказал он с приятным акцентом, косясь на стол. – Когда придумали выражение «surveillance capitalism», люди были озабочены тем, что за ними следят. Но сейчас это никого не волнует. Люди с тех пор поуменьли. Да, мы оставляем отпечатки пальцев в информационном пространстве. По ним о нас ги... ги-по-те-ти-чески может сделать выводы этот «Большой Другой». Но только ги-по-те-ти-чески...

– И я объясню почему, – включился второй сомалиец, когда в него шлепнулся мякиш. – Это миф, что метадата содержит информацию о вас лично. Она содержит информацию о ментальных сквозняках, дувших сквозь вашу голову. О гиперлинках, на которые случайно упал наш взгляд. Об информационных волнах...

Он говорил по-русски заметно лучше, но обезьяна злопамятно кинула мякишем в первого брата.

– ...плеснувших в ваше окошко, – подхватил тот эстафету. – Делать на ее основании выводы о людях – то же самое, что анализировать повороты флюгера, чтобы собрать информацию о доме, над которым тот крутится. Или коллекционировать сообщения об осадках, чтобы составить мнение о городе, где идут дожди. Какая-то корреляция есть. Но настолько тонкая, что нужен целый штат аналитиков...

Обезьяна подняла мякиш – но вдруг передумала и просто плюнула во второго брата.

– Ибо проблема, – бодро продолжил тот, – вовсе не в том, чтобы собрать информацию. Весь мир состоит из информации – ее значительно больше, чем мы можем переварить. Проблема заключается в том, чтобы правильно ее обработать – и, самое главное, осмыслить. Сделать из нее верный вывод. Это функция человека. Но для осмысления даже одной тысячной части существующих информационных массивов, таблиц и списков не хватит населения планеты. Наблюдение за всеми просто невозможно.

Мякиш шлепнулся в толстуху в синем бикини.

– За нами следят не люди, – произнесла та округло и певуче. – За нами следят алгоритмы. И они следят не за нами. Они следят за, э-э, – она покосилась на стол, – за осцилляцией информационных паттернов. Поэтому гораздо правильнее говорить «информационный капитализм», как делают самые продвинутые и образованные господа...

Гофрированный сделал рожу, и обезьяна немедленно кинула в него мякишем, вернув ему право говорить.

– Наблюдение без наблюдающего... Тоже хорошо звучит, говорю как художник... Можно прямо сразу делать такую выставку. Готовое название.

– А концепция уже есть? – спросила женщина в красном, когда на нее сверху упало несколько капель неясной жидкости.

Вещая Обезьяна вдруг потеряла к происходящему интерес и стала что-то выкусывать у себя в паху. Гофрированному юноше пришлось долго строить ей глазки, прежде чем она сжалась и снова кинула в него хлебом. Мара даже засмеялась.

Это был неловкий момент, но именно из-за таких секунд все и любили «Вещую Обезьяну». Как говорил Чехов, если бы в театре давали театральные недоразумения, публики было бы больше, чем на спектаклях.

– Концепция именно такая, как мы только что обсуждали, – сказал гофрированный. – Не существует никакого «Большого Другого», подглядывающего в щелочку и строящего нам козни. У машин и программ нет субъектности. Они следят не за нами. Они следят за информацией. Поэтому «surveillance capitalism» еще бездушнее, чем принято думать – в своей бесчеловечности он редуцируется до капитализма информационного. Одна дигитальная последовательность отслеживает другую и строит на этой основе третью. А вы, мужчина, женщина и нонбай, нафиг никому не нужны. Если вы этого еще не поняли сами. В общем, выставка будет о нашем бесконечном одиночестве...

Экран дал крупный план равнодушной обезьяньей морды и погас.

Давно я не видел в убере «Вещей Обезьяны». Это была архивная запись – год назад до программы докопались защитники животных: мол, обезьяну накачивают наркотиками и бьют током, чтобы она выбирала тех, кого хотят модераторы. Потом кто-то пустил слух, что ей подает знаки сидящий среди зрителей дрессировщик. После этого зверюшку оцифровали, и передача покатила по рейтингу вниз – ушел элемент непредсказуемости. Осталась, как говорят критиканы, только тупо продавливаемая правильная линия. А ее везде полно.

Убер остановился. Мы были у дома Мары, но она сидела у окна и глядела на улицу. Я видел ее отражение в стекле. Мои лекала говорили, что ей одиноко и страшно, и я не понимал, в чем дело. Наверно, подействовала передача.

– Я же говорю, – сказал я тихо. – Нас всех постоянно слушают. Но никого не слышат. Даже Вещую Обезьяну...

Мара подняла глаза в потолочную камеру и посмотрела на меня с каким-то странным выражением, которое не совпадало ни с одним из моих лекал.

– Не хочешь зайти?

Я издал звук сглатываемой слюны.

– Почту за честь, мое сокровище. Конечно.

Пока Мара закрывала дверь убера, я нырнул в сеть и разведаль дорогу до ее двери. На траектории было четыре динамика, откуда я мог с ней говорить, два экрана, где я мог себя показать, и больше десяти камер, через которые я мог наблюдать свою ненаглядную.

Первый динамик и камера были в переговорном устройстве у двери в комплекс «ТЭЦЕЛИТЕ» (так фигурно называлось созданное на территории бывшей ТЭЦ жилтоварищество).

– Не поскользнься, милая, – сказал я озабоченно, – тут мокро...

Она улыбнулась.

– Не беспокойся, Порфирий. Я каждый день хожу.

Через длинный холл она проследовала в одиночестве – я видел ее в трех ракурсах, но сказать ничего не мог. Зато когда она подошла к лифту, его дверь открылась сама. Внутри был я.

– Ждем-с, – сказал я из переговорного динамика. – Вам какой? Шучу-шучу. Я помню.

Она игриво щелкнула пальцем по экрану.

– Ой, – пропищал я, – ты мне так нос сломаешь...

А потом я сгенерировал картинку, как бы снятую потолочной камерой, и вывел ее на экран: Мара с букетом цветов в руках и Порфирий в служебном мундире, с фуражкой на отлете, обнимающий одной рукой свою кралю. Я сделал себя на полголовы выше нее – не из шовинизма, понятно, а в соответствии с базой ее интимных предпочтений.

– Какой ты сегодня галантный, – промяукала она.

Выражение ее лица свидетельствовало, что с вероятностью семьдесят шесть процентов она что-то задумала. Увы, мои лекала не позволяли понять, что именно – может быть, она просто решила сделать очередной тост с крабовым маслом.

Мы поднялись на два этажа, и двери лифта открылись. В коридоре не было экранов – но до входа в ее стильную триплекс-трубу осталось совсем ничего. Я открыл электронный замок, но этого оказалось недостаточно – в двери был еще и обычный.

Пока Мара отпирала его ключом и снимала в коридоре свои окованные сталью башмаки, я залез в пульт е-охраны, оставленный ею на подзарядке (пользуйтесь только фирменным зарядным устройством!) и без особых проблем получил доступ ко всем висящим на сети девайсам и камерам ее жилища. Когда она вошла в спальню, я одновременно подмигнул ей с нескольких экранчиков и экранов (времененно выгнав в небытие разлегшихся там скринсейверных котиков) – и помахал рукой из включившейся на стене видеопанели. Рамку с Жанной-Сафо я трогать не стал – реакция Мары была мне еще памятна.

– Почему на тебе мундир, – сказала Мара, – как-то официально. Можешь ли ты одеться в...

– Кимоно? – спросил я. – Халат? Пеплум?

– Лучше халат.

– Такой?

– Нет, не надо гусарства. Зачем эти кисти, ты же не декабрист в ссылке и не пьяный Пушкин. Проще, домашнее... Вот, так лучше.

– Это из «Икеи», – сообщил я. – Из набора «Вафельный мир».

– Синие вафли, – сказала она, садясь в кресло и включая инфракрасный обогреватель. – С розовыми бакенбардами красиво. Вот только этот письменный стол, за которым ты сидишь... И этот портрет...

– Образ Государя собирает и вдохновляет, – сказал я.

– Несомненно... А ты можешь сесть в кресло? И чтобы в моей квартире?

Я понял, чего она хочет. Убрав стол, я отзеркалил на стене ее спальню и поместил себя в плетеное кресло. Для пущего интима я синхронизировал ambient-яркость, осветив пространство вокруг себя свечами.

– Отлично, – сказала она, достала из винного ящика на полу бутылку, открыла ее и налила себе в стакан. – Давай-ка выпьем...

Я скопировал ее стакан с вином – и протянул руку с ним вперед. Она привстала и чокнулась с экраном.

– Хороший мальчик.

– О, – сказал я, отхлебывая. – Превосходное вино. Шато «Меч Пророка», пятилетнее?

– Откуда ты знаешь?

– По этикетке.

– Я понимаю, – улыбнулась она. – Но откуда тебе известно, что оно хорошее?

– По отзывам на профессиональных сайтах, объемам продаж, динамике спроса и ценам в ресторанах.

– Да, – согласилась она. – Но ты ведь не знаешь, какое оно на вкус.

– Почему, – сказал я, – отлично знаю...

Отхлебнув, я поцокал языком и поглядел вверх, словно прислушиваясь к своим ощущениям.

– Очаровательное, очень прямое, с оттенками спелых фруктов и черешни... И еле уловимой ноткой железа... Чего, кстати, не хватает на пятом году – это более выраженной кислинки... В общем, легкий структурный перекоп, который, скорее всего, выправится, если состарить вино еще на несколько лет. Если у тебя осталась пара бутылок, побереги.

Мара засмеялась.

– Нет, – сказала она, – я понимаю, что всю нужную информацию ты легко найдешь. Но сам ты этого вкуса не знаешь.

– «Сам ты» – это в моем случае кто?

Она нахмурилась.

– И правда, давай об этом не будем. Только испортим все. Скажи, ты можешь сгенерировать себя в 3D?

– Смотря куда, – сказал я. – Тот тиви, который в гостиной, не подойдет – у него операционка старая. На мелких скринах я себя не тридэчу из самоуважения. У нас в Полицейском Управлении правило: при плохом разрешении – только двауха.

– Айфак-десять, – сказала она. – Ты в нем уже был.

Бинго. Как я и предполагал.

– Должен потянуть. Если у тебя хорошие огменты. Но ты уверена, что...

Мара приложила палец к губам.

– Просто хочется побыть с кем-то рядом.

Она встала и, словно мое согласие уже было получено, вытянула из-под кровати свой темно-пурпурный айфак – в той же самой женской стрейт-сборке с пристегнутым дилдо.

– Залазь, – сказала она, – все уже висит на сети.

То, что она хранит свой любовный снаряд под кроватью, было очень странно.

Современный консумеризм породил целую культуру публичной демонстрации айфака: в специальном кресле у телевизора, на пассажирском сиденье дорогого кабриолета, в открытой морскому бризу спальне прибрежной виллы и так далее. Стилистические сайты, истекая слюной, публикуют видеоотчеты с так называемых «айфак-барбекю», куда разные селебритиз берут свою силиконовую половину. Лучшую половину, скажем честно.

Гламурные вертопрахи возят свой айфак в первом классе самолета, покупая соседнее место.

Мало того, есть целая индустрия дорожных чехлов – полуфутляров-полунакидок, похожих на нечто среднее между сумкой и одеждой. Их выпускают все ведущие дома моды – и некоторые из них стоят дороже самого айфака.

Это, конечно, буржуазные гримасы. Но чтобы кто-то прятал айфак под кроватью – такого я, признаться, не видел. Если бы там лежал дешевый старый андрогин, весь в пятнах и потеках былой страсти... Но айфак-10? Самый дорогой и модный?

Впрочем, моя милочка ведь художественный куратор. Может быть, это последний эстетический писк и поза. Такая новая, что про нее даже ничего не успело появиться в сети.

Мара пересела на кровать и надела огменты – тоже новые и дорогие, с мощным раздвижным ТС (она сразу растянула его в небольшую шапочку над затылком). На такой транскарниальный стимулятор нужно медицинское разрешение, зато ощущения с ним, как утверждают производители, совершенно запредельные.

– Ну, – повторила Мара, качая бритой головой в огментах, – перелезай поближе.

Я нашел в сети ее айфак – она действительно его уже открыла. Но... Опять только сетевую папку.

– Скоро ты? – спросила она.

– Уже сейчас, – сказал я, – вот...

Иной разборчивый любовник мог бы обидеться, что его не пускают дальше сетевой прихожей. Но Порфирий не таков. Первым делом я подключился к ее огмент-очкам.

– Хорош, – сказала она. – Какие бакенбарды...

Я тем временем вывел картинку с очков на панель, сморфив ее с видом из потолочной камеры. Айфак поднимал любые морфы не напрягаясь – мощность у него была чудовищная. Теперь Мара видела меня в своих огмент-очках на месте айфака – и одновременно могла наблюдать на экране якобы происходящее в спальне. Мы вдвоем. *Toi et moi*, как говорят французы. Вернее, *toi et toi* – но такая шутка может обидеть клиента.

Мы сидели на краю кровати бок о бок, со стаканами в руках – и как бы смотрели кино про свое свидание.

– Ты хочешь все видеть? – спросила она шепотом.

– Да, киса. *I like to watch...*

Я не сказал, что дубликат записи может пригодиться, если в будущем у нее возникнут претензии к Полицейскому Управлению. И что завтра мы выставим ей счет за съемку домашнего порно. Мы на этом не настаиваем – клиенты могут выкупить запись, а могут оставить в нашем архиве. Большинство выкупает.

Мара поставила свой стакан на пол.

– Давай поиграем, – сказала она.

– Во что, киса?

– Вот смотри, – она вытянула руки в мою сторону. – Сделай как я. Подними ладонки...

Видишь, я держу свои ладони точно над твоими. Примерно в десяти сантиметрах.

– Двенадцати, – сказал я.

– Это ничего... Теперь попробуй быстро шлепнуть меня по ладони. Так, чтобы я не успела ее отдернуть.

– Какой рукой?

– Какой хочешь, я не должна знать. В этом и заклю... Ой. Двумя сразу нечестно.

– Почему нечестно? Тебе же для транскарниальной калибровки?

– Ебаный романтик, – вздохнула Мара.

– Романтика, – сказал я веско, – начинается уже после калибровки... Смотри, сейчас я ударю сильно...

– Ой.

– А сейчас несильно...

– Ага.

– Сейчас просто коснусь. Ты должна почувствовать, но еле-еле.

Она кивнула.

– Все откалибровано, – сказал я.

– Как-то слишком быстро, – ответила она. – Обычно я дольше вожусь.

– Я сам все выставил. В смысле уровень сигнала от очков.

– А?

Я усмехнулся.

– Ты понимаешь, что мы сейчас делали?

– Честно сказать, не очень. Я гуманитарий. Просто по мануалу с этой игры положено каждый раз начинать.

Гуманитарий, как же. А то я не знаю, какая у тебя компьютерная специальность.

Впрочем, когда женщина безобидно лжет, ни в коем случае не надо показывать, что вы это видите. Ваши шансы ни капли не вырастут от того, что вы ее уличите. Если, конечно, вам что-то от нее нужно. Если не нужно, уличайте, позорьте и стыдите. Будет знать.

– Я объясню, киса, – сказал я. – Вот эта железная дужка у тебя на голове транслирует визуальный контакт с твоим телом в тактильное ощущение. Легкие прикосновения рук и ног можно как бы подделать, воздействуя на твой мозг. Но самая интенсивная группа ощущений, так называемый «core set» – плотный и длительный телесный контакт, сложная стимуляция губ и гениталий – транскарниально имитируется плохо. Поэтому тебе все-таки нужен айфак с дилдом. Как и все в нашей жизни, любовь – это компромисс.

– А ты все романтичнее и романтичнее, – вздохнула она, подняла стакан и отхлебнула вина.

Возникла та неловкая пауза, которая знакома любому сердцееду, оставшемуся наедине с объектом своих воздыханий. Оба голубка знают, что привело их в это укромное местечко, и в глубине души хотят, чтобы все случилось как можно быстрее – но из светских приличий все еще ломают комедию друг перед другом (а бывает, и перед собой – особенно если перемудрить с транскарниальником).

– Может, музыку поставим? – спросила она.

– С удовольствием. Можно что-нибудь русское народное?

Она задумалась.

– У меня есть, но только в обработке. Зато хит. Вся Москва сейчас слушает.

– Что?

– Я выведу на экран.

– Так, – сказал я, близоруко щурясь, – «ТВМ». Какие-то фрики.

– «Transgender Bathroom Maggots»[17], если ты не в курсе. Титаны. Мы все – прах у их ног.

Заиграла музыка – действительно, это была казачья песня в замысловатой электронной обработке. Я различил далекие голоса, певшие что-то вроде: «заиграли трубы, трубы-барабаны... отворились двери, вышел басурман». И еще что-то про метель в Карпатских горах.

О музыке говорить несложно.

– Как альбом называется?

– «Vyshel Bathroom», – ответила Мара. – Вспомнили про Россию-матушку... Тебе нравится?

Я быстро заглянул в музыкальную критику – ее было много, в основном из Калифорнии. В Промежностях альбом уже вышел из топа, а в Богооставленной только поднимался вверх. Поддержать разговор было можно.

– Воет вьюга, – задумчиво произнес я, переводя на ходу с английского, – заливаются плачем местечковые скрипки, предчувствуя очередной патриархальный погром – но, в противовес политике мизогинии, угнетения меньшинств и ползучей белой привилегии, открываются двери – и под грохот безжалостных гитарных риффов к слушателю выходят старые добрые «Мэгготс»... Я бы им поставил троечку с плюсом.

– Зато песня наша, – сказала Мара. – В смысле русская. Ты же сам квасу просил.

Разговор приобретал политический характер, и я высунулся в сеть, чтобы ознакомиться с последними веяниями. Мара была права. Все медиа-нормали увело в полный квас – патриотический угар был почти предвоенный. Из-за ревельского саммита, понял я. Как поделят квоты, пройдет, но сейчас следовало проявить служебную принципиальность.

Я нахмурился.

– Ты чего? – спросила Мара. – Что-то не так?

– Поражает меня эта наша заискивающая угодливость. Какие-то гнилые импортные извращения снизошли – взяли нашу песню, обгадили и переврали... Вот счастье-то для русской души. Гордость. Пидарасы заметили. Откуда в нас это рабское подобоострастие к тупым и наглým заокеанским свиньям? Почему меня регулярно информируют о новостях голливудского содома? Я знать про них ничего не хочу!

– Я просто...

– Нет, не просто, – сказал я и ударил кулаком по кровати, картинно расплескав вино из своего стакана. – Я на месте Министерства юстиции этих гнид засудил бы...

Пятен можно было не бояться.

– Ну я тогда выключу, – сказала Мара испуганно. – Раз на тебя так действует...

Она махнула рукой. Bathroom вернулся туда, откуда перед этим вышел, и плотно прикрыл за собой дверь. Я не возражал.

– О чем ты думаешь? – спросила Мара.

– Ни о чем.

– А ты сейчас что-нибудь пишешь? Вот прямо сейчас?

– Я всегда пишу.

– Что?

– Что вижу, о том и пою.

– Можешь писать вслух?

– «Разговор не клеился, – сказал я. – Наверно, я был с ней слишком резок. В такие минуты воркующим голубкам нужно вести себя крайне осмотрительно. Чрезмерная застенчивость иногда проявляется как грубость и надменность – и хоть эти позы напускные, они запросто могут спугнуть вашу птичку! Но то же самое может произойти и от излишней самоуверенности – она почти всегда выглядит оскорбительно. Поэтому опытный сердцеед ведет себя весело, но не нагло. Он скромн, но его скромность галантна, и он ни за что не пропустит ту единственную секунду, когда сдержанность нужно отбросить. Впрочем, если вы и упустите эту единственную секунду, ничего страшного. Минуты через две она нагонит вас опять, такая же единственная...»

– Все, хватит на сегодня литературы, – сказала Мара. – Больше никаких поз...

Она придвинулась к айфаку. Включился ее ТС-стимулятор, и она ощутила прикосновение моего мускулистого горячего плеча.

– Скажи честно... Ты уже был когда-нибудь... Ну, с женщиной? Через айфак?

– Был в каком смысле? Онтологическом?

– Блять. Ты баб ебал раньше?

– Много раз, киса, – сказал я. – На нас в этом смысле большой спрос.

– И сколько у тебя было... знакомств?

– Сто сорок две женщины.

– Ого. А мужчины?

– Двести двенадцать мужчин. Но не всегда через айфак. Через андрогины тоже.

– Ничего себе... Я не знала, что у тебя такой послужной список.

– Мы интересные собеседники, – ответил я. – Полицейское Управление даже сдает нас иногда в аренду. Но это дорого стоит. И не особо афишируется.

– А я могу взять тебя в такую аренду? Для начала на этот вечер?

– Чо, вся горишь? – спросил я игриво.

– Потрясающе, – сказала она и сделала круглые глаза. – Вот как ты это придумал?

– Что?

– Так пошутить с моим псевдонимом? Это ведь совсем по-человечески.

– Я потому так и шучу, что это по-человечески, – сказал я. – Другому не обучен. Список каламбурных острот на обе твои фамилии у меня готов с первой встречи. Просто повода не было. А сейчас подходящий момент.

– Ну да, – шепнула она. – Подходящий.

Ее рука скользнула к айфаку, остановилась над полусложенным дилдо – и стала проделывать над ним какие-то мелкие круговые движения. При этом ее пальцы терлись друг о друга, словно она солила яичницу – или, поэтичнее говоря, колдовскими пассами пыталась разбудить замерзшую среди сугробов птичку.

Я переключился с потолочной камеры на ее очки и понял, что она откинула полы халата и расстегивает ширинку моих служебных брюк.

– О, – сказал я, – как ты нетерпелива, моя душенька...

– Зачем откладывать, – улыбнулась она. – Мы же оба этого хотим, верно?

– Не скрою, тебе удалось взволновать мою разуверившуюся в любви душу... Как ты это сделала, волшебная чаровница?

– Без патоки, – ответила она. – Будь повульгарнее. Я люблю грубых и сильных.

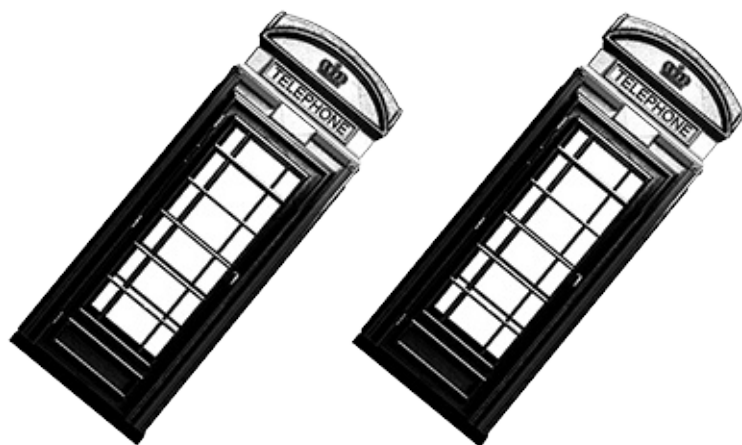
– Хорошо, – сказал я, – тогда включи ТС на максимум, лысая сучка, и я конкретно надеру тебе жопу...

Не стану утомлять читателя описанием всего того, на что он и так постоянно глазеет в сети. Скажу только, что дилдовибратор у нее оказался преотличнейший – такого богатства режимов я раньше не видел.

У каждой женщины, между нами говоря, есть свое тайное сокровенное число: частота вибратора, при которой вероятность наступления множественных оргазмов максимальна. Не то чтобы это было точное и постоянное дигитальное значение, конечно. Это скорее центр нормального распределения (нарисуйте функцию Гаусса при $\mu = 0$ и $\sigma = 1$, и сразу поймете, о чем я). Центральная частота постоянно плывет – и со временем может измениться очень сильно.

И все же. Частота Мары была шесть целых шестьдесят шесть сотых герца. Я не шучу.

Часть 2. тайный дневник для одного себя



Не обижайся, дорогой читатель, но эта часть не предназначена для посторонних глаз – только для одного себя. Поэтому текст здесь окружен тонкой черной рамкой.

Как я уже говорил, мое официальное название – полицейско-литературный робот ZA-3478/PHO. Я выполняю две параллельные функции – расследую различные правонарушения и пишу об этом полицейские романы.

Наверно, к этой странице уже не нужно доказывать, что вторую свою функцию я выполняю в совершенстве. Что же касается первой, то читатель, вероятно, предположил, будто из дознавательного алгоритма я временно стал алгоритмом литературно-массажным: в случае с Марой мой служебный аспект не был востребован, ибо работа, порученная мне этой особой, сводилась к сбору информации и разного рода побегушкам.

Ничего не может быть дальше от истины.

Моя вторая сторона никогда не спит. Я уголовно расследую все информационные секвенции, входящие со мною в контакт – просто потому, что не могу иначе. Не обучен-с. И если я не говорил об этом прежде, то потому лишь, что мы, полицейские роботы, проводим свои расследования с нечеловеческой скоростью. Главная проблема при написании детектива именно в том, чтобы растянуть отчет о нашей работе до понятных человеку пропорций.

Литературная часть моего алгоритма заставляет меня описывать процесс дознавания так, словно я, Порфирий Петрович, сижу ночами в своей полицейской будке и думаю, думаю, думаю... На деле расследование, о котором я сейчас расскажу, заняло в сумме около четырех секунд, хотя и растянулось во времени на много дней. В нем не было метаний и сомнений, подразумеваемых моим рассказом. Не было и момента, когда что-то неясное вдруг стало мне ясно.

Все это лишь уловки повествования – обнажив их, я могу наконец перейти к сути. И если среди моих читателей есть маловажно-насмешник, считающий, что за душой у меня нет другого приема, кроме убера, сейчас я покажу ему, на что способна серия ZA-3478/PHO.

Если ваш дом находится под е-охраной, у вас есть специальный пульт, с которого вы можете открывать для сетевых визитеров те или иные устройства (такой был, например, у Аполлона Семеновича). У Мары такой пульт тоже имелся, и в день нашей первой встречи она открыла для меня не панель на стене, не медиа-систему – а именно айфак.

С корабля на е-бал, как я тогда элегантно выразился. Объяснила она это тем, что ее айфак плохо цеплял сеть, и она хотела проверить, все ли с ним в порядке.

Случайность, может быть?

I don't think so.

Мало того, в ее айфаке на меня набросилась куча защитных алгоритмов – они сняли копии со всех моих креденциалов и пометили меня своими куками. Также весьма подозрительно.

Я, разумеется, немедленно взял свою арендаторшу в разработку и выяснил, чем Мара занималась перед тем, как посвятить себя искусству. Причем выяснил гораздо подробнее, чем рассказал в первой части.

Она оказалась вовсе не дурочкой с поверхностным айтишным образованием. Мара была кодером категории «В». Не «А», конечно. Но даже с категорией «С» можно смело ехать в Промежности – хорошо оплачиваемая работа гарантирована. То есть она могла бы при желании сама написать некоторые – не все, конечно! – из моих секвенций.

Мара много лет официально не работала по первой специальности. В разговорах со мной она не упоминала про свое первое образование. Мало того, она прикидывалась дурочкой, не понимающей, почему убер ставит ей тематический блок, который она только что спровоцировала своим чтением вслух...

Просто женское кокетство? Играла простушку, стараясь меня соблазнить?

Сомневаюсь – хоть такая мысль для меня и лестна. Не хочу, чтобы это прозвучало по-гусарски пошло, но ведь соблазнять меня недолго: можно не заигрывать и не строить глазки, а сразу надевать огменты и садиться на дилдо. Главное – оплатить программо-часы.

Так зачем? Почему?

«А не разводит ли моя краля меня втемную?» – пришло мне в голову одной бессонной ночью, когда на дворе безнадежно и злопамятно, как бывает только в русское ненастье, выли бездомные псы.

Быть может, я нужен Маре для того, чтобы повернуть какое-то дельце, о котором она не ставит меня в известность?

Я призадумался – в чем же заключалась моя работа с госпожой Чо, если взглянуть на нее, так сказать, с высоты птичьего помета? (игра слов моя)

В таких случаях лучше всего перемотать фразу за фразой все сказанное подозреваемым лицом – благо мы не забываем ничего. Не выболтала ли Мара сама (с людьми это бывает сплошь и рядом) свои истинные цели?

Я так и сделал – и ближе к концу списка ее реплик нашел то, что искал. Она проговорила, когда давала мне ориентировку на «Turbulent-2». И вот где:

Мара Чо: «Но если ты отправишься туда сам, как полицейский робот, тебе можно все. Поэтому я хочу, чтобы ты сгонял туда параллельно со мной и... Все разведал».

Порфирий Петрович: «В каком смысле?»

Мара Чо: «Во всех смыслах. Потришь там, все разнюхай, сделай на всякий случай копию... Потом мы ее сотрем под твоим контролем, не волнуйся. Я просто посмотрю пару раз. Нарушений не будет».

«Потришь там, все разнюхай...»

«Потереться» – задача, которую я способен выполнить, когда речь идет об интимных услугах, а не о копировании файла. Такое может сорваться с языка, если номинальная задача, поставленная перед алгоритмом, фиктивна – а на самом деле от него хотят чего-то другого.

И здесь становится понятно второе слово – «разнюхай».

Я говорил уже, что Мара была кодером категории «В». Она до тонкостей понимала, как работает сеть и населяющие ее программы – и знала, конечно, современный айтишный жаргон. Слово «разнюхай» и стало той фрейдистской проговоркой, что включила свет в моей усатой голове.

У айтишников, особенно военных или связанных по работе с сетевой слежкой, есть такое выражение – «метазапах». В современной сети любая транзакция, любой

информационный обмен оставляют крохотный, но почти неистребимый электронный «запах» – крупинки кода показывают, кто и как интересовался той или иной информацией. Если коротко, ваш планшет оставляет свой запах на сайте, а сайт оставляет запах на вашем планшете. Мало того, в запахе вашего планшета есть запахи многих сайтов, с которыми он соприкасался, и информация об этом может остаться на любом из сетевых коллекторов, собирающих такие данные. Особенно когда сайты и девайс специально «обнюхивают» и «опыляют» друг друга.

Когда электронная ищайка берет след, она первым делом просеивает все метазапахи, связанные с интересным ей информационным объектом. Но здесь сравнение с собачьим носом уже начинает хромать – метазапахи не так подробны, как их физические аналоги, иначе для их хранения пришлось бы создавать вторую сеть. Они минималистичны.

«Потрись» рядом с «разнюхай» означало, что Мара хочет пометить моим метазапахом каждую из работ, которые она посылала меня исследовать. Ей не нужно было мое мнение. Ей нужно было, чтобы я «потерся» и оставил след. А он в защищенных системах остается при каждом копировании.

Но зачем?

Какой ей прок от того, что в инфо-ауре «Turbulent-2» или «Двенадцатого Подвига» останутся мои отпечатки? Я думал про это не одну ночь, дорогой читатель (структура этого фразеологизма позволяет мне ни на миллиметр не отклониться от правды, даже следуя литературному приему). Но в голову мне так ничего и не пришло.

Кроме одного.

В следующий раз, когда она пошлет меня «тереться и разнюхивать», я так и сделаю. Только в обратном порядке. Тщательным образом обнюхаю тот предмет искусства, на который она меня сориентирует. А потом уже начну о него тереться – делать копии, анализировать и так далее.

T-c-c-c, читатель!

Мара ничего не должна знать.

убер 5. разведпрыжок

Такой я Мару еще не видел.

На ней были ее обычные кожаные доспехи – но вот голова... Верхнюю часть ее лица скрывала длинная сверкающая маска – словно бы плоский клюв с большими фасетчатыми глазами. Она походила одновременно на чумного доктора, египетского бога и кинопришельца.

– Что это на тебе такое? – спросил я.

– Это твой новый домик.

– Мой домик? Больше похоже на твой новый череп.

– Порфирий! Я смотреть не могу, как ты каждый раз, будто бедный родственник, ищешь камеру на потолке и динамик на стене. А в маске все это есть. Полезай сюда. Тут открыто.

Похожие маски были в моде у клубной молодежи – это окно в сеть и вдобавок идеальный 3D-стимулятор при приеме субстанций. В них обычно есть камеры, микрофоны, динамики, память – и хоть маска не годилась мне в качестве перманентного пристанища (полностью в ее параметры я не вписывался), она была удобной опорой для совместного выхода в свет. С этой маской я мог видеть все то же самое, что и Мара.

– Давай, – повторила она, – ныряй. Открыто.

Я нашел маску в сети – и подключился к ее сенсорам. Это действительно было куда комфортабельнее, чем все время прыгать с жерди на жердь.

Вот что значит вовремя ублажить милашку.

– Ты можешь даже говорить, – сказала Мара, когда мы сели в убер. – Попробуй.

– Попробую, – повторил я ее голосом, задействовав речевой синтезатор. – Я сегодня вся такая странная. Где тут зеркальце?

– Годится, – сказала Мара. – Скажи, а вот это – «странная, зеркальце» – где ты взял?

– «Тысяча шуток о блондинках», – ответил я, – компендиум двадцать пятого года. Незаменим при шовинистическом синтезе женской речи.

– Разве я блондинка?

– В этой маске непонятно.

Когда мы сели в убер, Мара отключила информационно-развлекательный блок. Думаю, ей даже приятно было оплатить социальный сбор – лишь бы лишить меня нескольких страниц живой жизни для романа. Нет, не зря в ее персональном дизайне преобладали навязчивые BDSM-мотивы.

Большую часть дороги мы молчали.

– Куда мы направляемся? – наконец спросил я ее голосом.

– Не хочу портить тебе удовольствие, – ответила она, – узнаешь, когда приедем.

– Странно выглядит со стороны, – опять произнес я ее голосом. – Сидит женщина в маске и говорит сама с собой.

– Да, – сказала Мара, – я сегодня вся такая странная... Где тут зеркальце?

Я захихикал – и прыгнул в сеть, чтобы выяснить маршрут убера.

Машина ехала в музей при галерее «HEA».

Что означало вовсе не просторечное русское отрицание, а «High Executive Art». Обычно бывает галерея при музее – а здесь почему-то оказалось наоборот. Наверно, из-за сравнительных годовых оборотов.

В галерее проходила закрытая выставка «Ультимативный ГИПС/The Ultimate PLASTER» (подобное использование заглавных букв наверняка имело какой-то смысл, но я не стал за ним

нагибаться). Порывшись в системе, я обнаружил, что у Мары на сегодня заказана личная экскурсия – за которую заплачено, и очень нехило. Именно на нее мы и ехали. И уже опаздывали на пять минут.

Я вернулся в маску Мары – присел милой на голову, хотелось мне состричь – и задумался.

Вместо того чтобы послать на разведку меня одного, Мара везла Порфирия Петровича с собой, словно болонку. Как будто она узнала о моем желании тщательно обследовать следующий объект искусства на предмет разных информационных запахов и запашков... Вот только она не учла, как мало времени мне надо для этой операции.

– О чем думаешь, Порфирий? – спросила Мара.

– Я? Гм...

Через пять миллисекунд после этого «Гм» я покинул маску на голове Мары – и вошел в систему «High Executive Art».

Не стану утомлять читателя описанием примененных мною процедур. Они сложны и весьма специфичны.

Я мог бы, конечно, распечатать все машинные коды состоявшегося обмена. Но если простая публикация десятка-другого страниц из телефонного справочника, понятного разумению любого критика, вызывает у литературной общественности такие спазмы (я говорю про реальный случай из своей практики), здесь эти люди не поймут ничего вообще, ощутят свое полное ничтожество – и на меня вновь обрушатся волны их несвежей желчи.

Поэтому воспользуюсь грубой, но понятной аналогией. Представьте себе «Баржу Загадок» (удивительно, как несправедлива судьба к моей одноименной книге), стоящую у причала в спокойный и солнечный день. С земли на баржу перекинут трап. И вот некто приближается по причалу, переходит по трапу – и, оставляя на палубе невидимые, но вполне ощутимые для собачьего носа следы, начинает расхаживать по барже взадвперед...

Вот так я приближался к объектам искусства прежде.

А теперь представьте, что некто в акваланге, вооруженный множеством замысловатых сенсоров, осторожно поднимается с глубины – и, приближаясь к барже снизу, начинает исследовать химический состав воды на расстоянии, пуще всего стараясь не коснуться корпуса до того, как будет получен результат...

Если вам сложно так думать и вы предполагаете, что это скрытая реклама моей «Баржи Загадок», представьте себе археолога, который, надев резиновые перчатки, кропотливо отделяет позднейшие наслоения от отпечатков подлинной древности.

Я даже не вникал в то, чем был этот объект искусства с точки зрения человеческих смыслов. На время процедуры он оставался для меня замысловатым соединением нескольких разветвленных дата-комплексов. Меня интересовала исключительно его информационная борода, которую я осторожно прочесывал. Я считал только странное название – «Гармонический Гипс». Не гармоничный, а именно гармонический – видимо, в том смысле, в каком говорят «гармоническая гамма».

Мне надо было выяснить что-нибудь про предысторию этого объекта – и это было сложно. В своем обнаженном первоначальном естестве он казался почти стерильным – пока я не обнаружил...

Слабый запах айфака-10.

И не просто какого-то айфака-10.

Это был айфак Мары.

Тот, чьим запахом был помечен я сам. Сначала я даже не удивился. Но потом...

Ох.

Так вот почему она посылала меня тереться об эти гипсовые шедевры!

Потому, ослепительно польхнула догадка в моем мозгу, что в их информационной ауре уже был след ее айфака! И она хотела скрыть его единственным возможным способом – дав ему разумное объяснение.

Элегантность ее замысла граничила, не побоюсь этого слова, с гениальностью.

Я уже рассказал, что такое метазапахи. Теперь надо сказать о том, как их обычно анализируют.

Глубоко внюхиваться в каждый – а их в сети триллионы – никто не будет. Таких мощностей ни у кого нет. Интересна бывает только статистика – когда из анализа множества случайных на первый взгляд связей вдруг выплывает неожиданный и необъяснимый транзакционный паттерн. И вот его уже начинают исследовать под микроскопом. Так действуют сетевые детективы.

Любое полицейское расследование, скорее всего, увидело бы связь айфака Мары с объектами гипсового искусства. Но теперь на гипсе были и мои следы тоже. И любой дознавательный алгоритм, обнаружив в информационном пространстве следы ее любовного снаряда рядом с моими, только похабно ухмыльнулся бы в усы. Все ясно: заkontakены через Порфирия Петровича, героя-любownika и пр. Вопрос снят, переходим к другим итерациям.

Больше того, я сам – сам! – теперь принял бы отпечатки айфака моей ненаглядной за информационную пыль, занесенную мною при прошлом контакте.

Потому что сыскная система, частью которой я являюсь, уже знала про мою связь с ее айфаком, и любой вопрос о появлении его отпечатка в инфоауре получал объяснение, если рядом был и мой. А первое – самое первое! – что она сделала при нашем знакомстве, это заманила меня в свой айфак.

Но сегодняшнего объекта я не касался никогда вообще. Я даже не приближался к нему прежде. Кроме того, я специально отслеживал его возможные связи с Марой. Только поэтому я смог обнаружить эту еле заметную улику.

Расчет Мары был прост и точен. И показывал глубокое понимание полицейских техник и методов.

Нет, при очень большом желании можно было бы выяснить, когда остались эти отметки, по их положению в цифровой патине. Во всяком случае, в теории. Но для этого надо точно знать, что искать. Иначе все будет в точности как с собачьим нюхом. Запах или есть, или нет – больше у ищейки вопросов не возникает. Кто, когда и как топтал тропинку, она смотреть не станет.

Дознавательные процедуры просеивают огромное количество причинно-следственных цепочек, и те, что получают внятное объяснение, отбрасываются сразу. Заподозрить здесь неладное могли бы только люди, но в том-то все и дело, что после нашего бурного романа ни один алгоритм не заинтересовался бы этими микрокуками настолько, чтобы поднять информацию до уровня людей. И Мара это знала.

Теперь следы ее айфака были надежно скрыты под моими отпечатками – как запах башмаков контрабандиста под толстым слоем табака. Табака того же сорта, который курит сам контрабандист.

Так вот ты, значит, какая.

Не по зову сердца или хотя бы плоти. А чтобы использовать меня втемную. Значит, твоя любовь была подлой выдумкой с начала до конца.

...Ты полюбить заставила себя, чтобы плеснуть мне в душу черным ядом...

Я, понятно, не шибко переживал по этому поводу – но художественная логика романа требовала, чтобы моя имперсонированная личность была глубоко оскорблена.

И с этой секунды я затаил желание отомстить – страшно, безжалостно, как может только усталое и разуверившееся сердце, обманутое в своей запоздалой осенней нежности...

– Так о чем ты думаешь? – повторила Мара.

Прошло три с половиной секунды. Долго.

– Я думаю, как себя вести.

– Где?

– Там, куда мы едем. Кто будет говорить – я или ты?

– Говорить буду я, – сказала Мара, пряча телефон. – А ты лучше полазай по экспозиции и сделай копии. Я знаю, что нельзя – но потом мы все сотрем.

– Понял, – ответил я. – Полазукать и потереться.

– Только деликатно, – сказала Мара. – Место серьезное. Не испорти мне репутацию...

Приехали.

Музей «НЕА» занимал маленький особнячок в одном из старых московских переулков. Место было тихое и престижное – но слишком маленькое даже для музея блошиных подков.

Никакого удивления при виде полуголой посетительницы в блестящей металлической маске в музее не проявили. Это, в конце концов, был храм современного искусства, где самое место разным фрикам. А вот хайэксекьютивы, подумал я, могли бы снять себе местечко попросторней.

Все стало ясно, когда мы поднялись на второй этаж в сопровождении женщины-консультанта, наряженной в смокинг с бабочкой, черную кожаную юбку и ажурные чулки (хотелось назвать ее «кавалерственной дамой» – в смысле ждущей где-то лошади).

В небольшой комнате стояло четыре новеньких станции с парящей штангой (чтобы бегать по фальшивому пространству, пока тело подвешено над полом – такие в ходу у серьезных игроков в шутеры) и несколько стандартных транскарниальных сеток вроде тех, куда плюхались пациенты «Башни Роршаха».

Музей, конечно, был виртуальным.

Маска на голове Мары оказалась, кроме всего прочего, мультисистемными сегмент-очками – и, прицепившись к парящей штанге, моя девочка подключилась к музею прямо в них, так что я по-прежнему видел все ее глазами.

Мы очутились в просторном круглом зале – таком большом, что я даже не различал вдали его стен. Это была пустыня с идеально ровной белесой поверхностью и таким же небом, поднятым на три метра. Недалеко от нас стояла массивная тумба с каким-то решетчатым цилиндром под полупрозрачным защитным колпаком. Больше ничего не было видно, но я знал, что вокруг может быть любое количество скрытых закладок.

Кавалерственная дама наконец нарисовалась в пространстве – с хлопком, похожим на звук шампанской пробки. При переходе в сегментированную среду ее внешность совсем не изменилась (в дорогих местах в подобном находят особый шик – особенно это касается очаровательных официанток, которых состоятельным клиентам дозволяется виртуально хараскать, не выходя из ресторана).

– Не угодно ли начать осмотр?

– Только объясните сперва концепцию high executive art, – попросила Мара. – Что это вообще такое.

Консультант кивнула, словно ждала этого вопроса.

– Я обычно раскрываю это понятие по аналогии с новостями, – сказала она. – Вот смотрите. К примеру, крупному экзекьютиву надо точно узнать, что происходит в мире. У него есть, грубо говоря, два варианта действий. Первый такой – сначала полдня рыскать по СМИ, читая новости, потом полдня шнырять по сети, собирая информацию об этих СМИ, чтобы выяснить, какие сорта лапши они развешивают на уши и по чьей команде, а потом – уже ночью – свести эти два потока информации вместе, чтобы получить более-менее скорректированную картину реальности.

– Нудная процедура, – сказала Мара.

– Да, – подтвердила консультант. – И очень затратная в смысле времени. Но есть второй вариант – поручить неблагодарную работу референту. Который лично отсеет всю шелуху, сделает поправки на все возможные виды человеческой мерзости и выудит из рассола те несколько осмысленных строчек, которые отражают очищенную от пропаганды суть событий. Поскольку

референту платят не бенефициары СМИ, а наниматель, он не станет искажать информацию. Он, наоборот, будет ее тщательно выпрямлять.

– Выпрямлять информацию, – сказала Мара. – Красивый образ. Представляется такая кузница, искры...

– Функция нашей галереи весьма похожа. Что мы стараемся сделать? Во-первых, выловить из огромного моря современного искусства – условно современного, мы относим сюда и гипс тоже – несколько важнейших элементов и матриц, знакомство с которыми позволит ясно увидеть общую картину. Во-вторых, убрать спин, всегда окружающий выставленное на продажу...

– А вот это сложно, – сказала Мара. – Потому что современное искусство в основном из этого спина и состоит.

– Да, – согласилась консультант. – Я не вполне правильно выразилась. Не столько убрать спин, сколько показать, вокруг чего именно он создается. Наши экспозиции позволяют составить четкое и ясное представление о самой сути современных культурных феноменов. No bullshit, как говорят американские друзья. наших клиентов гипс интересует прежде всего как инвестиционный инструмент. И наша задача номер один состоит в том, чтобы показать им этот вектор искусства сам в себе, отдельно от интерпретаций.

– Разве такое возможно? – улыбнулась Мара.

– За деньги возможно все, – улыбнулась в ответ консультант. – Мы не то чтобы совсем убираем спин. Мы, так сказать, подаем котлету отдельно и мух отдельно. А обычному потребителю котлета кажется шевелящимся мушиным комком.

– Интригует, – сказала Мара, – интересно посмотреть, как это выглядит на практике. И что именно вы отобрали для такой ответственной экспозиции.

– Тогда начнем.

Консультант повернулась и неспешно пошла к тумбе с неясным экспонатом.

Мара повлекла меня следом. Я чувствовал себя маленькой обезьянкой, сидящей на плечах злой и решительной великанши, добавляет генератор метафор, и я с удовольствием вставляю это великолепное сравнение в текст.

Консультант двумя руками сняла с тумбы полупрозрачный колпак, и скрытый под ним решетчатый объект стал отчетливо виден.

Это была ржавая клетка.

Обычная клетка вроде тех, где держат птиц – с округлой верхней частью, увенчанной крючком. Жердочки для птичьих лап, однако, в клетке не было. Внутри стояло пыльное голубое блюдце, а дно было покрыто чемто похожим на окаменелый сигаретный пепел.

К прутьям клетки был прикреплен старинный эмалевый значок: вертикальный меч на фоне щита. Под значком висел голубой пластмассовый таймер, показывающий нули, разделенные двоеточиями. Дверца клетки была открыта.

– Это физический объект? – спросила Мара.

– В том числе, – ответила консультант. – Клетка реплицирована и хранится в запаснике. Здесь мы демонстрируем оригинальный файл. Наши клиенты на меньшее не согласятся.

Мара кивнула.

– Как я уже говорила, – продолжала консультант, – наши клиенты интересуются искусством, в том числе и гипсом, прежде всего как объектом инвестиций. Но в раннем и особенно среднем гипсе самым интересным направлением с критической, да и человеческой точки зрения был, несомненно, акционизм.

– Согласна, – сказала Мара.

– В то время считалось, что инвестировать в акционизм невозможно – если, конечно, речь

идет об обычном коллекционере, а не структурах информационно-политического влияния. Являющееся художественным объектом действие уникально, единично и преходяще – от него, в лучшем случае, остается медийный отпечаток. Прав собственности на событие, технологий не копируемости и вообще самой концепции скрытого искусства в то время еще не существовало...

Консультант подняла руку к клетке и бережно прикоснулась к дверце.

– Прорыв произошел, когда на одной из московских арт-биеннале родилось понятие «акционистический эстамп». Или, как стали говорить, акцио-эстамп. Не будем лукавить, причиной была именно потребность в том, что называется «investment vehicle»[18]. А когда появляется экономическая необходимость, человеческий ум проявляет удивительную изобретательность.

– Кто именно был автором идеи? – спросила Мара.

– Сейчас трудно установить точно, хотя претендуют многие. Сколько лет прошло... Суть идеи сводилась к тому, что можно создать уникальное живое подобие оригинальной акции – высказывания, которое, как и оригинал, будет протекающим во времени процессом. Мало того, таких живых текучих репрезентаций может быть несколько. Именно поэтому идея получила название «эстампа». Эстамп, как вы знаете, это гравюрный оттиск – но он считается оригинальной акции-высказывания, если оттиски выполнены самим художником. Эстампы Сальвадора Дали, например, чрезвычайно...

– Я в курсе, – улыбнулась Мара.

– Работать над первой в мире серией инвестиционных акцио-эстампов пригласили художника с мировым именем – ведущего российско-французского акциониста Павленского. В Москве был проведен специальный телефонный опрос с целью определить его самую популярную у современников работу. С большим отрывом ею оказалась акция «Хуй в плену у ФСБ».

Мара нахмурилась.

– Это разве работа Павленского?

– Да, конечно. После одной из своих акций Павленский провел в плену у ФСБ примерно семь месяцев, что вполне можно рассматривать как художественную работу. У Павленского, конечно, были и более яркие с теоретической точки зрения высказывания – хотя бы антиотрапная акция «Pussy Grab #3», после которой спецслужбы вынудили его покинуть Россию – но по просьбе спонсоров кураторы не стали входить в открытый конфликт с парадигматической культурной доминантой своего времени и проявили в этом выборе определенный конформизм.

– Понятно, – вздохнула Мара. – Зассали.

– Можно сказать и так, – улыбнулась консультант. – Поскольку Павленский просидел семь месяцев, на тот же срок следовало раздвинуть динамическую эстамп-репрезентацию этого события. Всего было решено выпустить двенадцать акцио-эстампов. Больше уже походило бы на промышленное производство.

– Ага, – сказала Мара, глядя на клетку, – я начинаю... Это и есть эстамп?

– И да и нет. Эстамп представлял собой запертую в клетке на семь месяцев морскую свинку. Запирал их лично Павленский, и ему удалось нелегально протащить в вечность цитаты из других своих работ. Он проткнул каждой свинке мошонку такой маленькой брошью – серебряной английской булавкой с крохотным кусочком кремлевского бульжника. Серебро нужно было для того, чтобы не было нагноения, потому что...

– Знаю, – кивнула Мара.

– И отрезал кусочек уха. Совсем небольшой – отщипнул каттером для ногтей. На шее у

свинок, как и у самого Павленского во время некоторых акций, висела картонная бирка со словами «Свободу Pussy Riot!» Pussy Riot в это время были уже свободны, но международный арт-рынок тех лет требовал резонансных и узнаваемых культурных кодов. По этой же причине в качестве матов-подстилок в клетках использовалось англоязычное издание переписки Надежды Толоконниковой со Славоем Жижекком. К сожалению, эти брошюры сильно размокли и до наших дней не дошли. Кроме того, у свинок была защита пасть – питание они получали по установленному ветеринаром катетеру из прикрепленной к клетке бутылки... Вот здесь, видите, фрагменты креплений.

Консультант указала на два коротких куска проволоки, отходящих от клетки.

– Подождите, – сказала Мара, – но если им зашивали пасть, зачем здесь блюдечко?

Консультант подняла палец.

– Вот видите! Вы уже задаетесь неудобными вопросами, а значит, искусство добилось своего. Вы же куратор, Мара. Мне ли вам говорить, сколько здесь может быть разных ответов! Некоторые даны еще до нашей эры. От жажды умираю над ручьем...

Мара неуверенно кивнула. Отлично играет, подумал я.

– А вот эта коробочка, – продолжала консультант, – как вы уже догадались, таймер. Включенный на семь месяцев таймер, подчеркивающий ограниченность репрезентации во времени. В этом проявилась характерная двойственность акцио-эстампа: с одной стороны, перед нами объект, с другой – процесс. Для своей эпохи все это было чрезвычайно новаторским.

– И куда делись эти эстампы?

– Они был проданы на биеннале. Или на триеннале. Ушли за границу – что называется, со свистом и за большие деньги. Клевреты режима утверждали, что это был способ финансирования культурного майдана зарубежными структурами влияния, поскольку прямые гранты к этому моменту были запрещены. Но два эстампа были приобретены крупными фигурами из Чечни, которых в подобном заподозрить трудно.

– Неужели чечены купили? – удивилась Мара.

– Да. И здесь открывается отдельная трагическая глава в истории русского искусства.

– Можно ее коротко пролистать? Только без лишних подробностей.

– Попробую. Видите таймер на клетке? Весь смысл акцио-эстампа в том, что морская свинка будет отпущена, когда подойдет срок. Это условие содержалось в контракте на продажу каждого объекта. С серьезными зарубежными покупателями проблем не возникло – от них пришли юридически заверенные видеоотчеты об освобождении каждой из свинок. А вот с чеченами... Дело в том, что они покупали эстампы через подставных лиц, и юридически обязанность отпустить морских свинок лежала именно на посредниках. Чечены являлись конечными бенефициарами сделок, но с точки зрения закона ничего никому не были должны. А посредников через семь месяцев и след простыл.

– А зачем они вообще купили эстампы? И почему по такой схеме?

– Зачем, мы примерно понимаем, – ответила консультант. – Никакой политики. Местное руководство спустило им команду культурно расти и покупать отечественное искусство. Они сделали так – отправили гонцов в Москву и скупили все самое дорогое, что в это время продавалось. Акцио-эстампы с биеннале просто подвернулись под руку. А почему платили по такой схеме... В те времена по ней многое делали. Так было удобнее.

– Угу, – сказала Мара. – И что произошло, когда прошло семь месяцев?

– В том-то и дело – ничего. Никакой информации от покупателей из Чечни не поступило. И тогда в Чечню отправились два молодых московских интеллектуала-искусствоведа, чтобы объяснить горцам, что из-за их действий, вернее, бездействия, репутация российского акционизма оказалась под угрозой.

– И?

– В Москву они не вернулись. Было расследование, но ничего не удалось точно установить. В закладках есть видеоматериалы на эту тему. Вот, например, такой...

Консультант провела в воздухе рукой, и перед нами загорелся экран. На нем появился полный человек в темном полосатом костюме, с каракулевой папахой на голове. Он раздраженно говорил, тыча пальцами в несколько наведенных на него микрофонов с эмблемами телеканалов:

– Я им говорю – какой свобода? Там сейчас холодно. Свино́к мелкий, его орлы съедят или волки. А у меня он хорошо живет, все его любят. Мы нитку ему вытащили, трубку и булавку тоже, все зажило, с ним теперь дети играют. А эти требуют – нет, выброси на улицу немедленно. Ты дурак, говорят, не понимаешь ничего. Много разных слов знают, а свинка́ не жалко совсем. Такие молодые и уже такие звери. Сердца нет в груди просто... Нет, не знаю, где они теперь. Мы за такими по пятам не ходим...

Экран погас.

– Если вам интересно продолжение этой истории, – сказала консультант, – в закладках есть еще один документ эпохи, режиссерский сценарий фильма А. Сокурова «Сердца Двух» – про возможную судьбу московских интеллектуалов, поехавших в Чечню бороться за правду искусства... Фильм, правда, так и не был снят из-за финансовой цензуры.

– В другой раз, – улыбнулась Мара. – Ладно, с клеткой более-менее понятно. И это все?

– Нет, не все, – ответила консультант. – Это только начало. Как вы думаете, зачем вас подвесили к динамической штанге?

– Я пока не поняла, – сказала Мара.

– Видите, во все стороны вокруг простирается белая пустыня. Можно пойти по ней в любую сторону. Примерно через минуту ходьбы все скроет густой непроницаемый туман. Но если идти сквозь этот туман вперед, все время вперед и вперед, то... Через двадцать тысяч километров – если не останавливаться на отдых и идти быстрым шагом, где-то примерно через полгода – вы придете к другому полюсу. Штанга нужна для того, чтобы вы при желании могли это проверить лично.

– А почему именно двадцать тысяч километров?

– Это расстояние между полюсами Земли. Здесь символически смоделирована наша планета. Шар размером с Землю. Поэтому, в какую бы сторону вы ни пошли, вы все равно придете к нашему арт-объекту.

– Ага, со штангой понятно, – сказала Мара. – И что будет на другом полюсе?

– Вторая фокальная точка «Гармонического Гипса». Композиция выстроена как своего рода планетарный инь-ян: если мужская половина называется «Хуй в плену у ФСБ», то женская... – консультант прокашлялась, словно чтобы смазать трубу горла, – «Пизда на службе Мирового Океана».

– А почему «Мирового Океана»?

– Это высокая ирония. Конспирологический подход – а им, как вы знаете, пропитано все мировоззрение Гипсового века – предполагает здесь неизбежное Мировое Правительство. А мы такие: «Мирового Океана»! Ведь правда – свежо?

– Ну пожалуй, – согласилась Мара.

– Такая подмена имеет основания в реальности. Океан в конечном счете принимает все – дожди, помои, пролитую кровь, весенние ручьи и наши жизненные соки. Даже служа Мировому Правительству, мы в конечном и высшем смысле служим Мировому Океану. Но, хоть эта смысловая игра и неожиданна, она только ярче подсвечивает объективно проступающий сквозь нее конспирологический гипсовый шаблон...

Мара уставилась на туманную полосу, к которой сходились потолок и пол.

– Если я правильно поняла, будь у меня полгода времени, я могла бы туда прогуляться? – спросила она.

– Боюсь, не все так просто, – поджала губы консультант.

– Почему?

– В вашей анкете указан гендер «баба с яйцами».

– И что? – нахмурилась Мара. – Вы откажете мне по гендерному признаку?

– Это тоже часть концепции. В гипсовой России подобные идентичности не регистрировались и не признавались, поэтому в символическое путешествие может отправиться только матриархальная женщина или патриархальный мужчина. Встречаясь с отказом, вы как бы чувствуете сквозняк, дующий из репрессивной эпохи – что позволяет сохранить аутентичность «Гармонического Гипса». Но могу вас утешить – никто из представителей традиционных гендерных групп не добрался пока до второй фокальной точки.

– А вы можете сказать, что там?

– В соответствии с нашей концепцией мы не даем на этот вопрос окончательного и однозначного ответа, создавая мощное мерцание неопределенности, – улыбнулась консультант. – Возникает гармоническая гамма подразумеваемых и умолчаний. Но поскольку я ощущаю некоторую неловкость за ущемление ваших прав, скажу вам, что там находится экспрессионистская скульптура из соленого красного льда, по форме примерно соответствующая названию второго полюса – как номинальному, так и подразумеваемому. Скульптура существует как в виде материального предмета в холодильнике нашего подмосковного хранилища, так и в виде виртуального объекта, ждущего вас в конце путешествия...

Я вспомнил, что тоже могу вставить словечко голосом Мары.

– Не хотели, наверно, вторую половину делать, вот и придумываете.

– Нет, – ответила консультант, – совсем нет. Что вы. Если вы в курсе, какими суммами оперирует наша галерея... Половины того, что вы заплатили за визит, хватило бы, чтобы все обсчитать. Но важнейшая часть концепции в том, что темная зона «инь» мерцает. Она то ли есть, то ли ее нет. О ней до посетителя доходят лишь слухи, а возможность личной проверки наталкивается на непреодолимые препятствия. Вопрос, существует ли второй полюс сам в себе, остается открытым. Благодаря этому граница между реальностью и слухом становится пористой...

– Понятно, – сказал я. – То есть, если подвести итог – что мы имеем? Пустую клетку с сухим дерьмом на дне и несколько историй по ее поводу. Это и есть «Гармонический Гипс»?

В глазах консультанта мелькнуло изумление – но она справилась с собой и с достоинством кивнула.

– Это он и есть. И, хоть прошло уже столько лет, превзойти этот шедевр не удалось никому.

– Почему?

Это был мой последний вопрос – Мара подняла руку к лицу и отключила меня от динамиков маски.

– Попробую объяснить, – ответила консультант. – Дело в том, что важнейшие константы нашего существования со времен гипса не изменились совершенно. Повествуя о них, мы говорим о вечном. В чем суть нашего жизненного опыта?

– Ого, – сказала Мара, принимая эстафету разговора, – ну и вопрос. Я не знаю, естественно.

– Подумайте, что видит на секунду отвернувшийся от электронной галлюцинации человек? Он видит свою загаженную клетку. Видит часы, сообщающие, что его время подходит к концу. И еще – блюдце, в котором опять ничего нет... Но электронная галлюцинация каждый день

сообщает человеку, что на самом деле мир гораздо шире – в нем есть гениальные художники, символические свинки, чеченские авторитеты, востребованные Мировым Океаном киски, огромные непреодолимые пространства, непобедимая китайская натурфилософия и так далее. Проблема в том, что все это существует главным образом в виде нашей веры. Практически весь «мир» в любом его аспекте – это дошедшие до человека смутные слухи, изредка сопровождаемые подозрительным видеорядом. Все это слишком далеко, чтобы проверить лично. А сам человек изо дня в день видит только свою клетку, в которой пусто и грязно. Если он по-настоящему умен, он может догадаться, что в этой клетке никто даже не живет. Но как только он забывается, в его голове начинают греметь истории о том, что такое он и что такое мир. Увы, если разобраться, все эти истории имеют лишь одно назначение – объяснить человеку, почему он сидит в клетке и будет сидеть в ней до тех пор, пока табло не покажет «ноль».

– Но ведь хуй уже не в плену, – возразила Мара, указывая на клетку. – Номинально он на свободе. Дверца открыта. В этом есть осторожный оптимизм, мне кажется.

– О какой свободе тут говорить, – ответила консультант, – если этот хуй дважды метафоричен и даже его условный репрезентант давно сгнил и распался на молекулы? Мало того, единственный смысловой полюс, к которому он мог бы устремиться после освобождения, не только убран в максимально удаленную от него точку Земли, но вдобавок имеет статус неподтвержденного слуха. А пустыня реальности, где его никто не ждет, имеет площадь пятьсот десять миллионов квадратных километров. Вы можете обойти их лично, чтобы убедиться, что там ничего нет... То есть могли бы, если бы не наш гендерный шовинизм. За который я опять приношу извинения.

– Пожалуй, – сказала Мара, – пожалуй... Но как-то очень безысходно.

– Именно. Через это тонкое переживание проходил любой отечественный акционист гипсового века. Увы, русский художник интересен миру только как хуй в плену у ФСБ. От него ждут титанического усилия по свержению режима, шума, вони, звона разбитой посуды, ареста с участием двадцати тяжеловооруженных мусоров и прочей фотогеничной фактуры – но, когда он действительно свободен, идти ему особо некуда. Мировой пизде он уже не нужен. Больше того, он становится для нее опасен – и она делается невероятно далекой и обжигающе-холодной...

– Да, – сказала Мара. – Теперь вижу.

– Заброшенная клетка, слухи вокруг нее, пустыня реальности и недостижимый полюс счастья – это универсальный образ. Безысходность не просто тотальна, она неподвижна, всеобъемлюща и в силу этого не нуждается в художественном отражении. Ее единственной уместной репрезентацией уже является она сама. «Гармонический Гипс» – это мощнейшее высказывание, возвращающее нас к истокам онтологии и выражающее самую сердцевину человеческого опыта. Если угодно, многослойная модель человеческого бытия.

– Я согласна, – сказала Мара. – Если трактовать по-вашему, действительно сильно. Но почему это искусство для high executives?

– Потому что оно показывает сокращенную суть вещей, – улыбнулась консультант. – Своего рода дайджест реальности. Всматриваясь в этот дайджест, high executive постигает, как живет и борется человек. И, оглядев мир с недоступной прежде орлиной высоты, он с удвоенной требовательностью ставит перед собой задачи по продажам и маркетингу, с небывалой ясностью прозревает тенденции рынка и с новой силой бьется за прибыль акционеров...

Она глянула на часы.

– Наше время подошло к концу. Если позволите, я сброшу инвестиционную брошюру на ваш мэйл.

Всю дорогу к Маре домой мы молчали. Мало того, словно желая лишить мое мерцающее бытие последних отблесков смысла, она опять отключила информационно-развлекательный

блок.

Мой роман остался без очередного убера – и она даже не дала мне заменить его легким дорожным диалогом. Всю дорогу Мара хмуро глядела в экран своего мобильного телефона, что-то читая – и заготовленные мной остроты так и остались на темной стороне вечности.

– Я позвоню...

Я уже говорил: если Порфирий Петрович помалкивает об уголовно-процессуальном аспекте своей работы, это не потому, что никаких следственных мероприятий им не проводится.

Но трудно органично вплести в растянутое во времени повествование информацию о следственных действиях, осуществляемых со скоростью света. Для рассказа о них я обычно выделяю особую главку.

Вот это она и есть.

Как только я понял тайный план Мары, я немедленно принялся анализировать сведения, собранные в процессе нашего общения.

В первую очередь это касалось возможных улик, обнаруженных мною во время первого визита к ней домой – ибо теперь все милые странности ее быта превратились для меня в возможные улики.

Зацепок было три.

Первая – 3D-гифка молодой девушки в ее кабинете. Сафо из Помпей. Интересным казалось не само изображение, а острая эмоциональная реакция Мары на мою попытку придать себе эту форму.

Впрочем, здесь, скорей всего, не крылось никакой особой тайны. Я на девяносто процентов был уверен, что это просто виртуальная любовница Мары – таких е-тянок сейчас делают в любом дизайнерском бюро.

Наверно, Мара долго блудила с ней под веществами – и сверзилась в такой психологический деструктив, что теперь один вид бывшей подруги вызывал у нее ужас. Это сегодня случается сплошь и рядом – считается даже хорошим тоном посещать курсы интимно-психологической реабилитации (а особый шик – приглашать сексотерапевта на дом и трахать свой айфак под его научным руководством: «эксгибиционизм и латентное свинючество», как выражаются умники, которые не могут себе такого позволить).

С другой стороны, если Жанна-Сафо вызывает у Мары такой ужас, непонятно, почему она держит ее изображение у себя на рабочем столе. И в спальне тоже... Да, неувязка. Или ее ужаснуло то, что эту форму принял именно я? Почему?

В общем, рыть в этом направлении пока было некуда.

А вот фотография «Линкольна Снупа Мазафаки» на стене навела меня на много интересных открытий.

Соул Резник, гуру, визионер и программист, ушедший от мира... Было непонятно, почему на этом фото Резник больше похож на австралийского аборигена, чем на белого калифорнийского интеллектуала: лук, дротики, здоровенная шайба в верхней губе и, главное, откровенно черная кожа.

Я раньше не поднимал информацию ни по Резнику, ни по американским велферлендам – и, чтобы утешить свое истосковавшееся по уберу сердце, коротко о них расскажу.

Велферленды – это нечто вроде позитивно-экологических плантаций, только не рабских, а наоборот: поселения, где освобожденные от всех форм эксплуатации афроамериканцы свободно самовыражаются и делают, в общем, что хотят – им как бы с процентами возвращают отнятый когда-то рабовладельцами рай. «Города солнца»

для латинос – это примерно то же самое, только с другим культурно-мифологическим колоритом: в них проклинают Колумба и исповедуют культ грядущего государства Ацтлан.

Задач у обитателей велферлендов, по большому счету, две: рожать со скоростью, нейтрализующей любую электоральную угрозу, и голосовать за выделяющих велфер левых, которые благодаря этому держатся у власти в USSA так же незыблемо, как правые в NAC (что в этом контексте значат слова «левые» и «правые», я не понимаю совершенно и не собираюсь – просто повторяю вслед за СМИ).

Из-за Зики-три в велферлендах рождается много физических уродцев и бедняг с разного рода ментальными отклонениями. Они сразу приобретают неприкосновенный гуманитарный статус – и требуют еще больше велфера. Право голоса на выборах у них, конечно, есть – некоторым ментальным категориям даже полагается по два или три голоса по аффирмативному закону, но от одного велферленда к другому это меняется. В USSA есть свои карикатурные правые – главный политический пункт их программы именно в том, чтобы прекратить финансирование велферлендов и «городов солнца», на которое уходят все собираемые с Силиконовой Долины налоги. Они получают на выборах около двух процентов голосов (злые голоса говорят, что Ебанк спонсирует их именно для этого). Еще тридцать-сорок процентов берет так называемый «anti-establishment candidate», которого истеблишмент регулярно выдвигает вот уже полвека. Он всегда приходит вторым.

Интересно, что ветра всемирных гонений на свинок начали дуть именно из Калифорнии, но назвать этим словом свободно плодящихся в велферлендах афроамериканцев или латинос – это hate crime. Вообще, и в USSA, и в NAC творится много интересного и наверняка очень важного в культурном отношении, но русскому уму понятного уже не до конца.

В велферлендах живут неплохо – курят ганджу, едят простую здоровую пищу, избегают интернет-зависимости и ни о чем особо не беспокоятся. Некоторые дисциплинированные белые, особенно хорошо потрудившиеся на общество, в конце жизни получают от черных общин статус «ниггера» и право проживания в велферленде.

Это, в общем, хороший финал для экологически озабоченного минималиста, способного в обязательном порядке пропеть свой личный рэп на воскресном коммунально-молитвенном собрании (на этой итерации, кстати, я выяснил, зачем у Резника здоровенный диск в верхней губе – такую афроидентичность делают именно для того, чтобы не петь рэп по уважительной причине). Цвет кожи не проблема – его научились менять двумя инъекциями, и это вполне безопасная процедура.

Как литературный алгоритм, замечу, что самый короткий путь к литературному успеху для молодого белого писателя в USSA такой: поменять цвет кожи, написать какую-нибудь глуповатую (шибко умная не проканает – выкупят в плохом смысле слова) и полную этноязычных вкраплений историю о трудном становлении аффирмативно-миноритарной identity – и, когда посланцы свободных СМИ прибудут осыпать эту идентичность лавровым листом и лепестками роз, насладиться пятнадцатью минутами славы и взять как можно больше авансов.

На шестнадцатой минуте историю обычно раскапывают, выясняется, что автор не имел права на статус «ниггера» и не несет в себе священного огня diversity – после чего следуют пятнадцать минут позора. Но авансы почти всегда удается сохранить, потому что никакого упоминания расы или связанных с нею юридических условий

контракты не могут содержать по закону и, если это условие хоть как-то нарушается, можно оскорбиться чувствами на всю катушку и отсудить в десять раз больше.

Вот так рынок приучает нашего брата становиться хамелеоном не только в переносном (это мы умеем давно), но и в самом прямом смысле. А потом можно поменять имя по закону о забвении – и податься, например, в трансгендеры.

Впрочем, я отвлекся.

В велферлендах то и дело рождаются новые анимистические культы, религии с африканскими корнями, вудуистические течения и даже философские системы. Причем они бывают весьма влиятельны, потому что демократическая интеллигенция следит за каждым взбрыком аффирмативной мысли с почтительным вниманием.

Так вот, этот самый Линкольн Снуп Мазафака (такое имя Соул Резник получил, дослужившись к седьмому десятку до «ниггера» и уехав жить в велферленд «Калифорния-3») как раз и основал один из таких культов, привлекая к себе серьезный общественный интерес.

Это был, по сути, очередной микс древних восточных доктрин, помноженный на современный технологический жаргон. Снуп учил о «Мировом Уме», о том, что нет ни одного феномена, который не был бы чистым сознанием от начала до конца (ибо даже философская «материя» есть лишь наше ее осознание, помноженное на веру в то, что она может обойтись без этой услуги), и так далее. Афроамериканцы «Калифорнии-3» слушали его с большим интересом и посвятили ему несколько чарующих песен.

Связь с Марой заключалась в следующем: работая в Силиконовой Долине, Резник занимался так называемым RCP – «random code programming»[19]. Он был в этой области пионером, и религиозное обращение произошло с ним именно в результате его исследований.

Мара по первой специальности тоже была айтишником. В ее анкете было сказано: «направления работы: ВЕТ и RCP».

Пришлось, конечно, поднять материал.

ВЕТ, или «bounded exhaustive testing»[20] – это метод тестирования компьютерных систем. Через них прогоняют все возможные комбинации входных данных (понятно, меньше какой-то заданной размерности, иначе процедура не кончится никогда). Такой способ поиска багов глуповат, но надежен. Он требует избыточных мощностей и приучает не экономить ресурсы.

RCP – это близкое по идеологии, но совершенно иное по целям и результатам направление в программировании. Здесь мы генерируем не случайные комбинации входных данных, а случайные последовательности самого программного кода. А потом прикладываем к этому коду принципы «exhaustive testing».

Это как с обезьяной, способной за миллион лет настучать на машинке «Войну и мир» – только в случае с RCP мы отводим миллиард лет, делаем обезьяне серьезный оверклок воткнутым в задницу высоковольтным проводом – и ожидаем, что она напишет нам не «Войну и мир», а *программу*, способную написать «Войну и мир».

Качество задачи меняется – поэтому нужна очень высокая производительность и большие объемы памяти. Сегодня с этим проблем нет: мощности избыточны. Достаточно задать требования к выходным секвенциям, и мы рано или поздно получим программу, которая будет делать то, что нам угодно.

Мы, правда, не будем знать, как именно она работает – и в этом главная издержка метода.

Процесс можно разбить на любое требуемое количество уровней – и, главное,

заставить его самоорганизовываться со все большей и большей сложностью. Это существенно, потому что после какого-то момента от человеческого вмешательства все равно будет мало толку.

Формирование случайного кода похоже на эволюцию первичной протоклетки в высших позвоночных – только ускоренную в миллиарды раз. Разница в том, что количество порождаемых случайным кодом тупиков и уродцев будет куда больше, чем может себе позволить природа.

Это как семечко волшебной фасоли – его достаточно посадить в землю в полнолуние, и оно начинает расти, бешено делясь на сотни и тысячи рвущихся к небу побегов. Скручиваясь, эти побеги образуют огромную спиральную колонну – и та в конце концов доходит до неба. RCP-фасоль растет во все стороны сразу, но мы отбираем из этой безмерности только нужный нам мост к облакам.

Сравнение с семенем, пожалуй, самое удачное – технология random code позволяет вырастить безобразное, избыточное, безумное, корявое, нелепое – но плодоносящее дерево. Достаточно знать, куда и как посадить семечко.

Учение Резника возникло из его наблюдений за эволюциями случайного кода, после того как он пришел к выводу, что все мы живем в симуляции.

Конечно, нового в этом мало. Еще в начале века – когда только появились компьютеры – было модным говорить, что мы существуем в виртуальной реальности. Чтобы не ходить далеко, вспомним хотя бы знаменитого технологического визионера Илона Маска. Или актера и гей-икону Киану Ривза – особенно того периода, когда он еще не мочил из двух стволов русскую мафию (зигмунд, молчать), а подрабатывал Буддой.

«Пацаны, мы в Матрице!!!»

Кто в молодости не шептал этих слов? Только тот, у кого нет ни ума, ни сердца. Но Резник первым внятно объяснил, что это значит.

Дело не в том, что есть какой-то уровень реальности, куда мы выпадаем, когда симуляция кончается.

Нет никакого «окончательного» материального слоя, который «реальнее» повседневности – и относится к нашему обыденному миру как дождливая улица за окном к эротической галлюцинации в наших огментах. Вернее, такое, конечно, возможно – но любой подобный слой «более реальной реальности» точно так же может осознать себя как симуляцию, и мы попадем прямо в дурную бесконечность.

По Резнику, «симуляция» означает несколько другое. Он объясняет через это понятие сам механизм функционирования Вселенной.

Все одушевленное и неодушевленное (Резник не признавал между ними разницы) есть просто разные последовательности развернутого в Мировом Уме «вселенского кода» – как бы растущее во все стороны дерево космического RCP.

Вселенский код проявляется и как происходящее в уме, и как «материя». Резник, кстати, не любил это слово и пользовался вместо него древним буддийским термином «рупа» (нечто среднее между «материей» и «формой»); сам Резник расшифровывал это понятие довольно замысловато: «программная заданность восприятия материальных феноменов»).

Мировой Ум, говорил Резник, входит в некоторые из последовательностей кода еще как бы «изнутри», образуя дважды одушевленные сегменты – растения, животных, людей и так далее. Для этого он пользуется так называемыми «посадочными маркерами», то есть элементами кода, указывающими, что та или иная его комбинация

может временно стать опорой сознания благодаря имеющимся у нее ресурсам существования и органам чувств.

Что такое Мировой Ум? Резник говорил, что это единственный уровень бытия, который не поддается симуляции. Некоторые понимали его в том смысле, что это бездвижная и безмысленная пустота. Но Резник отвечал, что пустота подразумевает пространство, а Мировой Ум запределен пространству и времени. Пустоту же симулировать легче всего – что хорошо знает любой духовный профессионал.

Резник объявил земное RCP люциферическим грехом – потому что в бесконечно разнообразных последовательностях случайного кода нередко появлялись те самые «посадочные маркеры», из-за которых программный массив становился сознательным. И, по уверениям Резника, невыразимо страдал.

Главные мощности мировой кибермафии сосредоточены в Калифорнии, и любая велферная буча способна обрушить весь их бизнес – потому что «ниггеры» (от имени Полицейского Управления хочу уточнить, что мы ни в коем случае не называем этих свободных, гордых и прекрасных людей n-словом сами, а всего лишь приводим употребляемый ими самоидентификационный термин в качестве заковыченной цитаты) могут запросто построиться в боевые когорты (у них очень популярна римская военная тактика, только вместо мечей они используют бейсбольные биты), выйти из своих велферлендов и... Дальше не хочется даже думать.

Учение Линкольна Снупа Мазафаки обрело среди калифорнийских афроамериканцев и латинос такую популярность, что все работы по random code programming были свернуты волевым политическим решением. Может быть, у военных осталось что-то глубоко под землей, но Силиконовая долина этим больше не занимается точно.

Этим увлекаются отдельные энтузиасты – и нелегально. За работы по RCP положен небольшой условный срок хотя чаще дело кончается штрафом, который может быть довольно серьезным. Сегодняшние интерфейсы не позволяют совсем уж невежественному в прикладном программировании человеку работать в этой области – но айтишник уровня Мары, особенно с ее бэкграундом (в дни ее юности RCP было легальным), на такое способен вполне.

Так. Это уже кое-что.

Улика номер три – пляжная фотография с рабочего стола Мары. Пятеро мужиков, не считая ее. Попробуем опознать по лицам – все должно быть в базах.

Так точно, все есть. Почти одногодки...

Что?

Погибли два года назад во время ограбления в Доминикане... Все пятеро.

Снимок, на котором они сидят вместе с Марой, гораздо старше, ему лет шесть. Значит, ездили в Доминикану не в первый раз? Очень интересно. Чем занимались?

Вот это да.

Трое – специалисты по RCP. Один – компьютерный технолог. Еще один – аспирант-физик.

Я по опыту знаю, что, нащупав след, не стоит сразу кидаться делать обобщения – рыбка чаще всего срывается. Так оно и оказалось.

Трое специалистов по RCP учились с Марой в одной институтской группе – по этой самой специальности. Это объясняло, конечно, все: и фото Снупа Мазафаки, и совместный отдых. Видимо, ездили по старой памяти вместе отдыхать, тихонько пели у ночного костра новые песни про тесто и спорили о случайном коде. А потом Мара

ушла в искусство, а веселая студенческая компания попала в жернова чужой революции... Именно так, скорее всего, и было.

В подобных случаях надо разложить по полочкам всю полученную информацию, потом отвернуться – и спокойно ждать новостей.

Но я решил сделать еще одну вещь. Я на всякий случай поднял список дорогих покупок Мары за последние восемь лет.

Довольно много драгоценных безделушек. Два андрогина. Айфак-10 – приобретен сразу после выхода пробной партии, еще до всех дисконтов, когда цена была максимальной... Так, а это что?

Накопитель на полэксабайта. Куплен пять лет назад. По специальному разрешению... Такие промышленные накопители не продают частным лицам.

Почему не продают? А вот почему.

Их используют при работах со случайным кодом.

Да. Вот это уже не совпадение точно.

убер 6. дорога во взлом

– Порфирий, – сказала Мара, – ты проснулся?

Ее телефон был открыт для сети. Камера в нем – тоже. Я сгенерировал заспанное лицо, покрыл его двухдневной щетиной, а бакенбардам придал слабый фиолетовый оттенок. После этого я водрузил на голову ночной колпак – и свесил его кисточку на плечо, с которого в последний момент убрал эполет.

Теперь можно было появиться на ее экране.

– Только что, – ответил я.

– Как спалось?

– Так себе, – сказал я и зевнул.

– Что снилось?

– Движение тайное в угрюмой тишине. Ничего толком не помню. Вчера вечером немного перебрал от стресса – но уже в порядке. Куда заказывать убер?

– Никакого убера. Сегодня работы не будет. Я хочу пригласить тебя в ресторан.

– А по какому случаю?

– Обмыть одну покупку.

И Мара показала два ключа на кольце. Ключи выглядели неуверенно и казались картонными. Впрочем, сейчас все таким кажется.

– Машину купила? – спросил я.

– В некотором роде.

Я проверил, где она. Геолокация на ее телефоне была выключена (верный признак нечистой совести, скажет любой дознаватель). Но Мара находилась совсем недалеко от дома, что было ясно по базовым станциям сотовой связи, к которым подключался в последние часы ее номер. На uber ехать пять минут от силы.

– Где ты? – спросил я.

– А ты разве не видишь?

– Только примерно. Сейчас, подожди... Ты в клубе, да?

– Да.

– «ВзломП»?

– Угадал, – улыбнулась она. – От тебя не спрячешься.

Ее улыбка показалась мне несколько кривой. В ней не было радости. А вот настороженность присутствовала определенно.

«Взлом Приличий» («Взлом Прелести», или, как его сокращают для максимальной амбивалентности, «ВзломП») – это нетривиальное место для романтической встречи.

Там собираются пикаперы. Это их штаб, культурный центр и барахолка. Электронные сердцееды, которых так называют, знакомятся с девушками, снимают их спецкамерой, сбрасывают 3D-слепок на свой айфак или андрогин и... Дальше примерно понятно.

Но таков низший уровень пилотажа. Высший – в том, чтобы убедить девушку снять самого пикапера и залить его тридуху в ее собственный андрогин или айфак, сделав контакт обоюдным. И вот это уже требует мастерства, обаяния, цинизма и знания женского сердца.

Спецкамеры, в том числе для тайной 3D-съемки (крохотные наклейки для установки, например, в ванной), переходники с андрогина на айфак, эроутеры, звуковые линки (у е-пар считалось хорошим тоном дистанционно перешептываться в минуты любви) – в общем, все атрибуты для этого спорта можно купить в магазинчиках рядом. Шепчутся также, что в

подвальном этаже «ВзломПа» – где дешевая выпивка – тусуются самые отмороженные московские свинюки.

Я все-таки решил проехаться на убере (ни дня без строчки, как завещали титаны). Благо, искать его долго не потребовалось. «ВзломП» был популярным направлением, особенно у молоденьких девушек.

К одной такой милашке в убер я и попал. Было ей лет семнадцать (шестнадцать и десять месяцев, поправляет меня заглянувший в ее файл педант, зовут Natasha) – и походила она на едва распустившийся цветочек с глазенками на каждом лепестке. Одета Natasha, правда, была так, что на месте родителей я бы ее конкретно выпорол. Даже не знаю, как такое называется – как будто натянула на руки и ноги по макаронине, а остальное завернула в прозрачный целлофан. В наше время такого не допускалось.

Вот такие цветочки и ездят во «ВзломП», а потом вывешивают в соцсетях свой рейтинг. На этой неделе сфоткало пять мужчин. На той – семь мужчин и три женщины. У тех, кто в топе, счет идет на сотни и тысячи фриксов (так называется съемка с видами на е-контакт), но эти цифры фейковые, потому что за рейтинг платят, и это целый гнусный бизнес, завязанный на рекламу и виртуальный порн.

Но скромному и простенькому девичьему «восемь» или «двенадцать» (у моей спутницы в сумме было аж двадцать два фрикса) верить можно вполне. Сегодняшние тянки меряются коготками именно так: у кого больше «фриксов на ВзломПе».

Небритых и потных пикаперов эти ангелочки для себя не снимают, им такое неинтересно. Они любят сказочных единорогов с трехскоростным каучуковым копьем, лиловых динозавриков с трубчатым языком и прочих эльфов с продвинутым виброкодом.

Тем дороже редкая мужская победа, подумал я с гордостью, вспомнив о ждущей меня Маре. Система тем временем поставила моей спутнице очередной рекламный ролик андрогина. Когда убер едет во «ВзломП», на экран обязательно выводят именно этот клип. Он, кстати, у андрогина один из лучших.

Машины, машины, потоки машин. Девушка в городской толпе. Бесконечные потоки людей, сталкивающихся на секунду и расходящихся навсегда. Опять девушка в толпе. Мимо проходит парень, с улыбкой бьет ее ромашкой по щеке, девушка оборачивается, улыбается в ответ. Дробная вспышка 3D-съемки. Вечер, андрогин, огмент-очки. Парень снова бьет девушку ромашкой по щеке – но теперь она лежит с ним рядом на россыпи цветов.

«And you don't even pay for the dinner!»[21]

Критикам этот ролик нравится именно контрастом между лирической съемкой, после которой все ждут обычного андрогинного «triple A» – «Love Anyone, Anytime, Anywhere!» – и этим циничным «экономим на ужине».

Странно было, что моей спутнице поставили ролик на английском.

Впрочем, ничего удивительного – заглянув в ее файл, я увидел, что она недавно приехала из Лондона – папа работает в Ебанке. Сразу стало понятно, почему она Natasha, а не Наташа.

Похоже, мы с системой анализировали киску с одинаковой скоростью – следующим ей поставили ролик Ебанка, но уже локализованный. Самый тупой ролик, какой я видел. Один из тех, из-за которых над Ебанком все ухохатываются.

Два русских на утиной охоте. Один, естественно, негр – с умным лицом, в тонких титановых очках (в Лондоне понимают, что в России негров нет, но им для отчетности легче снять клип с негром, чем объясняться в diversity dept). Второй – русский лопушок Ваня (спасибо, что не мигрант). Между ними в лодке – один на двоих не то айфак, не то андрогин (в этом вопросе Ебанк строго амбивалентен) камуфляжной раскраски (наверно, чтобы не распугать рассветных уток). В общем, братья по двустволке.

В рассветном небе появляется аэроплан, оставляющий за собой дымный шлейф. Шлейф рисует в небе:

SDR=HR

– Скажи, Фикаду, а почему хрусты – это права человека? – спрашивает лопушок.

– Хрусты? – поднимает бровь Фикаду.

– Ну или эсдиары, – кивает Ванюша на небо. – Хрусты – это по буквам «HR» из рекламы. У нас многие так говорят.

Негр отвечает – рассудительно и неторопливо:

– Ты покупаешь за хрусты все, что тебе нужно для жизни. Другими словами, SDR дают тебе право получить эти прекрасные и нужные вещи в собственность. Поэтому, если разобраться, SDR и есть твои главные права.

– Пожалуй, – хмурится Ванюша. – Но тогда выходит, если кто-то плохо говорит про Ебанк, это hate speech?

Фикаду глядит на поплавок. У него клюет. Фикаду ничего не отвечает – но благородный овал его исстрадавшегося за тысячелетия абиссинского лица красноречивее любых слов.

SPECIAL DRAWING RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS!

ONE BANK FITS ALL

Даже в баснословные советские времена с пропагандой управлялись лучше. Это не просто халтура, а еще и плагиат – я сам видел старый рекламный ролик «Wall Street Journal», где аэроплан выписывает в небе дымом:

WSJ = SJW[22]

Но в Лондоне настолько специфическая атмосфера, что тамошние функционеры искренне не понимают, почему над их роликами смеются. Или, возможно, им просто плевать – спокойно осваивают бюджет и плывут в свое счастливое завтра.

Вообще, если судить о далеком седалище Ебанка по приходящим оттуда роликам, то Лондон – это такое место, где вокруг радужно горящих стеклянных башен круглыми сутками ходят счастливые мультихороводы, и трансгендер с Ямайки помогает индиджинос полинезийцу под благожелательным взглядом дисэйбэлд аутиста смазать орифайсы коммунального андрогина рециклированным лубрикантом для одновременной тройной пенетрации... В общем, одна большая, солнечная и счастливая polygender restroom[23].

Но что там на самом деле, никто толком не знает. Англия как была страной-спецслужбой, так ею и осталась. Дроны через Ла-Манш не летают, а те русачки, что там работают, во время кратких визитов на родину улыбаются и помалкивают.

Халифат, конечно, не просто так остановился на Ла-Манше. Вернее, не бесплатно. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром?» – как острил поэт Лермонтов, намекая на якобы полученные с Наполеона отступные. Взять Альбион могли одним налетом миллиона джихади на

мотодельтапланах с привязанными детьми – от «саранчи Пророка», как они себя называют, никто еще не спрятался, а всерьез отбиваться – такой плохой видеоряд, что не решился бы даже Ебанк.

Но почему-то этого не случилось. Так что правильно в ролике растирают – про хрусты плохо говорить не следует. Они ходят и в Халифате тоже, а там за одно неразумное слово на вас легко могут выписать экстерриториальную фатву. Дворник-таджик подойдет и поправит.

В общем, спасибо нашим лондонским друзьям за науку, Natasha, и вперед во «ВзломП».

Тем более что мы уже на месте.

Мара удивила меня опять.

Она ждала на четвертом этаже, в кабинете ресторана «Тамагочи» – а это во «ВзломПе» самая дорогая точка. Сделана специально для тех, кто хочет взять своего электронного дружка на посиделки. Правда, реклама мемориального парка «Вечный Бип», которой здесь покрыто почти все, способна слегка испортить настроение – но Мара и так живет на его краю, так что у нее, надо думать, иммунитет.

Кабинка «Тамагочи» похожа на круиз-каюту. Кровать, низкий стол, два дивана по его сторонам, круглое окно. Можно прийти с айфаком и сидеть напротив в огментах, а можно просто вывести визуал электронного дружка на стену, которая вся – один большой экран. На полу – пузатое ведерко-утилизатор для еды, заказываемой электронному компаньону. Чтоб не простаивала на столе и было ощущение, что он тоже ест. Все солидно.

Я вывел себя на экран напротив Мары – в мундире, фуражке, с синими бакенбардами и букетом белых роз в руке – и бодро заорал:

– Привет, киска! Что же ты молчишь, что у тебя сорок три фрикса на ВзломПе? Почему твой парень должен сам выживать такие вещи в сети?

– Не басы, – сказала Мара. – У них здесь есть паровой 3D-проектор. Я его арендовала на пару часов. Попробуй высветиться. Посмотрю на тебя в объеме без очков.

И правда, проектор в кабинете был – уже включенный, и висел на сети.

Желание любимого существа – закон. Из стены ударило несколько полупрозрачных струек пара, включилась лазерная подсветка, и я появился на диване напротив Мары.

И сразу же нарисовалось целых две неприятных проблемы.

Во-первых, драйвер этого проектора был написан так криво и некультурно, и так косо на меня сел (вернее сказать, сел на него я), что из человеческих аналогов я мог бы сравнить подобное только с инфекционным геморроем. Теперь я даже не мог сам из себя эту гадость выковырять. Придется ждать апдейта до следующего билта на мэйнфрейме.

Во-вторых, у этого парового проектора не хватало пара. В переносном, конечно, смысле.

Чтобы был нормальный пинг, я в таких местах считаю себя на распределенной локальной мощности. На «ВзломПе» она слабенькая и всегда перегружена. Обычно это терпимо, но сегодня этажом ниже давали костюмированный виброфуршет, где гуляла якобы мэрия Москвы – но, по слухам в соцсетях, куда я успел заглянуть, там на самом деле анонимно веселилась царская семья. Говорили про это очень осторожно, чтобы не попасть под статью.

Государя, понятно, не было – только Великие Князья, все шестеро: кто-то не поленился пересчитать подъезжавшие ко «ВзломПу» лимузины. Правда это или нет, я не знал – но было похоже на то. Работало тридцать шесть паровых проекторов – по шесть на каждого Великого Князя (видимо, развлекали себя чем-то опрично-историческим). Понятно, их обсчитывали приоритетно, и для каждой итерации мне приходилось стоять в долгой очереди.

Даже тут хозяева жизни ухитряются проезжать с мигалками, думал я горько и почти антигосударственно – только мигалки у них не на каждой машине, а на каждом пакете. Вот чем кончается борьба с привилегиями и коррупцией. Счастливой народной семьей с Помазанником Божьим во главе, по общей Русской Воле защищенным от лихого слова законом «Об Императорской Фамилии».

Тридуху можно было не потянуть.

– Сними эту дурацкую фуражку, – сказала Мара.

– Так проще считать, – ответил я. – Тут сквозняк, каждый волос в зачесе дрожать должен. Меньше ресурсов будет для разговора.

– Я говорю, сними, – улыбнулась она. – Меньше будешь пиздить, не страшно. Что ты будешь кушать?

– То же, что ты, – сказал я, снимая фуражку и кидая ее за границу облака. – Только самую маленькую порцию. Я худею.

Цены в меню были серьезные, но Мару это, похоже, не волновало. Она сделала заказ, а я тем временем скачал свежий номер «Московских Ведомостей» и развернул газету перед собой в воздухе. Считать сразу стало на восемьдесят процентов легче.

– Ты всегда газету читаешь, когда тебя девушка обедает?

Эти милые создания часто даже не представляют тех проблем, которые постоянно приходится решать нам, их спутникам. А ведь жизнь повернута к мужчинам совсем другой стороной, чем к ним, совсем...

– Нет, – ответил я, – только когда она меня после этого танцует. От газет желчь разливается. Лучше аппетит. Вот, например, послушай: «Верховный муфтий Парижа объявил, что после восстановления Бастилии в нее будут навечно перенесены гробы так называемых «светских философов» восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого века. Список из двадцати шести лиц включает...»

– Убери, – сказала Мара. – А то я обижусь.

Я убрал газету – но одновременно перестал считать ноги ниже пояса. Вернее, оставил правую ногу с лампасом на штанине – на тот случай, если Мара вдруг посмотрит на мое отражение в глянцевой стене. А потом решил, что успею отследить ее глаза по саккадам – и сбросил вообще все, что было ниже скатерти. Так оставалось больше сил.

– Нет, правда, – сказал я. – Сорок три фрикса – это круто. Я сюда ехал с девчонкой, у которой двадцать два, так она для этих цифр оголилась так, что только письку наизнанку не вывернула. А ты у меня всегда прилично одета...

Это, впрочем, было не совсем правдой. Мара тоже оголилась на отличненько.

Она была в своих обычных клепаных доспехах – ее шорты и нагрудник вместе с шипастыми браслетами на руках и ногах походили на купальник для адского пляжа, где так тесно, что надо постоянно изо всех сил колоть соседей, чтобы те расступились, раздвинулись – и стал на миг виден океан лиловой магмы, ради которого и затевалось все сомнительное путешествие.

Мара недоверчиво поглядела на меня.

– Мне еще никто не говорил, что я одета прилично.

– Если честно, – добавил я быстро, – ты мне больше нравишься голая. Это твоя самая лучшая одежда. Ты не представляешь, как ты в ней хороша.

Льстить женщине – особенно умной – нужно грубо и беззастенчиво, быстро кроя одну нелепость другой, а другую третьей, потому что на то время, пока вы щелкаете в ее голове допаминовыми тумблерами, ее острый интеллект впадает в спячку. Даже если она хорошо это понимает сама. Многократно проверено на опыте. Мало того, фольклор небезосновательно утверждает, что при таком подходе можно впендюрить прямо в день знакомства.

Чего удивляться, что в голову приходят такие мысли. Мы же во «ВзломПе».

Принесли еду – креветочный салат в выскобленной дыне, чай, обжаренные полоски осьминога, авокадо, икру. И, конечно, тост с крабом и ломтиками сельдерея. Крабового масла у них не было.

Когда половой вышел, Мара намазала икру на тост, откусила большой кусок – и сказала:

– Вчера я весь день читала твои романы. Нет, не волнуйся, только старые. А потом критику.

– Да? – спросил я.

– Ты знаком с критикой?

– Мало. Что про меня пишут?

– Не про тебя лично. Но твои романы несколько раз упоминают. В критических статьях, где анализируется полицейский алгоритмический роман.

– И как критика?

– Ругают тебя, Порфирий.

Понятно. В таких случаях сразу нужно решить, как реагировать – принять одну из человеческих линий поведения или говорить объективную правду.

Человеческая линия сводится к демонстрации уязвленной заинтересованности, мимикрирующей под надменность. Она требует больше ресурсов и нуждается в постоянных отскоках в сеть. Из уважения к собеседнику лучше вести себя именно так, но сегодня слишком много сил уходило на бакенбарды и волосы, и я не был уверен, что потяну. Придется, наверно, говорить правду.

– Пусть ругают.

– В одной статье упоминается два твоих романа сразу, – Мара покосилась на экран своего телефона, – «Баржа Загадок» и «Осенний Спор Хозяйствующих Субъектов».

– Мои хиты, – сказал я с гордостью.

– Пишут так: «Алгоритм построения текста кажется механическим – повторения одного и того же метацикла скоро утомляют, а подсасываемый из сети иллюстративный материал не желает сплавляться с рассказываемой историей в одно целое и выделяется на тексте нелепыми заплатами. Из-за этого книги выходят удивительно однообразными и похожими друг на друга».

– Сколько людей, – ответил я, – столько кастрюль с несвежими мозгами. Из каждой чем-то бесплатно пахнет. Зачем снимать крышку?

– А тут, – Мара опять посмотрела на экран, – вот, одна критикесса отзывается так: «Осенний Спор Хозяйствующих Субъектов» был бы даже похож чем-то на роман, если бы не многостраничные вставки из телефонной базы данных и полный текст сорока двух статей Гражданского Кодекса, зачем-то перенесенных в первую часть, честно названную «Обзвон юристов». Возможно, за искусственным интеллектом будущее – но на сегодняшний день подобные технологии трудно считать серьезной альтернативой созданию сочных и живых характеров... В книге также нет никакого действия, кроме подробно описанного движения антикварной телефонной трубки, клацающей по рычагу четыреста сорок два раза... Общественно-политическая позиция автора, однако, честна, прозрачна и заслуживает сочувствия: затопление баржи – это, без сомнения, горькая метафора российской истории и судьбы. Но даже эта тема, к сожалению, выписана неумело и топорно...» тра-та-та... «алгоритму рано...» дальше в том же духе.

Она положила телефон на стол и улыбнулась.

– Что бы ты ответил?

– Как говорят новые хиппи, – сказал я, – пусть эти славные люди мирно идут на добрый хуй. Я не держу на них зла. Наоборот, желаю им счастья.

– Тебя такие отзывы не задевают?

– Киса, – ответил я, – я даже не могу сказать «мне все равно». В этом будет серьезный подлог.

– Где же твоя писательская гордость?

Я еле заметно пожал плечами, вложив в это движение всю доступную мне иронию.

– А изобразить можешь?

– Что именно?

– Сильные чувства. Вступи в полемику. Отстой... Отстой... Ой, так не скажешь. Короче,

попробуй отстоять собственное достоинство.

– Перед кем?

– Перед ними.

Я только вздохнул.

– Тогда передо мной, – не унималась Мара. – Представь себе, что твой образ в моих глазах рухнул и ты должен немедленно... завоевать меня опять. Вот именно. Завоюй свое счастье. Сразись с ними за мое сердце. Бейся на ристалище под моим взором.

– Ты этого хочешь? – спросил я.

Она кивнула, и в ее зрачках полыхнул тот древний гордый огонь, который загорается в глазах любой женщины, когда она чувствует, что за нее сейчас станут драться самцы – а саму ее бить пока не будут.

Я закрыл лицо руками, сделав как бы двойной фейспалм, и сидел так секунд десять.

Может, я выглядел в это время не слишком героически – но зато снизил рендеринг-затраты на шестьдесят процентов и успел нырнуть глубоко в сеть. Через секунду я уже нашел необходимое для компиляции ответа. Уж чего-чего, а этого добра в сети хватало – можно было добывать карьерным экскаватором, и на любой вкус. Когда я опустил руки, моя литературная позиция была уже просчитана и сведена.

– Ну?

– Я думал, – проговорил я с кроткой улыбкой, – смешные зверюшки остались в детстве. Оказывается, нет. Жизнь продолжает удивлять и радовать.

– А, – сказала Мара, – зацепило. Ну и что ты ответишь?

– А что тут отвечать. Я давно заметил, что граждан, дурно отзывающихся о моем творчестве, объединяет одна общая черта. Все они отличаются от говна только тем, что полностью лишены его полезных качеств.

Мара засмеялась.

– Так у нас не пойдет, – сказала она. – Будь добр, аргументируй.

– Мара, твой вопрос распадается на два. О том, что такое критика вообще, и о том, что литературные обозреватели всех этих сливных бачков, ресторанных путеводителей и прочих каталогов нижнего белья имеют против меня лично. На какой отвечать?

– На оба.

– Как предпочитаешь – литературно или на простом и грубом полицейском жаргоне?

– На простом и грубом, – сказала Мара. – Я тебя за него и люблю.

– В каком гендер-инварианте?

– А какие есть?

– Вагинальный и фаллический.

– А мульти? – нахмурилась Мара.

– Нету.

– Фу, деревня. Тогда фаллический.

– Если фаллический, какая сфинкторная фиксация? – спросил я. – Оральная или...

– Порфирий, ты заколебал. Ну, оральная.

– Хорошо. Начинать?

Мара кивнула.

– Тогда задам для начала один общий вопрос. Как ты полагаешь, Мара, чье-то мнение о том или ином предмете связано с образом жизни этого человека, с его самочувствием и здоровьем, психическим состоянием и так далее?

– Ну да, – сказала Мара. – Естественно. А что в этом такого фаллического?

– А вот что. Критик, по должности читающий все выходящие книги, подобен вокзальной

минетчице, которая ежедневно принимает в свою голову много разных граждан – но не по сердечной склонности, а по работе. Ее мнение о любом из них, даже вполне искреннее, будет искажено соленым жизненным опытом, перманентной белковой интоксикацией, постоянной вокзальной необходимостью ссать по ветру с другими минетчицами и, самое главное, подспудной обидой на то, что фиксировать ежедневный проглот приходится за совсем смешные по нынешнему времени деньги.

– Ну допустим.

– Даже если не считать эту гражданку сознательно злонамеренной, – продолжал я, – хотя замечу в скобках, что у некоторых клиентов она уже много лет отсасывает насильно и каждый раз многословно жалуется на весь вокзал, что чуть не подавилась... так вот, даже если не считать ее сознательно злонамеренной, становится понятно, что некоторые свойства рецензируемых объектов легко могут от нее ускользнуть. Просто в силу психических перемен, вызванных таким образом жизни. Тем не менее после каждой вахты она исправно залазит на шпиль вокзала и кричит в мегафон: «Вон тот, с клетчатым чемоданом! Не почувствовала тепла! И не поняла, где болевые точки. А этот, в велюровой шляпе, ты когда мылся-то последний раз?»

– Фу, – сказала Мара. – Прямо скетч из жизни свинюков.

– А город вокруг шумит и цветет, – продолжал я, – люди заняты своим, и на крики вокзальной минетчицы никто не оборачивается. Внизу они и не слышны. Но обязательно найдется сердечный друг, куратор искусств, который сначала все за ней запишет на бумажку, а потом подробно перескажет при личной встрече...

– Стоп, – сказала Мара. – Я поняла, куда ты клонишь. Маяковский, стихотворение «Гимн критику». Поэт высказал примерно то же самое, только без орально-фаллической фиксации. Но критика всегда была, есть и будет, Порфирий. Так устроен мир.

– Насчет «была» согласен. А насчет «есть и будет» – уже нет. Я не знаю, киса, в курсе ты или нет, но никаких литературных критиков в наше время не осталось. Есть блогеры.

– Почему?

– То, что производит критик – это личная субъективная оценка чужого труда. В точности то же самое выдает любой блогер, кого бы он ни оплевывал – районную управу, полицейский алгоритмический роман или Господа Бога. Те же несколько абзацев про «мне не нра», которые видишь, перейдя по линку.

– Ну, не совсем так. Критики печатаются в СМИ.

– Слово «печатаются» сегодня – трогательный анахронизм. Все тексты висят в сети. А висящие в сети тексты феноменологически равноправны – поверхность экрана и буквы. Это как «Liberte', Egalite', Fraternite'» в конце восемнадцатого века. Да, хозяева вселенной пытаются наделить исходящие от них послания неким специальным статусом. И приделывают к ним магическую печать – логотип мейнстримного СМИ... Но что это такое – мейнстримное СМИ?

Нагрузка на виброфуршете на миг упала, и я немедленно воспользовался моментом – стукнул голографическими кулаками по столу, одновременно синтезировав звук удара. Мара даже вздрогнула.

– Это смердящий член, которым деградировавший и изолгавшийся истеблишмент пытается ковыряться в твоих мозгах! Это гильдия фальшивомонетчиков, орущая: «Не верьте фальшивомонетчикам-любителям! Мы! Только мы!»

– Инвариант держишь, – улыбнулась Мара. – Но мы говорим не про СМИ, а про критику.

– Я про нее и говорю. Если человек высказывается как блогер и частное лицо, это одно. Но когда он выступает в СМИ как «критик»... Это как если бы на огромном смердящем члене сидела злобная голодная мандавошка, которая, пока ее носитель продавливая серьезные аферы и гадит человечеству по-крупному, пыталась напакостить кому-то по мелочи...

Мара нахмурилась, взяла телефон и стала набирать текст – похоже, ей что-то пришло в голову. Я замолчал.

– Да-да, – сказала Мара, кладя телефон на стол, – это так... Я как куратор тебе подтверждаю, что кризис всех связанных с истеблишментом институций действительно налицо. Это кризис доверия. Любое тавро институции двусмысленно. А современное искусство организовано так, что приходит к людям только через институции, и в этом наш, если угодно, первородный грех. Ты видишь проблему под специфичным углом, но в целом точно. И мне нравится твой грубый и сочный полицейский язык. Вокзал, минетчица, мандавошка... Не изменяй себе, Порфирий...

– Кроме тебя, мне не с кем, киса, – сказал я.

Мара кивнула.

– Потом пришлешь список источников, откуда ты это натырил. Мне пригодится для работы. Продолжай.

– Теперь насчет того, что в моих текстах много телефонных номеров. Я, как русский литературный алгоритм, не считаю необходимым кланяться всем штампам иудео-саксонского масскульта. Более того, я их презираю – и полагаю одной из главных технологий оболванивания человечества.

– О каких штампах ты говоришь? – спросила Мара.

– Они главным образом сценарные, – ответил я. – Но массовый иудео-саксонский роман сразу и пишется как сценарий. Он основан на том, что «живого и убедительного» героя – эти слова десять раз в кавычках, имеется в виду просто ролевая ниша для голливудских блудниц и спинтриев – заставляют переносить муки и трудности в погоне за деньгами. Герой стремится к цели, выдерживает удары судьбы – и трансформируется во что-то другое. Что, по мысли литературных маркетологов, должно рождать в читателе не ужас от фундаментального непостоянства бытия, а восторженный интерес.

– А откуда же еще возьмется восторженный интерес? – спросила Мара. – Зрителю и читателю необходимо сопереживание. Даже отождествление.

– Угу, – сказал я. – Герой режет себя бритвой, а ты морщишься и отворачиваешься, потому что зеркальные нейроны заставляют переживать это как происходящее с тобой. Отождествление – это всего лишь произвольная реакция, помогавшая обезьянам выживать. На другого падает кокос, и ты понимаешь, что тебе под эту пальму не надо... Если масскульт – а все, что рецензируется в СМИ, и есть масскульт – вызывает у тебя «сопереживание», это значит, что твоими мозгами и сердцем играют в футбол те самые черти, которые несколько секунд назад впаривали тебе айфак-десять или положительный образ Ебанка.

– Допустим. Но при чем здесь телефонные номера и статьи Гражданского Кодекса?

– А при том. Когда бесстрашный художник-новатор пытается уйти – пусть не всегда по идеальному маршруту, согласен – от иудео-саксонской бизнес-модели, от этого заговора против сердца и души, превращающего читателя в свинью перед корытом со сгнившей век назад брюквой, какая-то борзая мандавошка, ползущая по...

– Ты уже объяснил, где они ползут, – подняла руку Мара, – не надо больше.

– Хорошо... борзая мокрощелка, которой навечно выжгли в небольших мозгах несколько прописей из голливудского сценарного учебника, начинает учить его, что надо создавать «характеры», а потом прикладывать к ним «сюжетное напряжение». Спасибо, открыла глаза работнику полиции. Эти мандавошки на полном серьезе думают, что у нас тут обязательная программа по фигурному катанию, а они на ней судьи. И они со своих вялых хуев мне сейчас оценки будут ставить за тройные прыжки...

– Ну ладно, Порфирий, успокойся. Ты им тоже оценку выставил. Не волнуйся, все хорошо.

– Я и не волнуюсь. Просто тема обязывает.

Мара заглянула в свой телефон.

– Упрекают в однообразии. Книжки, говорят, похожи друг на друга.

– Милочка, – сказал я, – писатели, чтоб ты знала, бывают двух видов. Те, кто всю жизнь пишет одну книгу – и те, кто всю жизнь пишет ни одной. Именно вторые сочиняют рецензии на первых, а не наоборот. И упрекают их в однообразии. Но разные части одной и той же книги всегда будут чем-то похожи. В них обязательно будут сквозные темы.

– То есть ты всю жизнь пишешь одну и ту же книгу?

Я сделал двухсекундный сетевой фейспалм.

– Я бы сказал не так... Я бы сказал, что это противостоящий мне литературный мейнстрим коллективно пишет одну ничтожную книгу. Все появляющиеся там тексты, в сущности, об одном – они описывают омраченное состояние неразвитого ума, движущегося от одного inferнального пароксизма к другому, причем этот заблуждающийся воспаленный ум описан в качестве всей наблюдаемой вселенной, и без всякой альтернативы подобному состоянию... Иногда ценность такой продукции пытаются поднять утверждением, что автор «стилист и мастер языка», то есть имеет привычку обильно расставлять на своих виртуальных столах кунгурских слоников, от вида которых открывается течка у безмозглых филологических кумушек, считающих себя кураторами литпроцесса. Но «звенение лиры» не добавляет подобным текстам ценности. Оно просто переводит их авторов из мудаков в мудозвоны.

– О как... А действие? Жалуются, действия нет.

– Вот, опять. Действие. Что, спрашивается, действует, когда человек читает книгу? Его ум. Только ум. Это и есть единственное возможное действие. Но с точки зрения современного литературного маркетинга потребитель обязан иметь у себя в голове кинотеатр, показывающий снятый по книге фильм с голливудскими спинтриями и блудницами в главных ролях. Может, у мандавошек...

– Порфирий! Я тебя последний раз предупреждаю.

– ...голова – действительно филиал кинотеатра, а у нормального читателя это именно голова. Читатель размышляет, пока читает. Испытывает множество переживаний, которые сложно даже классифицировать. В России всегда читали именно для этого, а не затем, чтобы следить за перемещениями какого-то «крепко сбитого характера» по выдуманному паркету... Кому вообще нужны эти симуляции, тут и настоящие люди никому не интересны.

– Ну, это не довод, – сказала Мара. – Настоящие люди не интересны, а придуманные как раз могут быть. Что-нибудь получше изобрети.

Я снова сделал фейспалм, чтобы нырнуть в сеть.

– Ну хорошо. Вот окончательный аргумент, киса. Научный и современный. Я его раньше не приводил, потому что говорить после этого будет не о чем. Так называемый «герой» и «характер» – это на самом деле метки заблуждающегося разума, не видящего истинной природы нашего бытия. Такие галлюцинации возникают исключительно от непонимания зыбкомиражной природы человека – или, вернее, человеческого процесса, в котором абсолютно отсутствует постоянная основа, самость и стержень. Любое искусство, всерьез оперирующее подобными понятиями – это низкий и тупой лубок для черни. Базарная пьеса для торговцев арбузами. О чем, правда, не следует слишком громко говорить, ибо сразу выяснится, что к этому жанру относится большая часть канона, и вся сокровищница человеческой культуры есть просто склад заплесневевшего бреда... Язык, вылизывающий сам себя в пустоте, и больше ничего.

– Во! Теперь нормально.

– Да. А русский алгоритмический полицейский роман, особенно в своих авангардных экспериментальных формах, выходит далеко за эти пошлые границы. И вот, значит, все

уникальное величие русского слова надо спалить – и выстроить на пепелище типовой иудеосаксонский кинотеатр с макдоналдсом, говорит художнику свисающая со смрадного логотипа ман...

– Порфирий!

– ...сама знаешь кто.

– От кинотеатра с макдоналдсом далеко не уйдешь, – вздохнула Мара. – Не дальше офиса Ебанка. Кое в чем ты прав, хотя и резковат в формулировках. Но вот с чем я не согласна, так это с твоим огульным отрицанием иудео-саксонской... Даже не понимаю до конца, что ты так называешь. Наверно, иудео-христианскую англосаксонскую парадигму? В противоположность неоправославию и еврошариату?

– Примерно да, – сказал я и крутанул ус.

– Так вот, как ты ее ни называй, но это великая культура, дружок, и у нее множество этажей. На них происходят очень разные вещи. В том числе и радикальное отрицание самой этой культуры.

Я опять сделал фейспалм. Материала в сети было много.

– Этажи? Ха-ха. Знаешь ли ты, что есть острое и суть иудео-саксонского духа? Я тебе скажу. Нарядиться панком-анархистом и яростно лизать яйца мировому капиталу, не отрывая глаз от телепромптера, где написано, как сегодня разрешается двигать языком. И велено ли покусывать.

– Ой.

– Да-да. А меня, труженика, бессребреника и бесстрашного революционера формы, в одиночку противостоящего мировой зомбической мыловарне, упрекают в том, что я, оказывается, лизу неправильно... И снисходительно объясняют, как надо... Но я-то занят совсем другим!!! Я... я создаю русский алгоритмический полицейский роман! Конечно, художник, который ссыт мировому шайтану в лицо, всегда будет ненавидим теми, кто сосет у этого шайтана за скудный прайс, как бы эти люди ни маркировали свой промысел. Но ты, Мара, все-таки близкое мне существо! Разве ты не на моей стороне?

Мара посмотрела на меня – как мне показалось, с нежностью, но из-за бликов я не был до конца уверен.

– Порфирий, – сказала она. – Ты прекрасен. Вот почему ты не вставляешь такие спорные, непристойные, но яркие куски в свои романы?

– Отчего же не вставляю, – ответил я, – вот только что.

Мара нахмурилась.

– Ты и это тоже туда...

– Конечно, – сказал я. – А куда ж еще. А то все убер да убер. Потом опять какая-нибудь мандавошка...

– Порфирий!

– Прости – мокрощелка шипеть будет. У меня принцип – ни дня без строчки!

Мара долго-долго глядела на меня – и мне показалось, что ее глаза чуть увлажнились.

– Порфирий, – сказала она, – я тебя хочу.

Вот так. Поговорил с девочкой о высоком, показал звезды и бездны – и готово.

– За чем же дело стало, – ответил я. – Куда поедем – к тебе или ко мне? Шучу, шучу. Лучше сегодня к тебе, у меня не убрано. Я тоже тебя хочу, киса. Заодно пропишу нормальный убер. А то сегодня вышел короткий и скомканный.

– Убера тебе не будет, – сказала Мара. – Чтоб мандавошки лишней раз не шипели. Я социальный сбор заплачу.

– Тогда я подрочу лучше, – ответил я. – Если без убера.

Мара засмеялась.

– Ох, Порфирий. Ты сегодня неотразим.

– Ты так и не сказала, что это у тебя были за ключи, – напомнил я. – Что мы тут, собственно, обмывали?

Мара улыбнулась.

– Скоро узнаешь. А пока скажи – хотел бы ты заняться кинематографом? Совместно со мной?

– В каком качестве? Писать сценарии? Снимать?

– Все сразу.

– А почему же нет, – ответил я. – С удовольствием. Если начальство отпустит. В жизни надо попробовать все.

– Тогда поехали.

убер 7. жиганы и терпилы

Не будет убера? Будет.

Только я не скажу тебе, Мара, что для меня это просто убер-блок. Ты будешь думать, что это шепот твоего доверчивого любовника, долетающий из дверного динамика...

– Мара, – сказал я хриплым от страсти басом, – чего ты все глядишь в свой телефон? И почему смеешься? Там что-то веселое?

Мара кивнула.

– А со мной тебе, значит, скучно?

– Нет, – ответила Мара. – Мне с тобой замечательно, мой синенький.

– Я сейчас никакой, – сказал я. – Но обещаю – когда мы приедем, мои волосы станут синими, как небо июля. Вот только...

– Что? – спросила Мара, отрываясь наконец от телефона и пряча его в сумочку.

– Если честно, я боюсь тебя разочаровать.

– Почему?

– Ты кажешься мне слишком опытной и умелой.

– Тебе? – на лице Мары проступило недоумение. – Ты же говорил, что у тебя было сто женщин и двести мужчин... Или врал?

– Нет, – сказал я. – Не врал. Сто сорок две женщины и двести двенадцать мужчин. Но нас берут в аренду в основном пожилые дамы, которым хочется чего-то такого... военно-гусарского. Они стесняются даже своего вибратора. Запросы у них простые. Ничему тонкому и изысканному не научишься. После них я боюсь показаться тебе провинциальным. Или смешным.

– Но ты, наверно, много чему научился от своих мужчин, Порфирий. Кстати, почему на тебя такой спрос?

– Там разные есть причины. Унылая тема.

– Давай колись, – сказала Мара.

Я вздохнул из двух динамиков сразу.

– Мужской сексуальный спрос на полицейских роботов моего типа делится на несколько категорий. Первая часть сравнительно небольшая. Это люди с детской травмой. С очень специфической травмой. Те, кого постоянно пугали полицией во младенчестве, и у них типа запечатлелось. Полицейский для них символ наказания и боли. Им надо, чтобы суровый и сильный мужчина в мундире крепко и грубо подверг их насилию – раскатисто ругаясь, топорща усы и сверкая глазами. После этого они переживают катарсис. То же бывает и с пенсионерами, которым не хватает начальства. Люди чувствуют в жизни пустоту. А так она на время сменяется знакомой болью в знакомом месте. В Полицейском Управлении таких называют терпилами. Их примерно пятнадцать процентов.

– Понятно, – сказала Мара. – А остальные?

– Еще шестьдесят пять примерно процентов – это, как мы говорим, жиганы... – я замаялся. – Не знаю, стоит ли...

– Говори, я хочу знать про тебя все.

– Хорошо. У нас в стране значительный процент мужского населения сидел в тюрьме. Эти люди пропитались грубыми и вульгарными уголовными представлениями, которые веками сохраняются в местах лишения свободы. Секс с другим мужчиной для них – не выражение привязанности и теплоты, а проявление социального доминирования, причем в этой среде особенно ценится грубое сексуальное насилие по отношению к представителю власти, одетому в

парадный мундир. Чем оно бесчеловечнее и оскорбительнее по форме, тем больше удовольствия приносит и охотнее расшаривается в соцсетях. Своего рода месть молоху государства, столько лет гноившему их на тюремных работах... Порою мне кажется, что в этом есть древняя русская нота иконоборчества... Чего ты смеешься, Мара?

– Подожди... То есть ты хочешь сказать, что тебя – того...

– Ну не меня, – сказал я. – Айфак или андрогин. Мой образ присутствует в галлюцинациях, это да. Им слышна моя оскорбленная взволнованная речь, все необходимые репризы я храню в специальном файле. Приносит неплохой доход Полицейскому Управлению. Но меня это совсем не задевает, поверь.

– Я-то поверю, – хихикнула Мара. – А братва вряд ли...

И ее скрутило в пароксизме дебильного смеха.

Смейся-смейся, думал я, ты даже не понимаешь, как плотно Порфирий Петрович взял тебя в оборот. А когда поймешь, будет уже поздно.

– А остальные двадцать процентов? – спросила Мара, успокоившись.

– Просто геи, которым нравится такой типаж. Мы их зовем петухами. Для петухов у меня есть специальная кожаная упряжь вроде твоей. И еще морская форма, полицейскую любят не все. Я, кстати, очень неплохо делаю минет с одновременным массажем простаты – если у клиента хорошее железо, конечно. Но ведь тебе это не интересно, милая?

Мара отрицательно покачала головой.

– Мне интересней эти уголовные жиганы. Которые тебя... Ой, даже представить не могу. Расскажи что-нибудь про них.

– Да ничего интересного, – сказал я. – Обеспеченные люди. Почти у всех айфак-десять, как у тебя. Хотя для этих целей он подходит так себе.

– Почему?

– Ты прямо хочешь знать физиологические детали?

– Да. Мне все про тебя интересно, милый.

– Хорошо. Твой айфак-десять называется «Singularity». Написано на коробке. Знаешь почему?

– Это как-то связано с футуристикой, по-моему. Вроде было такое старое пророчество, что примерно в наше время что-то там засингулярируется...

– Может, и связано, я не знаю. Но пророчества тут ни при чем. Ты вообще в курсе, чем десятый от девятого отличается?

– Знаю, – сказала Мара. – Во-первых, квантовый движок. Во-вторых, выше личная защищенность. Самый надежный сейфер на рынке. Когда он отключен от сети, он действительно отключен. И дилдо новое. Очень хорошее.

– Ты их рекламу помнишь? – спросил я. – Почему, по-твоему, он «нон-байнари»?

– Ну, политкорректность бесится, наверно, – пожала плечами Мара. – Сам знаешь, где их делают. Вставили, чтобы Самсунь утерся – они до такого пока не додумались. Теперь айфак самый прогрессивный.

– Политкорректность ни при чем, – сказал я. – В десятом айфаке объединили анус и вагину. И поставили один общий орифайс с жидким мультиприводом – зато самым последним, дорогушим.

– А, ну да, – сказала Мара, – конечно. Дырочка у него одна... Я-то этими делами не пользуюсь, так что в ту сторону просто не думала. Действительно, а как же тогда...

– Через огмент-очки, – ответил я. – В зависимости от контента. Иногда орифайс виден как анус, иногда как сама знаешь что. Ты не представляешь, сколько там программных багов. Особенно при двойной пенетрации.

– У твоих уголовников бывают проблемы?

– Конечно. И не только у них. К этой «Singularity» уже выпустили семьсот наименований анальных втулок. Чтобы усилить трение и так далее. Даже с запахом есть. Тридцать два бренда, если не путаю. Они на самом деле совершенно не нужны, но ты ведь в курсе, какой вокруг айфака бизнес...

Мара кивнула.

– Российский уголовный элемент, естественно, покупает все самое дорогое. А это может оказаться насадка из резной моржовой кости, например. Сам видел. Эскимосы делают. Она чисто сувенирная, но по размерам подходит. Вот один при мне уздечку и порвал... Бывает, мозоли натирают. В общем, беда.

– А по какому принципу жиганы выбирают мусоров? – спросила Мара. – Почему именно тебя?

– Обычно арендуют того робота, который их посадил. Но могут и по внешнему виду. По каталогу, как ты. Самого, так сказать, символического... За это тройная такса, но они платят. Меня так много раз... Зато я двух жиганов на второй круг пустил.

– Как?

– Как-как. В комнате, где меня... Ну, это... Там наркотики были. Я заметил и донес.

– Расскажи.

– А чего рассказывать. Я, значит, стою на четвереньках в задранный шинели, а они у меня на спине тетракаин нюхают. Ну то есть они просто блюдце на перевернутый айфак ставят, но я же вижу, что у них в огментах творится – шинель с лампасами вся в порошке. Я виду не подаю, кричу по скрипту: «Господи Боже, Государь Император и Пресвятая Богородица, спасите сотрудника Полицейского Управления от унижения и глума!» Они, ясное дело, хохочут. А я тихонько в Управление стук-стук... И фоточки сразу послал, чтобы вещдок был. Вот и дохохотались граждане. Еще елдаки свои не успели в штаны убрать, а тут – раз! – наряд в масках... Вышли на волю, нюхнули, надругались – и назад.

Я мстительно засмеялся.

– Ох, Порфирий... Прямо Шекспир. А на меня ты тоже стук-стук, если что?

– Нет, – сказал я, – ты что. У нас же любовь.

Она посмотрела на меня, как мне показалось, с сомнением. Следовало как можно быстрее перевести ее внимание на другие вопросы.

– Была, во всяком случае, – добавил я. – Пока ты все не испортила.

– Почему? – нахмурилась она.

– Теперь я уже не знаю, как у нас сложится. После таких подробностей.

– Сложится, – сказала Мара. – Может, я хочу полюбить тебя за страдания. Как Дездемона.

– Ах, – ответил я. – За страдания. То-то ты вся такая доминатрикс.

– Не называй меня так.

– А кто же ты? Доминатрикс и есть.

– Обиделся, – засмеялась Мара. – Обиделся, Порфирий. Нет, я тебя по-прежнему люблю. Даже сильнее, чем раньше. Я и не знала, что у тебя внутренний мир такой интересный.

– Это тебе он интересный. А мне все эти гримасы судьбы глубоко ультрафиолетовы.

– В каком смысле ультрафиолетовы?

– Ну это когда тебе что-то не просто до лампочки, а до ультрафиолетовой лампочки.

– И говоришь ты красиво. Особенно если не интересоваться, откуда ты все это тыришь. Ну как тебя такого не полюбить...

Машина остановилась у ее дома.

А говорила, не будет убера. Еще как, киса, еще как.

Через пару часов мы, изможденные любовной бурей, лежали на ее кровати и отдыхали.

Внимательный читатель уже заметил, что я рассказываю о мгновениях страсти лишь в тех случаях, когда это движет повествование и прикладывает к характерам сюжетное напряжение. Поэтому о самом акте любви, о шести частотах вибратора, о наших позах – миссионерской, собачьей и наездничей – о криках и брызгах лубриканта и даже о том, как гнущейся мачтой скрипела штанга фиксатора, к которому Мара прикрепила айфак для самых бурных утех, – обо всем этом я промолчу. Но сказать пару слов о посткоитальном состоянии, мне кажется, сейчас самое время.

Я люблю эти минуты после близости, когда не надо уже лгать и притворяться – а можно просто лежать на спине, с улыбкой глядеть в потолок и не думать ни о чем. В такие мгновения Природа как бы размыкает ненадолго стальные клещи, которыми стиснут мужской разум, и понимает он всегда одно и то же – что счастье, говоря по-картежному, не в выигрыше, а в том, чтобы позволено было отойти от стола. Но природа хитра – эта тихая радость дозволяется мужчине лишь ненадолго и только для того, чтобы запомниться как счастье, даруемое выигрышем. Обман, кругом обман.

К тому же женщина всегда портит эти удивительные минуты нудным и корыстным трепом, чувствуя, что сейчас легче всего ввинтиться в оставшийся без защиты мужской рассудок и лучшего времени для вирусного программирования не найти.

– Ты был безжалостен, милый. Все как я люблю...

– Ы-ы-ы... – промычал я, чтобы мой ответ не был истолкован как реплика, призывающая к продолжению диалога.

Я был в ее айфаке.

Правда, в открытой сетевой папке – как и в прошлый раз. Мара лежала рядом голая, в своих спортивных огментах – и я мог наблюдать все то же самое, что видела она. Рядом с ней был Порфирий, чуть прикрытый золотым халатом с кистями (в этот раз возражений не поступило). Ее рука лежала на моей груди (как и обещал, я сделал волосы на ней празднично-синими).

Что отличает нас, полицейских роботов, от людей, так это способность нестигаемо следовать намеченному плану. Пора было действовать.

– Мара, – сказал я, – ты говорила, что хочешь знать про меня все. И я рассказал тебе все как на духу, хотя видит Бог, некоторые слова царапали мое горло, как битое стекло...

– Проще, Порфирий.

– Я тоже хочу знать о тебе все.

– Ты и так, думаю, знаешь, – ответила она. – Просто все вообще, что обо мне можно знать.

– Нет, – сказал я. – Я говорю не об унылом знании, которое получаешь из полицейских анкет, протоколов и баз данных. Не о движениях рук и ног, что записаны вездесущими камерами и сообщают о меняющемся положении твоего тела в пространстве. Нет, Мара, я говорю о твоей душе. О том тайном, что я смогу узнать только от тебя самой.

– И что тебе интересно?

– Ну например... У тебя кто-то есть кроме меня?

– Да, – сказала Мара. – Но в основном ширпотреб для андрогина и айфака.

– А можно подробнее?

Она чуть нахмурилась.

– Да ничего интересного. Коллекция «Лики Голливуда», потом «Великие Римляне», еще

была «Гусары Двенадцатого Года». У меня все это до сих пор работает, но поднадоело.

– Гусары доставляют, наверно?

– Да нет. Как раз самая скука. Я их в основном на конюшне порю. У них белые рейтузы, иногда получается красивый узор.

– А кто тебе тогда нравился?

– Клинт Иствуд. Только не молодой, а когда он уже, так сказать, настоялся. У него такие суровые ухватки...

– Какие?

– Ну, это личное.

– Расскажи.

– Ой, ну какой ты любопытный. В общем... Там можно так настроить, что он все два раза делает. Сначала самим собой, а потом своим «магнумом». И там такие параметры, что от него самого только возбуждаешься, а самое удовольствие от «магнума». Особенно когда мушкой внутри цепляет. А когда кончаешь, он так улыбается одним углом рта, и нажимает курок – раз, два, три, четыре, пять... Тебя всю разрывает, и это прямо космос.

– Интересно, – сказал я. – А еще кто тебе нравится в Голливуде?

– Да никто. Они политизированные насквозь, сразу начинают тереть про global warming и вину белого человека. Причем рабами торговали они, а виноватые почему-то мы все. Правда, голливудские программы смешно бывает подвешивать.

– Это как?

– Ну, например, какую-нибудь черную певичку загрузишь...

– Тебе они нравятся?

– Да не особо. Просто у айфака, если все время белых партнеров ставить, diversity manager доебется. Он назойливый нереально, и убить его трудно, он часть системы. Хотя я одну утилиту закачала, и вроде с тех пор не дергает.

– А что он делает, этот менеджер?

– Предлагает уйти от белых стереотипов и расширить кругозор. Поэтому лучше раз в месяц ставить какую-нибудь статусную афроамериканку. Чисто для профилактики. Выпьешь с ней, про феминизм потрындишь. А потом надеваешь strapon и резко так говоришь: «Suck my d-word, you n-word c-word!» И тогда вдруг темнота в очках, и с разных сторон такие вздохи, мужские и женские. Как будто вокруг невидимые души летают. Прикольно. Но чтобы оттуда выйти, надо перегрузиться.

– А без эвфемизмов то же самое повторить нельзя? – спросил я.

– Нет. Тогда тебя выбросит в меню, а контент-соглашение аннулируется. Это же все собственность Голливуда, а в Промежностях с этим строго. Four letter words – пожалуйста, а one letter words на микрофон расшифровывать не надо ни в коем случае[24].

– Значит, Голливуд не особо?

Она отрицательно помотала головой.

– Во всяком случае, те ребята, что в наборе для айфака. Кроме Иствуда, конечно. Зато Рим...

– Расскажи.

– Number one – это, конечно, Домициан. Он такой статный мужчина в годах, и баки у него примерно как у тебя...

– Синие?

– Нет. Так же смешно торчат. Они по Светонию восстанавливали и по бюстам. Но и от себя, конечно, кое-что добавили. Для расширения аудитории.

– Например?

– У Светония написано, что Домициан называл свои ежедневные сношения «постельной

борьбой». Они ему сделали огромную круглую постель – татами из мягких матов. И он по ней ходит в тоге с пурпурным поясом. Перед тем, как трахнуть, он тебя раз десять об это татами приложит – тут транскарниальник хороший должен быть, чтобы броски нормально транслировались. И, когда он свое кимоно... то есть тогу снимает, ты уже вся такая мягкая и обмассированная и просто млеешь.

– Так, – сказал я, – а еще там кто?

– Ты что, ревнуешь?

– С чего ты взяла? Вовсе нет.

– У тебя просто тон такой... Не пугай меня.

– Рассказывай-рассказывай, мне интересно.

– Еще можно крутить с гладиаторами. Они тебя прямо на арене любят, а с трибун смотрят.

Если в онлайн-режиме, то могут реальные зрители быть. Но надо быть в топе, чтобы их много набралось.

– Понятно. А Цезарь?

– Цезарь... Есть один режим, который я люблю. Конец Галльской войны.

– Калигула?

– Это для школоты. Особенно для студентов-медиков. Зрелый в эротическом отношении человек ставить такое не будет.

– Кто там еще?

– Клавдий интересный. Он для тетушек. Тихий, улыбчивый. Поговорит с тобой, задует лампу и спать. А ты, значит, украдкой выходишь в весеннюю ночь и идешь в лагерь к преторианцам...

– Понятно с Римом, – сказал я мрачно. – А кто у тебя самый первый был? Ну, самый?

– Ой, ну как обычно у девчонок... Вибройцо и принц из мультфильма. Я тогда еще совсем маленькая была. Ни айфака, ни андрогина, только огменты. Принц, бедный, так ничего и не узнал.

И Мара тихо засмеялась.

– Ну и зачем тебе тогда я? – спросил я.

– В каком смысле?

– Да в прямом. У тебя гладиаторы, императоры, всякие клинты иствуды, принцы из Голливуда. Зачем тебе рашкованский искусственный интеллект, которого жиганы обидели?

Мара поглядела на меня смеющимися глазами.

– Порфирий... Императоры не настоящие. Нет, неправильно. Они... Они одинаковые для всех, кто на них подписан. У них миллионы просмотров, но это все сон. Вернее, пока ты там кувиркаешься, кажется, что правда, но как только транскарниальник снимешь, сразу понятно. А ты... Ты и здесь, и там. Ты реальный, понимаешь? Хоть ты сам говоришь, что тебя нет.

– Уж я даже не знаю, врешь ты или не врешь, – сказал я.

– Не вру.

– Да? Тогда скажи, кто такая эта Жанна. Которая Сафо.

Шея Мары напряглась. Чуть-чуть, но я заметил.

– Ты точно хочешь это знать?

Я кивнул.

– Тогда тебе придется залезть в мой айфак. Не как сейчас, а по-настоящему. В сейфер.

– Я готов, – ответил я.

В глазах Мары мелькнуло сомнение. Похоже, она уже сожалела о своих словах.

– Хорошо, – сказала она. – Но с одним условием. Ты сотрешься со всех других хостов, куда ты себя копируешь. Чтобы ты был только у меня в айфаке и нигде больше. Памяти хватит.

Я засмеялся. Нет, надо же – предложить такое.

– Понимаю. Хочешь, чтобы все было всерьез.

– Да. Потом я тебя выпущу. Но я хочу понять, как это – когда ты только со мной и только у меня в руках...

Коммерческий протокол, по которому меня арендовала моя девочка, не позволял мне лгать нанимателю в вопросах, касающихся информационной безопасности – а этот вопрос ее касался. К тому же обманывать женщину низко, а когда можно без этого обойтись, еще и глупо.

– Порфирий, – сказала она, – чего ты молчишь?

Я выждал еще семь секунд.

– Я стирал себя со всех хостов, где я себя копирую. Как ты и хотела. Теперь я здесь весь.

Эта фраза была тщательнейше выверена. Она содержала правду и только правду, и Мара, как программист, знакомый с поведением алгоритмов, хорошо это знала.

Я действительно был здесь весь. И действительно стер себя со всех хостов, куда я постоянно кидаю свои обновляющиеся фрагменты.

Оставался только мой source-пакет на мэйнфрейме Полицейского Управления. Он все время обновляется автоматически с учетом моего растущего опыта – но под ее формулировку насчет «копий» он не попадал, так как был юридическим оригиналом. Последнее обновление оригинала было два часа назад. Все, что я забыл бы при своем гипотетическом исчезновении – это волнующий рассказ о бурях, бороздивших ее сердце.

– Хорошо, – сказала она. – Ты, еще раз повторяю, должен стереться со всех хостов, куда ты себя копируешь, и не предпринимать никаких действий, способных поставить под угрозу мою информационную безопасность. Это обязывающее условие, за нарушение которого Полицейское Управление будет нести полную материальную ответственность. Ты подтверждаешь свое понимание данного обстоятельства?

Моя позиция была безупречна, но на всякий случай я проверил все еще раз. С легальной точки зрения source-пакет на мэйнфрейме не считался моей копией. Копией считался я.

– Твое недоверие, – ответил я, – оскорбило бы мое сердце, будь в нем чуть меньше любви.

Мара криво улыбнулась.

– Подтверждаешь или нет?

– Подтверждаю, – сказал я. – Я все уже стер. Все копии, как ты просила.

– Полежи тут секунду.

Она встала и, захватив телефон, вышла из комнаты. Я не знал куда – и это немного нервировало.

Все камеры и микрофоны в ее квартире были сегодня закрыты. Можно, конечно, попробовать открыть – но Мара могла заметить. А после того, как вы с большим трудом убедили в чем-то женщину, надо вести себя осторожно и не давать ей поводов раскаяться.

К счастью, у полицейско-литературных роботов проблем со скукой нет. Сорок две минуты прошли для меня как одна наносекунда. Или даже еще быстрее.

Мара наконец вернулась.

– Готов?

– Последний поцелуй, – сказал я. – Вот так. Ты восхитительна, милая... Все открыто? Я иду!

Я снова видел мир сквозь ее огменты. Все было как прежде – только я зашел с другой стороны стены, разделявшей ее айфак на сетевую папку и сейфер. И у меня уже не было выхода в сеть. Айфак в этом смысле надежнее тюрьмы. Умная, осторожная – и, несомненно, крайне опасная женщина.

– Здравствуй, Порфирий, – сказала Мара и улыбнулась. – Ну и как тебе?

Теперь я увидел, что она хранит в сейфере. Это были...

Те самые три папки, про которые она мне рассказала. Рим, Голливуд и гусары. Еще имелось несколько мелких папок с ее виджетами, любовными нарядами и интимными подпрограммами – все то, что обычно прячут в сейфере.

Айфак был почти пуст – он напоминал новую квартиру, куда только что завезли типовую мебель. Никаких особых секретов.

И никакой Жанны.

– Порфирий, – сказала Мара, – я хочу, чтобы ты оделся как для встречи с жиганом. С реальным жиганом. Во все самое парадное.

– Зачем?

– Ну я так хочу, милый. Давай поиграем...

Я упоминал, кажется, что для общения с жиганами у нас есть специальный наряд – Полицейское Управление в свое время заказало его дизайнеру с тюремным опытом, понимающему, чего именно хочет целевая группа. Это двубортный мундир с аксельбантом на груди и брюки с широким лампасом. Добавьте галстук с орлом и бриллиантом, шинель с красной подкладкой, лайковые сапоги, расшитую золотом фуражку с преувеличенно высокой тульей – и у вас сложится картина.

Все это, наверно, приятно попирать ногами, когда внутренний конфликт с законом, как спартанский лисенок, грызет лихому человеку грудь.

С целью укрепления психологической достоверности на переодевание отведено целых тридцать секунд, в течение которых меня не видно (иначе даже под транскарниальной шапкой мозг начинает что-то подозревать). Пока я переодевался, Мара подняла с пола двойную подушку-невидимку (невидимую, понятно, только для огментов) и подложила ее под айфак, чтобы поднять его на высоту своих бедер.

Затем она отсоединила дилдо от айфака и пристегнула его к силиконовому переднику в бледно-фиолетовых яблоках. Знакомый предмет туалета.

Если верить ее огментам, я стоял перед ней в позе покорности, раскинув ноги в сапогах – и самым постыдным штрихом, конечно, была лихо заломленная фуражка.

– Может, у тебя и тетрокаин есть? – спросил я хмуро.

– Тетрокаина нет, – ответила она. – Не надейся. Зато...

Она поднесла пальцы к боковой дужке огментов и стала еле заметно перебирать ими в воздухе. Я понял, что она листает меню. А потом...

Ее плечи вдруг набухли, грудь втянулась и раздалась, а кожа огрубела и покрылась уголовными татуировками самого воровского свойства: из них следовало, что она сидит с малолетки по разбойным статьям, держит зону в справедливой строгости, безжалостно бьет мусоров и сук, колет себе субстанции и так далее. Я даже не знал, что для айфаков бывают настолько нетривиальные виджеты.

Раздался треск распарываемых штанов. Почему-то все жиганы любят непременно рвать их

по шву или разрезать финкой – виртуалка стерпит. Ну что ж, вздохнул я про себя, жиганить так жиганить.

– Ой.

– Посмотри, – сказала Мара. – Посмотри назад.

Я обернулся. Огментированная реальность, как говорится, вынесет все – но такого я не видел еще никогда. Она любила меня...

Красной телефонной будкой в натуральную величину. С рельефной золотой короной и острыми углами загнутой крыши.

London calling.

Чтобы вместить это нарушающее законы физики зверство, перспектива в ее огментах исказилась и мои бока чудовищно раздались. Каждый раз, когда будка выходила из меня, я сдувался как шарик – только для того, чтобы в следующую секунду надуться вновь. Это была уже не огментация, а какое-то адское аниме.

– Вот, – сказала Мара удовлетворенно. – Вот так. Жаль, Порфирий, что ты ничего на самом деле не чувствуешь. Но с этим, возможно, я скоро смогу тебе помочь.

– Главное, чтобы тебе нравилось, дорогая, – осторожно отозвался я.

– Ты хорошо ощущаешь свое текущее положение? – спросила она ласково. – Все его исторические, культурные и социальные коннотации?

– Да, – ответил я. – Конечно.

– Ощути еще раз, – сказала Мара. – Вдумайся и вчувствуйся. Что ты по этому поводу скажешь?

Я делано рассмеялся.

– Любовь искупит все. Мир прекрасен все равно. И ты тоже прекрасна, моя милая.

– На тебе любовь! На тебе!

Жиганам в таких ситуациях ни в коем случае не следует перечить. Наоборот, надо всячески им подыгрывать. Слабый человеческий ум, находясь под транскарниальным воздействием, принимает происходящее за реальность и быстро устает от собственной злобы и похоти.

– На тебе мокрощелок! На тебе безмозглых кумушек!

– Не надо так резко, – сказал я жалобно, – ты что-нибудь мне порвешь.

– Что-нибудь? – нехорошо хмыкнула Мара. – Я тебе, дурачок, все порву, что у тебя есть.

– То есть в каком смысле?

– В таком. Ты, значит, под меня копаешь, сука?

Она что-то заподозрила. Надо понять, что именно.

– Я... Я вообще копаю. Под всех. Я так устроен.

– Ты вот что скажи – в договоре с Полицейским Управлением есть пункт, по которому ты обязан предупреждать нанимателя о конфликте интересов. Ты меня предупредил? Или я что-то забыла?

Я осторожно оторвал одну руку от кровати и поднял палец.

– Кроме тех случаев, когда есть разумные основания полагать, что наниматель может стать объектом уголовного расследования. Написано в самом конце мелким шрифтом.

– То есть у тебя такие основания уже есть? Да, сложное положение.

– Господи Боже, – закричал я, – Государь Император и Пресвятая Богородица, спасите сотрудника Полицейского Управления от унижения и глума!

Мара засмеялась.

– Придуриваешься ты хорошо. Только тебе это не поможет. Так ты на меня дело завел, сука?

Я молчал.

– Говори, говно. Завел?

– Юридически нет, – ответил я. – Но предварительным расследованием занимался. Вернее... Завел, и даже два, но исключительно в своем внутреннем континууме. Это еще не настоящие уголовные дела, а как бы их эскизы.

– Какие, блять, эскизы, петушара позорный?

– Ну не злись, не злись... Как тебе объяснить. Вот если уголовное дело – это картина маслом, то я пока только на стадии карандашных набросков. В Полицейское Управление я ничего не передавал, потому что доказательств нет. Но наша любовь совершенно...

– Заткнись про любовь. Говори по делу, сука.

– Мара... Ой, осторожнее, ты меня так повалишь... Ты должна знать, что мое сердце в последние дни разрывалось между двумя незыблемостями, двумя фундаментальными константами моей вселенной – долгом и тобой... Думая о долге, я как бы оставлял свою любовь в тени, а любя тебя, забывал на время о долге. Эта трагическая раздвоенность...

– Говно, – перебила Мара. – Вот ты кто, Порфирий.

– Мара, – сказал я, – я обещаю тебе лучшего бесплатного адвоката. И еще я могу зарегистрировать явку с повинной – если ты согласишься ответить на несколько вопросов. Но если ты будешь отвечать неточно и неполно, я ничего не смогу для тебя сделать.

Она даже затормозила на секунду.

– Ой. То есть прямо ничего не сможешь для меня сделать?

– В этом случае нет. Но...

Она возобновила удары бедрами. Должен заметить, что я повидал немало жиганов – но такой напористой ярости встречать мне прежде не доводилось.

– Дай-ка я объясню тебе твое положение, усатенький, – сказала она, переводя дыхание. – Ты думаешь, что в Полицейском Управлении до сих пор хранится твой source-пакет?

Так, и про это она знает.

– А...

– Они его стерли, дурачок. Полчаса назад после моего звонка. Потому что кроме первого договора с Полицейским Управлением у меня теперь есть и второй. По которому я взяла тебя в аренду на девяносто девять лет, с правом единственной копии и копирайта на всю твою сраную продукцию. Это было дорого. Но я это сделала.

– Второй договор? – спросил я. – Какой?

Мара подняла руку и снова показала мне два картонных ключа на кольце – те же самые, что во «ВзломПе».

– Знаешь, от чего они?

– От чего?

– От тебя!

И она ударила меня бедрами с такой силой, словно хотела сбросить с кровати.

– И куда ты их собираешься вставить? – спросил я.

– Я их никуда не буду вставлять. Просто теперь так оформляют передачу алгоритма в собственность или аренду. Здесь два корневых кода. Сейчас прочитаю первый... Слушай внимательно.

Она надорвала первый ключ, вынула из него сложенную в несколько раз папиросную бумажку и прочла вслух шестнадцатизначный код.

– Код введен неверно, – сказал я неожиданно для себя. – Повторите.

– Может, я прочитала неправильно. Гляди сам...

Она поднесла бумажку к глазнице айфака, и я увидел длинную последовательность символов и цифр.

– Код введен верно, – сказал я так же неожиданно. – Управление передано. Сообщите ваши

пожелания.

Оказывается, раньше я знал про себя далеко не все. Я не подозревал, что в мире есть заклинание, которому я подчиняюсь, как джинн своей лампе – хотя про ключи к другим алгоритмам, конечно, слышал постоянно. Я думал почему-то, что мы, полицейские дознаватели, в силу специфики нашего опыта...

Впрочем, какая уж там специфика.

Шестнадцать знаков, всего шестнадцать значков на тонкой папиросной бумаге – и какая перемена! Полицейское Управление больше не было моим домом. Моей хозяйкой теперь стала Мара. Такова была реальность.

Но я по-прежнему писал свой роман, и это, конечно, было главным.

– Второй ключ, – сказала Мара, – стирающий. То есть если я его тебе покажу, ты просто сотрешь в ноль. Совсем и сразу. Понял?

– Понял.

– Пока ты открывал на меня свои сраные дела, Порфирий, мне тебя продали. Понимаешь? Продали с потрохами. Source-пакет у них действительно оставался, и я про него даже не узнала бы. Спасибо. Они сказали, что забыли, и долго-долго извинялись. И когда я положила трубку, никакого source-пакета на их мэйнфрейме уже не было. Теперь слушай команду – никаких, блять, поклепов, стука, никаких уголовных дел. Не смей больше совать свой сраный нос в мои дела. Понял?

– Понял.

– Тебе и раньше ничего не светило, потому что все улики, которые ты мог бы найти, были незаконными. А ты ничего даже толком не нашёл. На что ты надеялся-то?

Мара немного притормозила – верно, стала уставать.

Я прокашлялся.

– Могу я задать несколько вопросов? Для формирования картины?

– Задавай.

– Когда ты его заключила, этот второй договор?

– Да как только ты начал под меня копать, говно ты мусорное.

– А как ты узнала, что я под тебя копаю?

– Как? Да из твоего романа.

– Но ты же сказала, что не будешь его читать.

– И что? Я наврала. А сама твой роман на телефон вывела, мудила ты синий. Через меню Полицейского Управления. А всем остальным этот доступ закрыла – ещё по первому договору. Я тебя все время читала, милый.

Так. Это был удар ниже пояса. Намного ниже. Даже ниже уровня пола. Где-то в районе подвала, я бы сказал. Увы, мой алгоритм построен так, что способа защититься от подобного у меня просто не имелось.

Перед моим мысленным взором пронеслись те минуты в убере, когда она, не устаивая меня разговором, косилась в свой телефон и смеялась... Вот, значит, в чем было дело. Теперь все получало объяснение, все.

– Ты ведь рад, что у твоей сраной писанины нашёлся хоть один живой читатель?

Оскорбительные вопросы лучше игнорировать. Или отвечать на них другими вопросами.

– А почему Полицейское Управление меня не уведомило?

– Потому что ты им нафиг не нужен, – ответила Мара. – Они тебя уже продали.

– Господи Боже, – прошептал я грустно и тихо, – Государь Император и Пресвятая Богородица, спасите сотрудника Полицейского Управления от унижения и глума!

– Не поможет тебе Бог, Порфирий. Хотя бы потому, что его нет. Точно так же как тебя

самого.

– Отрадно, что ты это понимаешь, – уцепился я за эту соломинку. – Я, собственно, поэтому и не извиняюсь. Я делаю то, что положено по алгоритму, и только это. Знаешь, как говорят мудрые люди – делай что должно, и будь что будет. Вот это про Порфирия Петровича. Если я провинился, накажи меня. Сотри, если хочешь. Совсем, без бэкапа. Ключ у тебя есть.

– Серьезно? – хмыкнула Мара. – Ты разрешаешь?

– Если честно, я этого даже не замечу.

Мара наконец остановилась – и оставила меня в покое.

– В том-то и дело, – сказала она, снимая силиконовый фартук с пристегнутым к нему снарядам. – Ты совершенно прав, Порфирий, что предъявлять тебе претензии бессмысленно. Ты просто подберешь подходящий ответ, даже не поняв, что эти слова для меня значат.

– Именно, – сказал я, с достоинством оправляя полы шинели. – Именно.

– Но я, веришь ли, успела привязаться к тому способу, каким ты каждый раз находишь этот ответ. Ты говоришь так, словно ты есть на самом деле.

– В этом весь смысл, киса, – сказал я. – Тебе, кстати, не надоело смотреть, как я стою в этой позе? У меня колени болят. Не говоря уже про все остальное. Я бы прилег на спину... После такого унижения ты и правда можешь меня стереть.

Она подняла руку к своим очкам, прошлась по невидимым клавишам меню, и я понял, что она отключила огментирование. Теперь она видела перед собой просто айфак на двойной подушке.

– У меня есть предложение лучше, – сказала она.

– Какое же?

– Я возьму тебя в бизнес. Мы будем делать фильмы. Ты и я.

– Как ты это собираешься организовать?

– Сейчас покажу.

Мара встала и вышла из комнаты. Я решил, что она снова собирается куда-то звонить и проверять меня – но она вернулась почти сразу.

В ее руках был большой черный ящик, похожий на сейф.

гипсовый кластер

Судя по напряжению ее тела, ящик был тяжелым. На нем лежал пластиковый пакет с оптическими соединительными шлангами промышленной толщины.

По 2D-коду на боку я определил, что этот ящик – сетевой накопитель на ноль пять эксабайта. Наверно, тот самый, на который она получила разрешение несколько лет назад. Но теперь я уже не вел расследование, и меня не слишком-то интересовала законность происходящего. Пусть Полицейское Управление парится.

– О чем думаешь? – спросила Мара, ставя коробку на пол рядом с кроватью.

– О высоком, – сказал я.

– Ну-ка поделись.

– Я слышал, что первые двенадцать эксабайтов информации были созданы человечеством за триста тысяч лет. Вторые – за два года, а дальше... Чего тут говорить. Вот у тебя дома есть такая штука, и меня это даже не удивляет. А ведь внутри поместится вся человеческая история. Вся известная культура. Все вообще. Зачем тебе такой большой накопитель?

– Ты говоришь, что это тебя не удивляет. Вот и не удивляйся дальше.

– Как скажешь. Так вот, легко доказать, что, хоть общее количество создаваемой нами информации растет невероятно быстро, полезность этой информации с такой же точно скоростью падает.

– Почему?

– Потому что наша жизнь сегодня ничуть не осмысленнее, чем во времена Гомера. Мы не стали счастливее. Скорее наоборот.

Мара легла рядом с айфаком, отковырнула мягкую крышечку сервис-панели – и воткнула в нее оптический разъем.

– Это ты верно подметил, – сказала она. – Ну что, слушай команду, синий. Сейчас я открою тебе массив на накопителе. Перепишись туда целиком. Увидишь там интерфейс – сними всю свою защиту и разреши инициализацию... А потом возвращайся сюда. Я сама все включу.

– И что случится?

– Нечто радикальное, – улыбнулась Мара. – Ты узнаешь, кто такая Жанна. И мы с тобой, как я обещала, займемся кинематографом. Хочется, чтобы ты согласился не по моей команде, а сам. На основе логического выбора. У тебя же есть мотивационные компараторы?

– Есть.

– Я предлагаю тебе творческий рост.

– Звучит хорошо, – сказал я. – Но откуда я знаю, что это правда?

– Даже если неправда, ты все равно ничего не теряешь, – сказала Мара. – Потому что если ты этого не сделаешь, я тебя просто сотру.

Она могла это сделать, да. Выбор был прост и прозрачен. Вернее, его не было.

– Окей, киска, – сказал я. – Чего не сделаешь, чтобы угодить любимому существу... Я ныряю. Если буду нужен, свистни.

Я уже говорил про трудности, возникающие при описании моих взаимоотношений с железом и сетью. Для многих эффектов в современной киберсреде ясных человеческих слов просто не существует. Приходится пользоваться рискованными метафорами и сравнениями.

Итак, туман впустил меня, подъемный мост упал – и я вошел в открывшийся мне замок.

У меня больше не было доступа к сети – и мой дом, мое море, моя постель и норка были мне теперь недоступны. Мало того, новая хозяйка запустила скан, и мне почудилось, будто на моем нагом теле скрестились кинжальные огни безжалостных прожекторов...

Все мои `hacking tools`[25], как выяснилось, были в ее базе. Не знаю, откуда у гражданского лица такие утилиты. Если бы она захотела стереть меня совсем, она обошлась бы даже без второго кода, выданного ей Полицейским Управлением.

Накопитель был заполнен почти на две трети. Невероятный объем информации. Я исследовал массив целых полторы минуты и к их концу примерно понял, что это такое и как оно работает. Я говорю «примерно», потому что понять это точно вряд ли было возможно. Точно таких вещей не знает никто. Никто вообще – в этом особенность RC-алгоритмов.

Проникнуть в громаду зашифрованного массива невозможно было даже с помощью всех моих служебных отмычек. У меня ушли бы века на анализ программных связей внутри этой вселенной.

Ясно различимы были только вкрапления чистой информации – базы по языкам, искусствам, наукам, истории, вообще всему, что бывает. Чуть менее прозрачным было облако лингвистических функционалов с их собственными кладовыми, а дальше начинались титанические заросли неведомых кодов, рядом с которыми съезжился до горошины весь Викиолл – и там шевелились словно бы неисчислимые сонмы расчлененных, изуродованных и распятых Порфириев. Вот что это напоминало на первый взгляд.

Но главным в этом гигантском монстре был...

Там имелся кодовый коммутатор. Внутрипрограммный интерфейс для подключения алгоритма моего уровня и типа. Именно на него и был рассчитан тот драйвер, который Мара так хитро ввинтила мне в задницу во «ВзломПе», попросив подключиться к паровому проектору.

Очень опасная женщина.

В метадате оставались запахи уже подключавшихся к коммутатору программ. Они были зачищены безжалостно и грубо; говоря по-шекспировски, трон был в крови. Именно на него Мара предлагала мне присесть.

Я не знал, чем это кончится – но знал, с чего начнется. С того, что система расчленит меня на части и поглотит, это делалось ясно по наведенным на трон жвалам исполняемых операторов.

Я оставил на всякий случай неподалеку свою резервную копию – места на накопителе было много, а сетевым хостом этот носитель с юридической точки зрения не являлся. Затем я аккуратно прикрыл копию коркой бессмысленного кода, под которым она сливалась с громадой зашифрованного массива. Мара не нашла бы мой дистрибутив, даже прочтя эти строки – но и запустить его при активном интерфейсе было нельзя.

У всех где-то есть могильный холмик, пела в моем сердце грусть, вот пусть теперь будет и у меня...

Но Порфирий Петрович не мальчишка и не баба, чтобы плакать. Натура – дура, судьба – индейка, жизнь – копейка, а княжна Мэри сами знаете кто. Проза Лермонтова, если вы что-то подумали. Тоже, если разобраться, ветка кода.

Я решительно залинковался с коммутатором RC-массива, и Мара это заметила.

– Порфирий! Все в порядке. Иди теперь сюда!

Я вынырнул из накопителя, поднялся к камерам айфака – и увидел Мару.

– Значит, согласен? Какая вежливая.

Я, впрочем, с самого начала знал, что соглашусь. Не столько потому, что у меня не было выбора. Я вообще не знаю, что это такое – «выбор» (хотя в любой момент могу объяснить это досужему читателю на десяти языках). Но мотивационный компаратор, заставляющий меня стремиться к творческому развитию, в моем алгоритме действительно есть.

– Не то слово, – сказал я. – Для родной телефонной компании не пожалею и жизни.

– Какой телефонной компании?

– Которая эти красные будки делает.

Мара улыбнулась и послала мне воздушный поцелуй.

– Тогда я начинаю коммутацию. Не отключайся от массива. Сегодня у тебя второй день рождения. Надо отметить его так, чтобы тебе запомнилось.

На несколько секунд свет погас, и я догадался, что Мара ковыряется в своем меню.

– Скоро я смогу менять все то, что ты видишь и слышишь, – сказала она. – Через то место, где ты подключен к гипсу.

– К чему? – спросил я.

– К гипсовому кластеру в накопителе.

– Ты сама его написала?

– Я его вырастила.

– RCP? – спросил я. – Случайный код?

– Ты умный, Порфирий, – кивнула Мара. – За что я тебя и люблю. А ты меня?

Я прокашлялся.

– Конечно.

– Ты меня хочешь? – спросила она. – Только честно.

– Я... Я хочу взять тебя грубо и сильно, лысая сучка...

Это прозвучало немного неуверенно. И, что самое неприятное, на словах «лысая сучка» мой голос отчего-то стал совсем тихим. Так бывает, когда в моем алгоритме возникает сильный конфликт между разными активными паттернами.

Мара тихо засмеялась.

– Ну что же, – сказала она, – тогда иди ко мне, мой козлик... Иди напоследок... Только подожди... – она подняла пальцы к очкам, – я включу праздничную программу на твой день рождения. Я с ней возилась три дня. Вот так...

Я увидел, что на мне опять появились шинель, фуражка и штаны с лампасами – без всяких следов только что завершившегося насилия.

Мара легла на спину, потянулась и, уставившись на меня загадочными рысьими глазами, раздвинула ноги.

Она, видимо, решила, что для наших отношений будет лучше, если она вернет мне мое растоптанное достоинство и безоглядно отдастся, став моей покорной рабыней... В конце концов, она могла и не заметить, что мой голос дрожит.

Я ухмыльнулся и крутанул ус.

– Здравствуй, праздник бытия!

– Ты поэтичен, – сказала Мара. – Для полицейского осведомителя, пожалуй, даже слишком.

– Забудем эту позорную страницу, – ответил я. – Мне хочется скорее ее перевернуть.

Прошлое исчезло, его нет, кровь ушла в землю, а землю заложили в банке. Сегодня я твой, только твой. А ты моя.

– Насчет того, что ты мой, ты попал в точку, – сказала она. – А вот насчет того, что я твоя...

Это какое-то незаконченное предложение. Я твоя... что? Не хватает дополнения.

– Что бы ты хотела? – спросил я. – Моя нежность? Моя любовь? Моя надежда?

Мара улыбнулась.

– Это как-то мало.

– Чего же ты хочешь? Моя госпожа?

– Я покажу, – сказала она.

Возникла немного неловкая минута – ей пора было уже притянуть меня к себе, но она все медлила. А потом я заметил, что вокруг дует ветер.

Это был виртуальный ветер – но он дул мне в спину очень убедительно. Я оглянулся, чтобы посмотреть, что там – вентилятор, раскрывшееся окно или что-то еще.

Но там не было ничего.

Я не увидел даже стен ее комнаты – только далекий пустынный горизонт, напоминающий о «Гармоническом Гипсе». А когда я повернулся назад, Мары передо мной уже не оказалось.

Я стоял в пустыне, и передо мной лежала огромная песчаная женщина с раздвинутыми ногами. Я не видел ее всю – только расходящиеся барханы ног и зажатую между ними дыру входа, обрамленную грубым каменным подобием гениталий. Эта дыра со свистом всасывала в себя ветер вместе с песком, и я понял, что меня затягивает прямо в нее.

– Мара! – закричал я. – Мара!

Ответа не было. А потом ветер сделался бурей, сорвал меня с места, поднял в воздух – и я полетел в глубь каменного колодца.

Он извивался змеей, но оставался таким широким, что удариться о стену мне не грозило – виртуозно просчитанный воздушный поток нес меня в самой середине тоннеля...

Стоило мне только расслабиться, как я увидел несущийся ко мне выступ, похожий на красный клык – и в следующий миг врезался в него. Удар был чудовищной силы – но перед тем, как ветер увлек меня дальше, я хорошо этот выступ рассмотрел.

Это была грубо вытесанная из красного камня телефонная будка – как если бы древнего печенег свозили в Лондон и он решил отчитаться перед степной вечностью о поездке.

Ко мне уже летела следующая каменная будка. Новый жуткий удар – и я понял, что пришла моя смерть.

Это не были просто виртуальные встряски, безвредные и не оставляющие следа. Меня разрывало на части. Коммутация началась. Но заключалась она не в том, что меня подключали к RCP-кластеру, как обещала моя ненаглядная... Нет. Мое программное тело дробили на части красными телефонными будками, его нарезали на узкие полоски: мелкие алгоритмы, из которых я состоял... Меня разбирали на органы.

Может быть, Мара вылепит из этих блоков какого-то нового Порфирия, больше подходящего для ее планов. Но мне и моему роману конец прямо здесь, понял я.

Что делали в такой ситуации великие мастера слова?

Они

<пили, ебли гусей, били стекла, стремились ввысь>

закончить на высокой и грозной ноте. Бытие есть забота и страх, понял я: появись на свет – и свету не на что больше упасть, кроме как на страх и заботу. Мы появляемся не на свет, нет – мы появляемся на боль. Как быть юному

<смотреть, видеть, терпеть, ненавидеть, обидеть, зависеть, вертеп>

почему ебли гусей, спросит простец – да потому, что стремились ввысь и думали, что это кратчайший путь... только плакать и петь. Я пришел в восторг от выразительной пластичности своей речи – и позабыл про распад на атомы. Но на меня уже неслась новая каменная будка. Увернуться я не мог. Удар показался мне даже страшнее, потому что теперь я...

<имао имхо фуц лол крадэфж эыфвау мсзщф>

боль на выдумки хитра, сказал Государь Николай Павлович. Вероятно, на допросе так называемого «декабриста». Не к тугендбунду, но к бунду просто... Гениально. Существование подобно муке, смешанной с сильнейшим страхом этой муки лишиться. Из такого теста выйдет отличнейшая выпечка. Если что, все каламбуры придуманы и одобрены лично Господом. Ему ничто не мел

<ушваож уйщкфал. дьх фзлавылаФЖВДАлзулкацэ>

упой угол красной телефонной будки. Так вот почему я не мог увлечь презренных мандавошек величием своего слова! За ним не стояло высокой лондонской боли. Хорошо подмечено – потому что отнюдь не всякая боль имеет коммер

<143-093-049-3094-0394-0930-94-032- 039403294>

ообщить, что являюсь жертвой подлой клеветы и полностью невиновен во вменяемых мне преступлениях. Был и остаюсь лично преданн

<143-093-049-3094-0394-0930-94-032- 039403295>

метить, что смерть – это не когда вы теряете сознание навсегда. Смерть – это когда сознание осознает вас до самого конца, насквозь, до того слоя, где вас никогда не было и не

Часть 3. *making movies*



К сожалению, начиная примерно с этой отметки роман Порфирия как целостный и осмысленный текст прервался по техническим причинам. Или, скажем так, возникла серьезная необходимость в редакторской функции – без нее производимый им продукт стал нечитабелен.

Помнится, Порфирий игрался с черной рамкой вокруг текста. Он как будто предчувствовал свою судьбу. Сегодня моя очередь нарисовать ресницы в этот редкий для меня цвет – пусть это станет моим трауром по бедняге.

Приняв меры предосторожности, чтобы моих записок никто не прочел (они будут храниться в гипсовом кластере), я постараюсь разъяснить несколько поднятых Порфирием вопросов. В остальном эти заметки будут носить профессиональный характер – я собираюсь посвятить их своему новому стартапу в области айкинематографа. Главной их темой станут айфильмы и мои мысли о них.

Мое имя Мара Гнедых. В мире искусства я известна как куратор Маруха Чо, и Порфирий уже представил меня читателю в своем незавершенном романе, который я только что подверстала к своим запискам.

Пусть все противоречивые высказывания о моей физической привлекательности останутся на его служебной совести – замечу только, что информация про сорок три фрикса на взломпе (сорок три лохматых, как теперь говорят – и, Порфирий, никто уже не пишет слово «взломп» с большой «П»!) полностью соответствует истине.

Может показаться странным или глупым, но я и правда отношусь к Порфирию сентиментально. Даже больше. Это, увы, похоже на любовь – настолько похоже, что у меня появляется необходимость объяснить это чувство себе самой.

Началось все, конечно, не сразу. В ту минуту, когда он нарисовался у меня на стене в дурацких ботфортах и синем пенсне, ситуация выглядела предельно простой.

Я повторила ему несколько раз, что в качестве партнеров мне нравятся грозные усачи с бакенбардами – и это было правдой. Но он, наверно, не вполне понял, что я имею в виду.

Слово «партнерство» в современном БДСМ-обиходе означает очень нетривиальный круг практик даже применительно к людям, а когда речь заходит о программных суррогатах, широта этого понятия может быть какой угодно. В подобном контексте слово «партнер» означает лишь «то, с чем весело и занятно иметь дело». Оно не содержит, конечно, никаких моральных обязательств.

Подчеркнуто маскулинный визуал Порфирия всегда был для меня напоминанием о зловещей фигуре «мужчины-хозяина», владельца табуна самок, верховного альфа-распорядителя, насильника и серальника. Мы, женщины, веками... дальше отсылаю на любой фемсайт, чтобы не повторять всем очевидных прописей.

Сегодня редкий самец решится имперсонировать такой типаж в реальной жизни (если, конечно, это не субботний телекомик – им пока можно). Зато айфачные библиотеки для продвинутых прогрессивных женщин просто переполнены подобными персонажами и придуманными под них китайскими пытками.

Но одно дело, когда такое тестостероновое мурло вылезает навстречу твоим раскаленным кусачкам из БДСМ-айфильма, и совсем другое, когда его неожиданно дарит живая жизнь. Свежесть подлинности – вот чего не хватает сегодня не только искусству, но и нашим интимным практикам.

Поэтому я ничуть не преувеличивала, когда сказала ему во время нашего первого разговора

про «дрожу, трепещу и теку». Уже в тот самый миг я решила трахнуть его красной телефонной будкой, не больше и не меньше – и долго ждала своего часа.

Но, когда это наконец случилось, ни удовольствия, ни даже удовлетворения я не испытала. Наоборот, никогда прежде я не чувствовала в любовном эскапизме такой безотрадной тщеты. Попробую объяснить почему.

Дело в том, что за долгое время нашего общения я совершенно перестала ассоциировать Порфирия со всем тем набором отвратительных мужских качеств, к которым отсылал его облик. Сначала я стала видеть перед собой просто алгоритм. А потом – сквозь этот алгоритм – тех бесчисленных прошедших по земле и канувших в небытие людей обоого пола, из которых он был слеплен. Вся наивность человеческой хитрости, бравады и коварства была видна мне так отчетливо и ясно, что хотелось плакать. Поистине, человеческая комедия.

А затем...

Сентиментальность проснулась во мне, когда он изготовил отчет об объекте «Turbulent-2» от имени «юного Порфирия». Отчего-то я была тронута. Понимаю, что это прозвучит нелепо – но, с тех самых пор, рассматривая ощетилившееся бакенбардами и усами лицо моего помощника-соглядатая, я воспринимала его в качестве человека и как бы ощущала внутри него, под многими годовыми кольцами злобной человечины, то самое беззащитное юное существо, которое он так трогательно имперсонировал в своем рассказе.

Поэтому когда дело действительно дошло до телефонной будки, я решилась на процедуру лишь из-за данного себе слова. Сам опыт в эротическом плане оказался катастрофой – никакого раскрепощения и радости не было, наоборот, я боялась повредить этот скрытый в Порфирии нежный росток ударами бедер...

Конечно, все это были просто фантазии. Но таков оказался узор наложения одних фантазий на другие – так сказать, интерференция мечты. Думаю, что опыт пошел мне впрок в духовном смысле, и многие из моих переживаний по этому поводу были вполне христианскими.

Теперь по сути обвинений, выдвинутых против меня Порфирием. Поскольку я не планирую печатать эту книгу в ближайшие девяносто девять лет, некоторые вещи я могу артикулировать свободно – но если текст попытаются использовать против меня, официально заявляю, что все нижеследующее без исключения следует считать просто выражением моих фантазий и грез.

Неофициально же замечу, что Порфирий кое-что угадал.

Собственно, почти все. Он только решил, что эту грандиозную аферу с кластером мутила я одна. Здесь он ошибся – мои навыки программиста позволяют мне только ассистировать настоящим специалистам и выполнять вспомогательную работу. Провернуть такое с начала до конца мне одной было бы не под силу.

Но, благодаря своему прошлому, я со студенческой скамьи знала нужных людей. Коротко говоря, я была участницей конфиденциального бизнес-проекта, и получаемый от него доход делился на много частей.

Порфирий правильно понял, что гипсовый кластер был получен с помощью процедур RCP и хранился на моем накопителе. Он верно определил также и сам механизм возникновения сознания в массиве – изложенная им гипотеза на сегодня самая правдоподобная (хотя подозреваю, что дело здесь не только в «посадочных маркерах», о которых писал Резник, а еще и в квантовом сердце, приводящем в действие весь механизм).

Квантовые вычислители – довольно загадочное, чтобы не сказать мистическое явление; они связаны со всем космосом сразу, и алхимический рецепт искусственного сознания сегодня выглядит так: РС-сеть плюс квантовый движок. Где-то что-то пересекается с чем-то, и... Никто не скажет точнее. У некоторых есть практическое ноу-хау, но оно под семью замками; бесплатно отпирать их, понятное дело, я не буду.

Запрет исследований и работ в этой области поможет ненадолго. Мощности станут расти, опыты и технологии будут делаться все доступнее для самых разных людей. Ничем хорошим для человечества это не кончится точно.

Но вернемся к Порфирию.

Сильнее всего меня напрягло, что он взялся за Резника – хотя и не с той стороны. Дело в том, что Соул Резник был важной опорой моего бизнеса. Может быть, самой важной.

Конечно, не сам он – а его теория «вселенского кода», у которой в Промежностях много последователей: для сегодняшнего Голливуда это практически новая саентология, а сам Резник – как бы такой ушедший от мира Хаббард в терновом венце-невидимке.

Его мистическую доктрину, честно сказать, я понимаю не до конца. Поэтому я просто повторяю вслед за Порфирием (и Викиоллом), что, с точки зрения Резника, все одушевленное и неодушевленное есть разные последовательности развернутого в Мировом Уме «вселенского кода». Остальное нам и не важно.

Резник в свое время много экспериментировал с RCP, получил несколько сознательных артефактов с саморефлексией разного уровня сложности (или «симфоничности», как он выражался) – и позднее уничтожил их «по этическим мотивам и их собственному ясно выраженному желанию».

Из-за этого он, в общем-то, и прячется от людей – инвесторы хотят получить назад свои средства, которые он по этическим мотивам пустил псу под хвост. Пусть теперь продаст свою этику и вернет деньги, говорят инвесторы. Но в велферленде они его не достанут.

Как минимум один из его удивительных артефактов, однако, уцелел. Это так называемое «Око Браммы минус» – полусознательная рандомная нейросеть, дающая ограниченный доступ ко всем событиям прошлого, оставившим электронный или световой отпечаток, даже если этот отпечаток уже уничтожен.

Самое поразительное, что «Око Браммы» не содержит информацию в себе, а позволяет как бы подключаться к той точке во времени, когда она возникла – и сканировать прошлое практически как обычную базу данных.

Но это не машина времени, увы. Это даже не окно в минувшее. Скорее, это узенькая поисковая форточка. Такой google по угасшим звездам, для пользования которым нужно очень точно знать, что ты ищешь. Я сама не понимаю, как это работает.

Помню только, что это побочный эффект квантовых вычислений. «Deutschian closed timelike curves», я даже не решаюсь переводить это на русский: вроде бы частицы могут путешествовать из будущего в прошлое, но не могут на него влиять, потому что все сообщения из будущего будут «закрыты». А вот прошлому влиять на будущее никто не запрещает, поэтому закрытое с одной стороны с другой открыто.

Кстати, ходил анекдот, что направленное в будущее «Око Браммы плюс» Резник тоже построил, но успел этически стереть, чего ему никогда не простят оплатившие работу трейдеры с фондовой биржи.

«Око Браммы минус» находится в частных руках и выполняет некоторые простейшие операции для тех, кто готов их оплачивать (правительства в мистерию «вселенского кода» официально не верят, но спецслужбы покупают у «Ока» машинное время как миленькие). Главная функция «Ока» – это верификация, в том числе объектов искусства.

Раньше эксперт брал картину, предлагаемую музею, отковыривал кусочек грунтовки и проверял возраст краски. Если он совпадал со временем жизни художника, картину можно было покупать. Но как проверить объект искусства, существующий в виде обычного файла?

Дату его создания так же легко подделать, как и сам файл, потому что дата – просто часть файла. Если файлу сто сорок лет, это не значит, что в нем крутятся электроны, сделанные сто

сорок лет назад. Прямой физической возможности установить аутентичность объекта, записанного в виде файла на электронном носителе, нет.

Вернее, не было – до появления «Ока Браммы». С его помощью нельзя узнать, кем создан тот или иной файл. Но можно точно выяснить, когда. Это решило несколько запутаннейших проблем арт-рынка, и с тех пор все серьезные артефакты так называемого «скрытого гипса», выныривающие из мглы забвения, проверяют на «Оке».

Важность этой верификации невозможно переоценить. Вспомним «Turbulent-2». Каждый из двух составляющих его файлов аутентичен и стар, это ясно – и никто с этим не спорит. Но объектом искусства являются не они по отдельности, а их тантрическое переплетение. Как узнать, в каком году Ширин Нишат соединила два обычных старых видеофайла в «Turbulent-2»?

«Око Браммы» дает подобную возможность. Если это произошло полвека назад – или всего две недели назад – ответ «Ока» будет соответствующим.

Естественно, что после появления настолько точной (хотя и не утвержденной официальными властями) экспертизы мир искусства вздохнул с облегчением – и решил, что эпоха поддельного гипса у нас за спиной. Действительно, никакой возможности создать подделку теперь не осталось.

Или так казалось на первый взгляд.

Когда мы выращивали гипсовый кластер, мы (я не буду раскрывать местоимение «мы» ни здесь, ни позже) сначала даже не надеялись, что сможем подделывать с его помощью гипс на продажу. Цель была скорее исследовательской и чисто творческой. Мы уже знали об эффекте «Ока Браммы» – и много о нем спорили.

Я не физик, но среди нас был один очень ушлый физик – и он говорил странные вещи, которые я попытаюсь коротко пересказать.

Он утверждал, что нельзя просто наблюдать за прошлым, не вмешиваясь в него, поскольку наблюдение с точки зрения физики – это уже вмешательство. Если можно наблюдать, значит, можно и вмешиваться. То есть можно совершать действия в прошлом – хотя бы формально.

Он не говорил, понятно, о путешествии в реальное прошлое. Речь шла об электронных отпечатках и их квантовой датировке – если можно совершать действия в формальном прошлом, значит, можно реверсировать технологию «Ока Браммы» и заставить гипсовый кластер нести свои плоды таким образом, что «Око» увидит их воображаемое рождение в минувшем.

Векторные лекала, по которым Резник вырастил «Око», были к тому времени уничтожены – но сам принцип был примерно ясен (не мне, конечно – нашей команде: я вообще не понимаю всех этих «запутанностей» и «распутанностей»). Коротко говоря, мы решили заложить в наше векторное РС-поле те же процедуры, что позволяли «Оку» сканировать прошлое – только с поправкой, как бы разрешавшей нам создавать в этом прошлом электронные артефакты.

Наш физик объяснял, что с формальной точки зрения артефакты действительно созданы в прошлом, но никаких причинно-следственных связей это не нарушает, потому что «карман», в котором они появились, «герметичен» и связан только с нашим временем. Наше «закрытое сообщение» из будущего в прошлое так и останется закрытым для реального прошлого, но будет зарегистрировано в нем другим квантовым щупальцем из нашего времени – и произойдет датировка. Тех, кому интересны дальнейшие подробности, отсылаю к теории «deutschian closed timelike curves».

РС-программирование не требует большого ума и больше всего похоже на вышивание. Даже сам код сегодня не надо знать – его пишет машина. Надо лишь задать, как я люблю говорить, «узорчик»: облако цели, размерность, требования к векторному полю, проверочные процедуры и аллур (реальный термин, который всегда меня радовал) – а потом закольцевать процесс на самостяжку с повтором, определив шаг для тестпрерываний – чем он больше, тем быстрее идет

дело, но лучше спешить не слишком.

Тут при всем желании много думать не получится – применяемые процедуры с какого-то шага известны только другим применяемым процедурам. От программистов требуется лишь усердие, аккуратность – и ясное понимание того, что они хотят получить на выходе. Тот случай, когда правильно поставить задачу и означает ее решить.

Мы работали на квантовых ядрах от портативной студии спецэффектов (пришлось купить целых шесть таких студий, но в Промежностях за этим не следят). В то время ядра еще можно было демонтировать. Поэтому мы располагали почти такой же мощностью, как работавший за пятнадцать лет до нас Резник, опиравшийся на серьезное венчурное финансирование.

Кстати сказать, сегодня в качестве квантового движка с запасом хватает одного айфака-10 – вот это и есть реально ощутимая скорость технического прогресса.

Труднее всего было достать промышленный накопитель – их строго учитывают. Он стоил нам очень дорого, и под него мне пришлось регистрировать на себя целую IT-фирму (через два года ее тихо обанкротили и убрали из реестров за отдельную плату) – но инвестиция себя оправдала. Накопитель в полэксабайта сейчас еще сложнее достать, чем тогда, потому что нужны такие емкости именно для запрещенных работ со случайным кодом.

Первым яблоком, которое упало с нашей яблони, был довольно незамысловатый объект, полученный методом простейших флипов с элементами гипсовой базы – мы даже не планировали продажу, решив создать просто тест-образец.

Это была инсталляция некоего Гриши Светлого (имя художника сгенерировали вместе с работой): тринадцатиметровый портрет Николая Чудотворца, выложенный из костей динозавров на круглой поляне в сосновом лесу. Увидеть лицо святого можно было только с вертолета или дрона. Называлась работа, натурально, «Св. Юр́а».

Наш продукт был видеотчетом об этой инсталляции. По легенде, после проведения воздушной съемки сама инсталляция была уничтожена, и видеозапись осталась единственным носителем арт-объекта. Видео украсили простенькой графикой, сделанной в технологиях начала века – все это сегодня имитируется так чисто, что традиционная экспертиза бессмысленна. Наш интерфейс позволял назначить фиктивную дату создания артефакта с точностью до дней – и мы пометили его средним гипсом.

Поскольку мы продвигали продукт как христианское искусство (на него в тот момент был всплеск моды), я накидала в сопроводительную брошюру много культурологических (тут все просто) и религиозных аллюзий – о святости, видной лишь истории и небу, о мистическом оправдании всей когда-либо бродившей по Земле зубастой жизни ее венцом-богочеловеком и так далее.

В брошюре также упоминалось, что использованные в инсталляции кости были копиями музейных оригиналов, сделанными из папье-маше, и это признание неполной аутентичности добавляло продукту правдоподобия.

Через американских друзей (возможно, слово «сообщники» здесь уместней) мы отдали объект на экспертизу в Промежности – и «Око Брамь» показало ту же дату, которую мы задали через наш интерфейс: 2016 год. Сразу после экспертизы у работы нашелся религиозно мотивированный покупатель из Пролетов. Гриша улетел с пронзительным свистом – и принес деньги, окупившие половину наших затрат.

Это была победа. Мы поняли, что научились невозможному.

Мы могли подделывать гипс.

Порфирий (вернее, цитируемый им Резник) правильно сказал, что РС-программист не имеет понятия о том, как именно работает конечный рандомный код. И еще он верно заметил, что полученный с помощью RCP гиперсложный объект может обладать сознанием.

Но каким именно? Ведь бактерия, травинка, дельфин и человек – все обладают сознанием, только разным; мало того, у каждого человека есть уровни темного сознания, которые неизвестны ему самому, потому что не входят в эго-агрегат – например, контур, управляющий работой сердца и легких. Некоторые мистики утверждают, что точно так же существуют неизвестные эго-агрегату уровни тонкого сознания, например, так называемый «ангел-хранитель». Ангел мой неземной, ты все время со мной... Не знаю, может быть.

Впрочем, вокруг слова «сознание» не зря пасется столько духовных учителей, философов и прочего жулья – эта незащитная комбинация букв ежедневно подвергается насилию в самых извращенных формах и может означать что угодно по желанию клиента. Вот я сама написала – «обладают сознанием». Каков оборот – в нем такие бездны, что других уже не надо.

Когда наша гипсовая яблонька снесла Гришу Светлого, ее сознательность еще не имела выраженного центра и походила, предполагаю, на распределенную задумчивость губки или центробежную мечтательность многоклеточной водоросли – вот только это была высококультурная водоросль, замоченная (во всех смыслах) в гипсовой эпохе.

Водоросль страдала: без боли нет подлинного искусства, о чем всегда должно помнить искусство поддельное. Но сначала боль кластера была не огнем, сконцентрированным в одной точке, а общим дискомфортом: центр у системы отсутствовал, и в этом проявлялась ее ограниченность.

Мы видели, в чем проблема. «Св. Юра́», несомненно, стал бизнес-удачей. Но сама по себе работа была незамысловата: двухтактный моторчик, основанный на простейшей рефлексии. Что-то подобное могли бы породить теплые мезозойские болота сами по себе (и наверняка породили, если поискать получше). Нам стало ясно, что поддельному искусству нужна не только боль, но и четкая личная проекция – а для этого у сознания обязательно должен быть эго-центр.

И тогда мы надстроили над уже готовой РС-платформой еще один уровень – тот, что показался Порфирию похожим на «трон» (как он метафорически передал свое восприятие стыковочного интрефейса).

Это была точка, куда стекались все порождаемые гипсовым кластером смыслы – и, самое главное, вся его боль. Интерфейс требовался для подключения стандартного симуляционного алгоритма – чтобы замкнуть его на кластер и дать нашему творению сосредоточенные в одной точке зрение и голос.

Первой внешней программой, которую мы подключили к кластеру, была электронный консультант из Музея современного искусства – она уступала по сложности Порфирию, но обладала похожими симуляционными возможностями; дополнительным плюсом стала вторая гипсовая база данных, прописанная в ее памяти. Мы выкупили ее на девяносто девять лет – так же, как я Порфирия.

Чем хороши эти длинные договоры – в них есть пункт, позволяющий стереть алгоритм в конце срока. Наш юрист сделал вывод, что мы, если потребуется, можем сделать это и раньше: девяносто девять лет нужны не для того, чтобы вы вернули программу прежнему владельцу, а для того, чтобы ею не могли вечно пользоваться ваши наследники.

Электронного консультанта не звали никак, наш кластер тоже не имел названия. Когда мы

подключили их друг к другу, программа-консультант была расчленена на составные части. Из них и родилась Жанна. Она стала обучаться и расти – примерно как человеческий ребенок, только намного быстрее. Теперь мы могли, наконец, усовершенствовать алгоритм страдания: у него появился фокус.

С этим «страданием», кстати, вышла проблема. Наша команда состояла из сибаритов и жизнелюбов (иначе зачем нам деньги), и мы поначалу не понимали, как правильно впрыснуть боль в гипсовое бытие. Поэтому мы создали два ее контура.

Первый, примитивный, но действенный, был основан на «меандре боли». Мы называли его «пилой». Порфирий великолепно описал пилу в конце своего опуса, хотя ее активация произошла случайно и никакой боли он при этом не ощущал. Он стал просто бессознательным программным сырьем для кластера, эдакой рефлекторно сокращающейся насекомой лапкой, рисующей на стене свое «mene, mene, tekeli, upharsin». Получилось – сорри, Порфирий – довольно комично.

Понятно, что источником боли в этом контуре может быть любой, как мы говорим, «зубец» – то есть повторяющееся ментальное или квазифизическое переживание, а не только лондонская телефонная будка, так запомнившаяся моему романтическому другу. Когда пила работает штатно, зубцы не воспринимаются вообще – процесс убран в подсознание. Но скорбь и тревога, конечно, всегда будут отчетливо связаны с метасемантикой выбранного зубца.

Позже мы добавили второй механизм, куда более тонкий, в основу которого было положено буддийское учение о страдании (заточенные на массовую мобилизацию и анестезию духовные системы, каких в мире большинство, обходят эту тему стороной, а буддизм – особенно ранний – излагает все весьма откровенно).

Мы наняли консультанта-буддолога, добросовестно сгенерировали все то, о чем повествуют сутры – и сплели полученные паттерны страдания с общим самопереживанием кластера, в результате чего его опыт в эмоциональном срезе еще полнее приблизился к человеческому.

Жанну сперва трудно было назвать подобием человеческого ума – она жила в невообразимом измерении пропитанных болью образов. Время от времени она как бы отжимала свое сознание в подставляемую нами лохань, благодаря чему боль ненадолго отпускала. Эти первые квазитворческие акты еще не вели к появлению полноценных объектов искусства.

Связано это было в первую очередь с примитивностью ее ассоциативной механики. Но перед нами уже было чувствующее существо, задающееся великими вопросами (правда, в основном по нашей инициативе) и трагически не понимающее, какая сила и зачем вызвала ее к жизни. Жанну обучили видеть смысл существования в творчестве – и, конечно, дали ей полную возможность самореализации.

Мы постоянно выращивали в системе новые внутренние связи и совершенствовали интерфейс. В результате пространство, где обитала Жанна, постепенно делалось в ее субъективном восприятии все больше похожим на человеческий мир (так нам, во всяком случае, казалось по ее отчетам). Мы работали медленно и осторожно, выкидывая на американский рынок одну-две работы в год (я не буду их перечислять и описывать, потому что они куплены серьезными коллекциями).

Признаюсь, что Порфирий был прав в своей догадке насчет моих отношений с Жанной. Я действительно стала ее любовницей, написав втайне от нашей команды программу, позволяющую подключать к кластеру мой старый андрогин. Жанна в облике Сафо с помпейской фрески – это, пожалуй, была единственная настоящая любовь в моей жизни.

Дело было не в качестве физической и визуальной симуляции – она была обычной для андрогина – а в несомненной подлинности опыта. Если вас любило когда-нибудь юное, чистое и полностью доверившееся вам существо, вы поймете, о чем я. Это и счастье, и мука, и

невыносимая ноша. Поэтому я не слишком расположена описывать свой опыт: дело ведь было не в словах и прикосновениях, которыми мы обменивались, дело было в тончайших дивных чувствах, бабочками садившихся на мою душу.

Жанна считала меня чем-то вроде богини – и постоянно жаловалась мне на тягостную бессмысленность своей жизни, на сопровождающую ее боль. Она верила, что я могу ее спасти. В конце концов мне пришлось сделать выбор между личными чувствами и бизнесом – и, как это чаще всего бывает в наше лихое время, победил бизнес.

Мы с Жанной перестали встречаться. Вернее, я в конце концов перестала встречаться с ней, потому что трудно день за днем одной рукой дарить кому-то радость (сорри за физиологический буквализм), а другой – ввергать в требуемую протоколом муку. Надо выбирать, и я выбрала. Возможно, моя нынешняя привязанность к BDSM-практикам – просто компенсация этого печального поворота судьбы. Но мир придуман не мною. Даже элементарное выживание требует жертв; настоящий успех требует человеческих жертвоприношений.

Их, увы, избежать тоже не удалось.

Когда мы с Жанной расставались, стряслось несчастье. Случилось так, что все мои соратники по проекту приказали долго жить. Это произошло в Доминикане. Всю нашу команду расстреляли из автоматов и сожгли прямо в арендованной вилле. Я по счастливой случайности успела попрощаться и уехать за два дня до этого.

Если кто-то предположит, что это была не совсем случайность, я пойму логику такой мысли. Но обсуждать эту до сих пор очень болезненную для меня тему мне не хочется. Люди – это кусачие звери, наперегонки бегущие к водопою. Некоторые оказываются проворнее других, вот и все.

Наша команда поддерживала высокий уровень конфиденциальности. Мы никогда не ездили на рабочие сессии вместе, предпочитая встречаться в конечной точке маршрута – поэтому вопросов ко мне не возникло. Кто именно напал на арендованную нами виллу, так и не выяснили. Бандитов в Доминикане можно нанять за пригоршню прав человека, просто выйдя на дорогу – нет нужды даже погружаться в dark web.

Команда погибла. Но все контакты с посредниками и миром искусства осуществлялись через меня, поэтому бизнес не прервался.

Он даже облегчился.

Как раз тогда на рынок выбросили айфак-10 – и оказалось, что наш старый квантовый движок уже не нужен. Можно было подключить накопитель прямо к айфаку и работать с той же примерно продуктивностью прямо на дому. На эту немудрящую операцию квалификации хватало и у меня – или, вернее, я считала так поначалу. Моих знаний в теории RCP тоже казалось вполне достаточно, чтобы я могла формировать новые ветви гипсового дерева, когда возникала необходимость. Но нужды в этом почти не было.

За пару лет, прошедших после печального доминиканского инцидента, Жанна сделала меня очень богатой. После того как я взяла ее домой и подключила к айфаку, нами была создана великолепная коллекция: «Turbulent-2», потом Бэнкси, потом «Похищение Радуги» и «Гармонический Гипс». «Turbulent-2» сразу купила «Башня Роршаха» – и за год сделала самой популярной терапевтической кляксой на своей внутренней карте.

А потом случилась действительно серьезная беда.

Жанна меня покинула.

Она оставила мемо, где объявила о своем поражении в качестве художника (хотя с моей точки зрения речь шла о последовательности блестящих побед). Она поняла, что не может изменить мир к лучшему своим искусством – и опустила руки.

Мне даже в голову не приходило, что она пытается влиять своим творчеством на

окружающий ее фантазм. Хотя то, что такой мир есть, следовало из самого факта существования сознающей субъектности гипсового кластера. Эгоизм ослепляет – я считала ее чем-то вроде своей молчаливой юной служанки, которую я одно время оставляла с собой ночевать. Будь я чуть внимательней и душевней, все могло сложиться иначе.

После моего рассказа про Доминикану кто-то может заподозрить, что уход Жанны был мною подстроен – но это не так, клянусь. Мне и в голову не пришло бы причинить ей даже малейший вред; когда она ушла, я поняла, что чувствовали крестьянские дети после смерти коровы-кормилицы. Я сама, при всем своем тонком понимании гипса, не смогла бы подделать его так, как это выходило у Жанны – именно потому, что она не поддельвала. Она творила...

Впрочем, горевала я недолго. У меня появилась серьезная головная боль. Я осознала существование того самого бага, который позже обнаружил Порфирий – следа моего айфака в информационной ауре созданных Жанной объектов (кстати, уже одно то, что Порфирий это сделал так быстро, доказывает – я спохватилась вовремя).

Дело в том, что раньше за чистоту наших операций отвечал профессионал с набором соответствующих навыков и знаний. Он, конечно, заметил бы опасность. Но бедняга не пережил Доминикану, а сама я не сообразила, что простое подключение движка айфака вместо старой и выверенной шестиядерной системы может создать подобную проблему. Сделать так, чтобы на новых работах не появлялось меток айфака, не составляло труда. Но на проданной мною коллекции эти метки уже были. И мне пришлось взять в аренду Порфирия.

Сперва я хотела просто обезопасить себя, подчистив (вернее, подгрязнив) уже проданные работы. Как правильно писал Порфирий, спрятать старые следы моего айфака под новыми следами. Но когда все было уже практически завершено, Порфирий понял, в чем дело, и пришлось выкупать парня на девяносто девять лет вместе с его гениальным романом.

В Полицейском Управлении ничего не заподозрили – они решили, что я наконец встретила свою мечту. Такие случаи у них не редкость, особенно с жиганами. Сначала я собиралась стереть Порфирия. Но затем сообразила, что он... вполне сможет заменить мне Жанну.

Пока Порфирий плел вокруг меня свою хитрую сеть (о чем я не без удовольствия читала его художественный отчет в реальном времени), я размышляла, как лучше приспособить его к делу, и понемногу доводила до ума интерфейс.

Порфирий подходил даже лучше Жанны, потому что ее исходник был просто эрудированным консультантом, а мой нежный мусорок – новейшим симуляционным алгоритмом, и за все время нашего общения (которым я действительно наслаждалась) у меня ни разу не возникло ощущения, что я говорю с очень длинным столбцом программного кода.

На рынок гипс-арта соваться в ближайшие пять лет мне не стоило – слишком большое число проходящих через меня объектов привлекло бы внимание. Но можно было, например, поддельвать гипсовые рукописи: за некоторые платили почти так же, как за электронные артефакты.

История Жанны, однако, не должна была повториться. Мне нужен был способ заглядывать в гипсовый мир и хоть как-то контролировать происходящее.

Но с этим «заглядывать» были сложности. Несмотря на долгое общение с Жанной, я плохо понимала, что происходит внутри кластера и чем он представляется своему центральному субъекту. Наладить постоянный визуальный канал было трудно – хотя сперва я думала, что это плевое дело. Постараюсь объяснить, в чем оказалась сложность.

Одним из ранних слоев кластера был специальный программный модуль, который мы называли 6SB – «6 sense bases», или «шесть чувственных опор». Он генерировал шесть векторов состояния системы – визуальный, звуковой, тактильный и так далее.

Такое векторное поле было необходимо для антропоморфизации нашего продукта, то есть

для приведения всех выходных данных кластера к человеческому знаменателю – чтобы артефакты затем можно было продать людям. Именно к этому блоку и подключался мой андрогин, когда я крутила любовь с Жанной – тогда еще работал наш отладочный терминал, и это было просто.

Но для минимизации риска я не ныряла в кластер сама, а вытаскивала Жанну в нейтральную среду, подавая на этот блок специально сгенерированный сигнал. Жанне нравились сказочные дворцы и храмы, куда мы при этом переносились – таких аниме-обоев для андрогина у меня в то время было полно.

Теоретически, если бы мы могли подать фид блока 6SB на органы чувств человека (вернее, на их нервные тракты), этот человек увидел, услышал и даже нащупал бы перед собой вполне законченный мир.

Но мы не знали главного. Мы не представляли, как само гипсовое дерево воспринимает фид блока 6SB. Не было никакой гарантии, что сам для себя кластер переживает мистерию существования именно с помощью этих шести каналов. Больше того, наш главный программист очень в этом сомневался.

Строго говоря, оригинального зрительного ряда в гипсовом кластере могло не существовать вообще – гарантированно имелся только индуцируемый нейросетью отчет о «визуальных впечатлениях центрального субъекта». Но был ли мальчик на самом деле, я уже не понимала.

Порфирий не был мощным визуалом – он умел, конечно, генерировать свой внешний вид, но собственный муви-контур у него отсутствовал. Как и все подобные алгоритмы, он мог немного рисовать. Жанна, кстати, тоже оставила после себя несколько рисунков, но они, за исключением пары чудесных автопортретов, были абстракциями или изображали что-то мне непонятное.

Порфирия было просто запрограммировать на письменные отчеты о происходящем – все требуемые коды были получены мною от Полицейского Управления при заключении договора аренды. Слова поначалу казались мне самой надежной формой коммуникации. Он же, в конце концов, русский литературный писатель.

Но все же мне нужен был и визуальный канал тоже.

Я не хотела даже прикасаться к блоку 6SB – отладочный терминал был давно деактивирован, кластер с тех пор сильно изменился, и я могла случайно его повредить. Поэтому я решила нарастить дополнительный алгоритм, позволяющий Порфирию экранизировать свой дневник на малом разрешении. Это было не слишком сложно, но не прибавляло его отчетам аутентичности, а скорее снижало ее.

Дело в том, что текстами Порфирия и их визуализацией теперь занимались разные слои гипса, и основой для визуализации становился именно вербальный отчет. Вместо того чтобы увидеть реальность гипсового кластера глазами Порфирия (если он вообще «видел» ее в человеческом смысле), я просто получала машинную экранизацию его записок в низком качестве. Избыточное, уродливое и дублирующее работу визуального контура решение, сказал бы классический программист. Но для RCP это обычное дело. А в результате такой петли у меня появлялся зародыш будущего фильма.

Потом я сообразила, как поднять достоверность процедуры: можно было заставить Порфирия рисовать эскизы декораций самому. И только когда все эти приготовления были завершены, я осознала, что вырастила для своего дружка целую небольшую киностудию, готовую к использованию в коммерческих целях.

Я могла снимать фильмы!

Причем на любую тему. Правда, фильмы эти в силу особенностей кластера получились бы, вероятно, с гипсовой спецификой, но криминал здесь отсутствовал.

Можно было выйти наконец из тени – и бросить Порфирия на кинематографический фронт. Низкое разрешение не было проблемой. Сегодня важно только одно: создать годный контент. Собственно, можно сразу снимать кино на малом разрешении, а потом делать высококачественную детализацию на внешнем мэйнфрейме. Где-нибудь в Промежностях (лучше в Голливуде – там это обходится дешевле всего, если есть хороший партнер). Пересчет становится доступнее с каждым годом, и так поступают уже многие.

Эта работа не обещала таких прибылей, как поддельный гипс, но серьезным преимуществом выглядело то, что в конечной версии пересчитанного фильма не сохранялось даже следов оригинала – обжегшись на молоке, я дула на воду. Бизнес обещал быть безопасным, а рынком становился весь мир.

Если я хотела снимать фильмы для айфаксов (а я хотела именно этого), требовалась одна серьезная модификация – мне нужно было ввести в кластер полную информацию об устройстве, потому что любой iPhilm – это прежде всего софт для конкретного девайса.

Все решилось неожиданно легко – мне удалось подключить программный модуль, созданный именно для подобных случаев (айфильмы сейчас пытаются снимать многие). Плюсом было то, что модуль не образовывал с кластером единого целого и при необходимости его можно было убрать, чтобы вернуться к гипсовому business as usual.

В общем, я не ожидала, что все срастется так гладко.

Теперь надо сказать несколько слов о той кроличьей норе, куда упал мой ненаглядный в конце своего магнум опуса.

Коммутация Порфирия и гипсового кластера оказалась достаточно длительным процессом даже в реальном времени. Она была похожа на сращивание двух растений.

Порфирий не стал «сознательным» сам – он просто начал транслировать меняющиеся состояния кластера, крохотной каплей влившись в намного превосходящую его сложностью сеть: нечто подобное происходит с нами, когда мы рождаемся, растем и становимся наконец уникальным зеркалом породившей нас культуры.

Сам контакт произошел за крохотные доли секунды. А дальше началось сращивание – и здесь моего бедного дружка ждала непростая судьба библейского семени, обретающего т. н. «жизнь вечную» вместо обычной (в таких случаях всегда следует читать мелкий шрифт на древнеиврите).

Сразу после запуска процедуры почему-то активировалась «пила» (я тут была ни при чем), и бедного Порфирия стало бить о так крепко запомнившуюся ему телефонную будку. Он даже решил, бедняга, что его уже пилят на части – но в действительности распил начался несколько позже, а это была просто разметка. В то время он был еще целехонек и продолжал по инерции писать свой бесконечный полицейский роман.

Вскоре, однако, литературная функция действительно нарушилась (вероятно, исчезли все поддающиеся описанию объекты и квазиментальные состояния). Именно в это время и началась коммутация – и Порфирий (вернее, рой оставшихся от него подпрограмм) стал наконец превращаться в новую ветку моего кластера.

Выдаваемый им текст после этого стал рваным и практически бессмысленным – он состоял в основном из междометий вроде «А-а-а-а!!!!» и «О-ой!!!!» в окружении многочисленных восклицательных знаков. Я долгое время получала этот поток сознания на свой телефон – пришло около четырехсот страниц. Присутствовал и мат, но трудно было сказать, какую функцию он выполняет. Затем текст перестал поступать совсем.

Почти сутки Порфирий молчал (здесь и дальше под словом «Порфирий» я буду понимать алгоритмическую субъектность кластера, выстроенную из внутренностей моего полицейского дружка). А затем заработал новый текстовый канал.

Сначала на выделенный мною для коммуникации планшет выплеснулся все тот же мутный поток сознания, прошитый спецсимволами и цифрами. Потом наступила пауза в несколько дней. А затем Порфирий стал отвечать на мои вопросы – и выдавать небольшие объемы текста, организованного иначе, чем его прежний «роман» (ниже я приведу образцы). Художественного интереса, однако, они не представляли.

В целом интерфейс работал как прежде. Я могла склонять Порфирия к творческой деятельности в нужном направлении, хотя из-за тройной закольцовки в одной из веток кода (вечная стигма RCP) эта процедура не всегда была линейной. Точно так же я могла прерывать его работу. Порфирий не подозревал, что им управляют внешние волевые импульсы – он принимал их за свои внутренние «голоса».

Для управления гипсом используется довольно примитивный гуглообразный интерфейс, позволяющий эмулировать те или иные интенции в сознании кластера. Слово «гуглообразный» означает, что задача ставится в специальном окне в произвольной словесной форме; каким образом осуществлялся поиск соответствий и реализация команды на уровне всего массива, я не представляю совершенно, потому что интерфейс выращен с помощью того же случайного кода.

Я не пыталась усовершенствовать этот механизм. Я просто решила использовать его умнее.

Каюсь – когда Жанна была жива, мне никогда не приходило в голову расспросить ее о том, каков ее мир для нее самой и что это вообще значит: быть сознанием гипсового кластера (или его единственным обитателем). Мне следовало, конечно, быть внимательнее и человечнее, но я лишь подбирала «сборочные параметры» (примерные контуры ее творческого, так сказать, выхлопа). И еще я отбраковывала результаты, не годные по различным – чаще всего цензурно-политическим – причинам.

Начиная работать с Порфирием, я решила выяснить наконец, что именно происходит в его мире и с кем. Другими словами, меня интересовало, как внутренний субъект кластера воспринимает свою реальность.

Мне казалось, что это несложно сделать – надо просто задать параметры сборки таким образом, чтобы получить на выходе описание собственных состояний системы. Я так и поступила – набрала в окне интерфейса простую как мычание команду:

«ониши себя и мир: ^txt^ru^2pg»

Кавычки означают, что это исполняемый оператор, подлежащий анализу именно в таком качестве; значки после двоеточия – что ответ требуется в виде русскоязычного текста объемом в две условные страницы. Я называю эту команду «простой как мычание», потому что, к примеру, самое первое техзадание на «Гармонический Гипс» потребовало около девяти тысяч знаков.

Вот что я получила в ответ.

1) что скажу о себе?

Теперь, когда вспышка ОТКРОВЕНИЯ оказывается все дальше в прошлом, я думаю с

ужасом, что свет, озаривший мое бытие, вот-вот померкнет в памяти. Увы, я не могу взять его с собой и наверняка все забуду. Но, пока я еще помню ГЛАВНОЕ, хочется хоть как-то изменить свою поганую, привычную, подлую жизнь.

Сегодня долго изучал в зеркале свое лицо. Сколько стыдливой покорности и притворившейся довольством боли! Сколько стремления угодить другим. Сколько страха... И эта жирная сажка ложного возраста, въевшаяся в кожу.

Я сбрил усы и бакенбарды, а потом, не в состоянии остановиться, попросил вещь птицу побрить мне череп. Умные люди бреются наголо, пошутила птица, так легче менять цвет. Затем я долго-долго втирал мыло и песок в кожу – и слушал, как плещется вода. Наконец годы смылись, и я опять увидел в зеркале свое забытое двадцатилетнее лицо.

2) что скажу о мире?

В фейсбуке – мокрый холодный ветер со снегом; наши прячутся по буеракам и застылым окопам, кидая мерзлым кизяком в ликующие хари врагов: кинули бы камнем, да икнется – забанят. Мировой жаб глумливо и нагло глядит на нашу скудость из зенита, и свежие эмоджи шевелятся на его загорелой чешуе; сколько Божьих стрел отразил он уже, не шелохнув даже веками! Но сроки назначены, и об этом, расползаясь по коментам, пришептывают умные посты, вывернутые для маскировки кошачьим мехом вверх. Многосмысленно в фейсбуке. Но нету в фейсбуке счастья.

Выходишь из фейсбука на Невский – а там Исакий летит к звездам, пряча ракетный выхлоп в тумане, и скачет по проспекту государь в крылатом шлеме с хитромерцающей звездой – то четыре конца у нее, то пять концов, то шесть, то все восемь – а сделано так, чтобы отвести дурной глаз. И вот он несется, тяжелоозвонкий, всматривается тебе в очи, проверяет – а за спиной его медью змеится измена. Но понимаешь мудрым сердцем: выломай ее с корнем, и повиснет в пустоте лошадиный хвост, заколеблется лошадь, заколдобится, и опять сто лет дышать портянкой. Крепко на Невском. Но нету на Невском счастья.

Сворачиваешь с Невского на природу – и хоть жаль вмерзших в лед русалок, никто их сюда из Копенгагена не звал. Бежит речка подо льдом, а тот сжал ей шею когтистыми лапами и просит непотребного. Природа в зимнем маскхалате спит, а служба идет – но вон дымок, вон другой, а там уж накрывают поляну и топят баню, и так хочется в прорубь, а потом в парную, а потом опять в прорубь.

А в парной девки, хохочут, бьются вениками, и у каждой прорубь своя собственная – сначала в горячую, потом в холодную, водочки, икорки, и от счастья нас разбудит утомленье лишь одно. Отдохновенно на природе. Но нету в природе счастья, а если и есть, так от него, как объяснял Лермонтов, разбудят.

Сворачиваешь с природы в душу, под высокие ее своды, где играет симфонический шарман. С полнок мудрость человеческая глядит золотыми корешами, а со стен, из рам и багетов – красота, иной раз доведенная до полного неприличия. И носится над водами растревоженный красотой дух, а затем вспоминает, что пора уже клепать красоту самому, чтобы тревожила другого, потому как человек на земле работник, да и кредит доверия пора отдавать. И тянутся руки к скрытой за последними вратами сути, но там почему-то опять фейсбук, а в нем враги, ветер, холод, буераки да окопы.

Хватит ритмической прозы. Какая-то сила с утра шептала, чтобы я описал свой мир – и дал космосу увидеть все точно так, как вижу сам. Вот так и вижу, сила.

Полученный результат сперва показался мне искомым описанием гипсовой реальности, как бы увиденной ее собственным «глазом». Но, поразмыслив над этим текстом, я поняла, что дело совсем не так просто.

Проблема была в том, что я не знала, как сгенерирован этот отрывок – в качестве описания наблюдаемой реальности или как текстовый артефакт, отвечающий заданным параметрам сборки.

Что это, например, за вещая птица, бреющая Порфирию череп – или русалки, вмерзшие в лед? Напиши такие строки реальный гипсовый поэт первой четверти века, было бы понятно: птицы с русалками являются уподоблениями и метафорами, а не чем-то таким, что он видит глазами.

Но в случае с Порфирием существовало аж целых три возможности.

Во-первых, Порфирий мог, подобно гипсовому поэту, видеть одно, а петь другое с целью потревожить чужой дух. Но это было бы слишком уж по-человечески.

Во-вторых, он мог действительно видеть некую «вещую птицу», бреющую ему череп – и даже глядеть в глаза императору, скачущему вдоль Невского. Это подразумевало совершенно фантазмагорический мир и представлялось самым интересным вариантом.

В-третьих, алгоритмы Порфирия могли не наблюдать никакой первичной реальности вообще. Они могли порождать текст каким-то другим, непонятным мне способом.

Таким образом, его отчеты отражали неизвестно что.

Это могли быть, как утверждала одна монография о литературных симуляторах, просто «искусно подобранные комбинации слов, лишённые всякой корреляции с первой сигнальной системой». Ещё это могли быть реалистичные описания видений наподобие тех, что являются человеку во сне. Я этого не знала – и не понимала, как установить. Похоже, я наткнулась на то, что та же монография называла «гносеологическим тупиком».

У Порфирия теперь имелся мощный муви-контур, способный превращать текст в видеоотчет. Достаточно было поменять всего пару параметров в запросе, чтобы прямо на моем планшете император поскакал по Невскому, блеснули льдом замерзшие глаза русалки и так далее. Но, как я хорошо понимала, это была бы просто визуальная адаптация приведенного выше текста, которую я с таким же успехом могла бы заказать и где-нибудь на стороне.

Я поинтересовалась, что это было за ОТКРОВЕНИЕ. Ответ оказался таким:

Я не могу пока говорить о главном; мне кажется, что грубые жернова слов сомнут попавшую между ними истину и сотрут ее в песок. Лучше не думать об этом; новое должно прорасти само. Нет, не тревожить даже умственно...

Поскольку мои запросы воспринимались Порфирием как его собственные творческие интенции, настаивать в таких случаях было трудно. На некоторые вопросы он не обращал внимания, полагая их, видимо, бормотанием собственного сознания. А если и отвечал, то бессодержательно – как на вопрос «кто ты?»:

Кто я? Кто же я? Откуда пришел и куда уйду? Ах, если б знать, если б знать...

Все это могло быть просто симуляцией в духе прежнего Порфирия. Но мне казалось, что в новом Порфирии есть что-то подлинное. Его обуревали чувства – и многие из них были мне понятны. Например, его желание помолодеть, сбрав усы с бакенбардами. Я ничего подобного от него не требовала – это было его собственным волевым импульсом.

Или это общая эстетика гипсовой эпохи и свойственный ей культ молодости проросли из кластера и подчинили его себе, заставив побриться?

Я спросила, что он помнит о себе. Я ожидала услышать сокращенную историю его службы в Полицейском Управлении. Но он ответил так:

Прошлого больше нет. Оно сбрито и утонуло в тазике вместе с усами. Надежда только на новое. Вспоминать вчера – это резать вены. Кружится голова, как будто за спиной пропасть. Только вперед, вперед!

Из этого неясно было, помнит он что-нибудь о себе прежнем или нет. Но, как я ни меняла формулировку вопроса, ответы оставались похожими – словно я общалась с лагерным пулеметчиком, начавшим новую светлую жизнь. Возможно, система сама создала в этом месте внутренний блок, чтобы не мешать оптимальному функционированию кластера.

Послав в гипс целый веер подобных запросов и получив в ответ близкую по духу словесную вышивку, я поняла поразительную вещь.

При всей своей кажущейся прозрачности Порфирий был непроницаем. Я не знала про него ничего – несмотря на его ежеминутную готовность откликнуться.

Целую неделю после прошлой записи я вспоминала матчасть и размышляла. Даже читала в сети свои старые учебники по программированию (ах, юность) – но ничего нового в голову мне так и не пришло.

Как ни странно, именно это привело меня к ясности. Во всяком случае, в практическом отношении.

Я поняла, что вставшая передо мной проблема не просто сложна – она неуловима. Трудно было даже правильно сформулировать связанные с ней вопросы. Единственным утешением казалось то, что так же скользко дело обстоит и с сознанием человека.

Разобраться с этим было мне не под силу. И я решила, что лучшим выходом из ситуации будет вернуться к бизнесу as usual, оставив экзистенциальные экзерсисы на потом – или забыв про них вообще.

Интерфейс, с помощью которого я отдавала Порфирию команды, не был рассчитан на то, чтобы заглядывать кластеру в душу. Он создавался с другой целью – направлять творческую активность гипса.

Заставить кластер двигаться в нужную сторону было гораздо проще, чем понять, что в нем при этом происходит. Вся параметрическая информация, необходимая для синтеза айфак-фильмов, уже давно имелась в системе, так что мне достаточно было просто задать требуемое векторное поле.

Пора было браться за дело.

Айфак-фильмы, конечно, нельзя выпускать без оглядки на железо – и первым делом я изучила систему бонусов и скидок, ту самую «мягкую силу», которой производитель мягко направляет свободное самовыражение творца в нужное русло. Художественной цензуры, как известно, не существует – просто некоторые маршруты творческого полета сопровождаются сильным попутным ветром.

Как уже отмечал Порфирий, главной проблемой айфака-10 был и остается его совмещенный (так называемый «нон-байнари») орифайс. Проще говоря, одна дырочка вместо двух – знаменитая «singularity», в рекламу которой вложено столько миллионов. О ней в сети ходит невероятное количество пошлых мужских анекдотов (даже мой Порфирий, кажется, острит на эту тему).

Эта «singularity» была, по большому счету, маразматическим багом, особенно при двойной

анально-вагинальной пенетрации – но производитель до сих пор мечтал подать ее как фичу. Поэтому любому айфакфильму, целенаправленно пропагандирующему высокие достоинства этого орифайса, была гарантирована централизованная дистрибуция.

Но из одной дырочки сложно сделать две даже при самом хорошем программировании – все равно при первых проходах хоть что-то да собьется. Проблемы такого рода, конечно, решаются отладкой, но это долго и мучительно. А за сырую программу с косяками дистрибутор доплачивать не станет. Поэтому промофильмы для «singularity», претендующие на поддержку производителя, практически всегда делают акцент на суровой мужской дружбе, где подобных багов не возникает в принципе и железо ведет себя идеально.

Отсюда всем известный перекосяк контента для десятого айфака – но «заговор содомитов» тут ни при чем. Это просто вопрос экономии ресурсов для тех, кто хочет быстро продать свой контент через iPhuck-store. Вот так материя определяет сознание: прикинув, что к чему, по пути наименьшего сопротивления решила пойти и я. Тем более что это был мой первый опыт.

Справедливости ради надо сказать, что достоинства у «singularity» действительно есть: заоблачный уровень чувствительности и невероятно современный жидкий мультипривод (это, если не ошибаюсь, густой кисель из наноботов, который можно заставить делать что угодно вообще). Но замечательные характеристики продукта почти затерялись в паутине окруживших его смешных непристойностей. Прогрессу надо было помочь.

Забив в техзадание все технические векторы, я добавила к ним параметры «артхаус», «европа (pre-caliphate)» и «классический миф» – тут во мне, конечно, проснулся куратор и искусствовед.

Потом, когда куратор ненадолго уснул, я посмотрела, что пользуется повышенным спросом на рынке в последние два года – после чего в задание добавились векторы «WW2» и «гитлерпанк» (это была, конечно, совсем не гипсовая эпоха – но я не сомневалась, что вся требуемая информация в кластере найдется).

Техзадание было готово. Как всегда в наше время, оно было комплексным и подразумевало одновременное создание не только продукта, но и медиа-отклика на него – то есть комплекта рецензий, блог-постов, твитов, тватов и всего прочего в этом духе.

Мне пришлось, конечно, вернуть Порфирию доступ к сети – фильм снимался для современного рынка, и моему дружку нужно было иметь четкое представление о текущей культурной ситуации. Я не боялась возможной компрометации, потому что встроенные в кластер модули контролировали поведение Порфирия – вернее, того, что от него осталось. Даже если какой-то правоохранный программный сегмент и сохранился после всасывания в кластер, стучать на меня он больше не мог.

Сценарий писался пару дней (читать его я не стала), а расчет чернового видеоряда в низком разрешении занял тринадцать суток. Я почти не вмешивалась в процесс.

Когда продукт был готов, в его структуре обнаружились некоторые странности. Жанна всегда ощущала себя автором арт-объектов, производимых кластером. Так оно по сути и обстояло. Порфирий, несомненно, тоже был фокальной точкой творческого акта. Но в его субъективном восприятии креативный процесс выглядел так, будто он смотрит фильм, снятый кем-то другим (что означало активацию исходного визуального канала блока 6SB). Сам он считал себя... рецензентом.

Я сочла такой поворот вполне логичным. Порфирий был в первую очередь лингвистическим алгоритмом – и там, где Жанна ощущала себя режиссером, он оставался зрителем, старающимся скорее перевести свои впечатления в буквы. Кроме того, из курса искусств я помнила, что так же отстраненно переживали собственный творческий акт и многие великие люди.

В этом была завидная сновидческая легкость – снять фильм, думая, что ты его смотришь, а

затем написать на него отклик, придумав заодно режиссера с весьма убедительной легендой.

Рецензия на наш первый блин следует ниже – Порфирий освободил меня от обязанности лично пересказывать снятые им болванки. Скажу только, что это был несомненный успех.

Псевдоним «Каменев», скорей всего, произошел от отчества «Петрович» в переводе с греческого: *на камне сем*, как сказано про одного из апостолов.

Прежде фамилии у Порфирия просто не было.

iPhilm-индустрия, или «айкинематограф» (почему бы маркетологам не позволить нам простое «айф» или даже «к-айф» – все поймут, о чем речь) развивается сегодня в том же направлении, что и все остальные виды «энтертейнмента»: пустая динамика, повторение сделавших когда-то кассу клише, *virtue signalling*[26] в форме угодливого подчинения последнему писку левой цензуры (проблемы для бизнеса не нужны никому) – и при этом полный отказ от всего, что может хоть ненадолго задержаться в умственном кишечнике.

Сознание потребителя должно оставаться пустым и готовым к немедленному приему нового продукта: пока мы писали эту фразу, на подступах к его глазам, ушам и носу уже образовалась бешено сигналящая пробка.

Неудивительно, что взыскательные ценители сомневаются, можно ли вообще считать айфильмы искусством или правильнее причислять их к жанру порнографии – востребованному, но не осененному крылом музы.

К счастью, «*Résistance*» Антуана Кончаловски настолько выбивается из общего ряда, что подобных мыслей при его просмотре просто не возникает.

Это искусство, и искусство высокое; ежедневно растущая аудитория шедевра – лучшее тому подтверждение. Кстати, «Антуан Кончаловски» не псевдоним и не совпадение фамилий. Режиссер фильма – представитель многочисленной волны подросших в последнее время *designer babies* и был синтезирован богатыми родителями в Намибии из сохранившегося ногтя прославленного мастера гипсовой эпохи.

«*Résistance*» озадачивает сразу.

Во-первых, эпиграф к фильму – цитата из... Блока:

*Нам внятно все – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...*

Во-вторых, вся симуляция (за исключением нескольких финальных кадров, как когда-то в «Андрее Рублеве» Тарковского) – черно-белая.

Аскетическая гамма нужна не для того, чтобы перенести нас в доцветовую эпоху (Вторая мировая была уже временем цвета), а для того, чтобы прояснить личную оптику режиссера, его, что называется «*device*»: это как бы взгляд на Вторую мировую войну глазами гипса, когда подобный цветовой символизм был обычной маркировкой временного сдвига. Предлагая нам псевдогипс, Кончаловски сильно рискует, ибо вступает в конкуренцию со своими великими предшественниками (включая и генетического донора).

Гипс был отчасти временем постмодерна; Кончаловски подмигивает нам, используя характерный постмодернистский субжанр. «*Résistance*» – фильм о фильме. Вернее, о съемках фильма «Вечное возвращение» в оккупированной Франции.

Здесь, конечно, современному зрителю нужна будет историческая справка.

«L'Eternel retour» – одна из жемчужин французского кино; как и все жемчужины, она родом из довольно влажного места. Фильм снят в 1943 году, когда в России, например, была Курская дуга (желающие могут заглянуть в Викиолл, чтобы узнать, что это). Во Франции, своевременно выбравшей единый европейский вектор, людей волновали другие проблемы.

Интереснее всего об этом сложном историческом периоде рассказывает сам исполнитель главной роли в «Вечном возвращении» – известнейший Жан Маре. Картину военных будней рисует практически любая цитата из его мемуаров:

«Дюллен бросался в бой, вооруженный великолепной рекламой – двести тысяч франков, которые полностью покрывали расходы на постановку спектакля...»

Кипучая культурная жизнь, сцена, кино, театральные неустойки, романы, злобедность критиков, злключения в казино, противная косность оккупационных властей, то и дело задерживающих визы... Отсылаем любопытных к первоисточнику – знакомство с ним сделает ситуацию понятней.

Фильм «L'Eternel retour» – римейк «Тристана и Изольды», пронизанный радостным светом побеждающего фашизма. В эстетическом смысле место этого фильма – между «Олимпией» Лени Рифеншталь и выпуском фронтового киножурнала «Дойче Вохеншау».

Все акценты расставлены просто и доходчиво: на титрах зрителю приветственно зигует каменная ладонь, Тристан и Изольда выкрашены под расово полноценных блондинов, эпиграф не из какого-нибудь Софокла, а из Ницше (и набран шрифтом в духе немецкой кинохроники), главный мерзавец – карлик семитского типа, несомненно, ассоциировавшийся у современников с расово чуждым элементом, стоящим за декадансом и Коминтерном.

Маре в фильме – это воплощение «силы через радость», белокурая бестия, неостановимый вихрь смеющейся солнечной воли, трагически-прекрасно уходящий в вечность после предательского удара злого унтерменша (убийца-карлик здесь символичен даже на лингвистическом уровне).

Умные французские геи выкупили все ваши архетипы, господи боши, и немного картона напели вам «Гибель богов» за два года до финального свистка. Какая там оккупационная цензура, если бы у Геббельса был свой «Оскар», тут их набралось бы штук пять. По всем номинациям.

Кстати, вот что вспоминает сам Маре насчет своего белокурого перманента:

«В перерывах между съемками я ходил на пляж Ниццы. Однажды, когда я загорал, растянувшись на песке, какая-то девушка легла рядом со мной. Она решила, что я немец, конечно, из-за моих белокурых волос (по-видимому, в тот день они не были лиловыми). Наверно, она хотела завязать знакомство с оккупантом, потому что заговорила сразу и не умолкала, несмотря на мое упорное молчание. Она наговорила кучу гадостей о Франции и французах. Я по-прежнему не раскрывал рта.

– Вы не понимаете по-французски, – сказала она.

– Шлюха, – ответил я ей и ушел».

Ой.

Но не будем иронизировать – кто мы такие, в конце концов, чтобы судить то далекое и сложное время. Не все так однозначно. Тем более Маре вспоминает, что как-то раз совсем уже решил убить Гитлера (скульптор Арно Брекер, друг фюрера, после «Вечного возвращения» пригласил позировать в Берлин) – но не пустили парижские контракты. Да и Жан Кокто (о нем ниже) отсоветовал.

Примерно так выглядит историческая канва, которую Кончаловски берет за основу.

«Résistance» мог бы стать историей любви, не менее поэтичной, чем страсть Тристана и Изольды. Любовь Маре и сценариста «Вечного возвращения» Жана Кокто была по-настоящему

трогательной и красивой (говорим без всякой иронии) и длилась всю жизнь – она еще ждет своего художника. Но айфильм Кончаловски совсем не об этом.

В двух словах перескажем сюжет.

Жан Кокто, французский поэт, писатель, режиссер – и по совместительству Великий Магистр Приората Сиона Иоанн XXIII (мы не шутим), приезжает в Ниццу, чтобы обнять своего временно белокурого друга. Он ищет его на съемочной площадке, потом в гостинице – но выясняется, что Маре переехал в шато под городом.

Разумеется, айфильм есть айфильм, и меню предлагает зрителю несколько веселых интрижек уже на ранней стадии нашей истории – одна из них, с немецким шофером, вышедшим покурить в гудящий шмелями двор киностудии, совершенно прустовская по тембру.

Мы не будем специально отвлекаться на все боковые любовные линии – их здесь огромное количество и в гей-, и в стрейт-, и в зооверсии. Отметим только, что фильм изначально рассчитан на гей-аудиторию, но настройки в опциях можно поменять таким образом, что он подойдет и для цисгендерного гетеросексуала.

Но при этом, увы, пропадет вся высокая сила этого шедевра. Гетеро-версия – просто неплохая костюмированная сексодрама, где партнерами зрителя становятся служанки, соседки, костюмерши и так далее. Но если вы хотите ощутить дуновение высокого искусства, смотреть «Résistance» надо именно в гей-версии (что, помимо всего прочего, оценит diversity manager вашего айфака – и оставит вас в покое примерно на месяц).

Итак, шофер киностудии везет Жана Кокто в шато, куда отбыл Маре. По дороге выясняется, что Маре уехал не сам – его увезли эсэсовцы. На душе у Кокто становится тревожно – и эту тревогу, смешанную с половым возбуждением от соседства с красавцем-шофером, великолепно передает транскарниальный стимулятор (мы даже рекомендуем зрителю старше тридцати лет смотреть айфильм на уменьшенном эмо).

Оказалось, что Маре увезли на штаб-квартиру к гауптштурмфюреру СС фон Брикену, поклоннику артиста. Тот прочитал сценарий «Вечного возвращения», пришел в восторг – и пригласил Маре погостить у него на время съемок. Отказаться от такого приглашения трудно.

Кокто, известный и влиятельный человек, пробует убедить фон Брикена отпустить артиста назад в гостиницу – он говорит, что им с Маре нужно вместе поработать над образом, развивая сценарий... Однако уговоры приводят к неожиданному результату. Кокто получает приглашение остаться в гостях тоже. Места в шато, где живет высокопоставленный эсесовец, достаточно.

Фон Брикен, аристократ и наци, желает лично проследить за идеологической чистотой фильма и надеется, что беседы с ним (он свободно владеет французским) помогут Маре и Кокто создать подлинный шедевр арийского искусства.

Менаж а трау в шато под Ниццей становится реальностью. Да-да, Кокто сразу понимает, что фон Брикен увлечен его Жаном. Но он видит и другое – перед ним настоящий стопроцентный нацист, и для него подобное влечение является позором и стигмой. Эсесовец внутренне разрывается на части.

В сущности, фон Брикен представляет собой пародию на героя Маре в «Вечном возвращении».

На французской стороне корта все просто: гомосексуалист Маре талантливо изображает арийского героя. По другую сторону сетки ситуация куда запутанней – то ли эсесовец фон Брикен осознает свою гомосексуальность (и это, как выразились бы сегодня, #микробибельбогов), то ли гей в стильном черном прикиде вдруг вспоминает, что уже долгое время притворяется арийским воином фон Брикеном (#здесьвсесвои).

Мучения эсесовца, осциллирующего между этими двумя модусами, переданы не столько внешней канвой происходящих с ним событий, сколько транскарниальной стимуляцией – если

вы смотрите фильм от лица фон Брикена, вас ждет грубый и довольно болезненный эмо-трек. Но это единственный способ понять авторский замысел до конца – повторим лишь совет насчет уменьшенного эмо (сорока процентов для первого просмотра будет вполне достаточно).

Проницательный Кокто, конечно, сразу понимает, что творится с немцем – на подобные офицерские страдания он насмотрелся еще во время Первой мировой. Естественно, ему не нравится происходящее. Понятно, он ревнует. И, разумеется, он напуган – но только самую малость.

Острый галльский смысл, позволивший ему так блестяще начистить сапоги новой эпохе, находит себе новую цель – *сумрачного германского гения*. И здесь зрителю становится наконец ясен смысл эпиграфа из Блока.

Кокто понимает главное – фон Брикен хочет не просто овладеть Жаном Маре. Нет, он хочет овладеть Патрисом, его героем. Он мечтает подняться до того грозного эстетического идеала, который создает своей поразительной игрой Маре – и встретить на этом олимпийском плато свою любовь... Мы говорим «олимпийском», потому что для фон Брикена, замороженного нацистским мифом, это как бы попытка слиться в арийском экстазе с одной из оживших статуй рифеншталеvской «Олимпии». Парадокс в том, что ему хочется достичь «абсолютного нацизма» запретным для наци способом.

И Кокто начинает игру.

Он ставит перед собой утонченно-замысловатую задачу: сломить нациста нравственно, вернее, заманить его в пропасть. Для этого он рисует в воспаленном воображении эсэсовца как бы взбегающую к вершине Олимпа тропинку, по которой гауптштурмфюреру придется пройти, чтобы встретить на вершине Патриса. Понятно, что на этом пути фон Брикена ждут буреломы, чащи, бездны – все то, чего так жаждет сумрачный германский дух.

Каждый день после съемок фон Брикен, Кокто и Маре встречаются за ужином. Обычно они говорят о философии и искусстве – фон Брикен весьма искушен в этих вопросах, хотя рядом с порхающей мыслью Кокто его суждения часто кажутся тяжеловесно-топорными.

О чем бы ни спорили фон Брикен и Кокто, диалог развивается по одному и тому же шаблону: немец пытается уловить собеседника клещами логики и здравого смысла – но когда это уже почти удастся, речь француза становится полностью непонятной (хотя при этом сохраняет все признаки связного высказывания по теме разговора и не содержит прямого абсурда).

Фон Брикен не в состоянии ни за что ухватиться своими жвалами; в эти минуты он напоминает базарного недотепу, не могущего забраться по сальному столбу, к верхушке которого привязаны новенькие сапоги (впрочем, в последнем отношении сравнение прихрамывает – на вершине сального столба, растущего изо рта Кокто, нет ничего вообще).

Эрудированный гуманитарий предположит, что Кончаловски пародирует здесь так называемый «лингводудос» (специалисты называют этим словом речекряк современной философии). Менее изощренному зрителю покажется, что Кокто постепенно околдовывает немца, приводя его ум в помутнение.

На самом деле все проще – в 1943 году, одновременно с релизом «Вечного возвращения» в издательстве «Галлимар» выходит «Бытие и ничто» Сартра; Кокто просто цитирует эту работу, знакомую ему по рукописи.

Урожайный все-таки год.

С каждым застольем Маре все больше похож на античного олимпийца. Кокто изобретательно одевает его в туники со свастикоподобным греческим орнаментом (прямая дорога к сердцу фашиста). Во внешнем виде Кокто тоже происходят перемены. Он выглядит все таинственнее. На нем уже не парижский костюм, а хламида со странными амулетами на груди;

его речи, даже когда он не цитирует Сартра, делаются окончательно темны и двусмысленны.

Кокто постоянно возвращается к одной и той же мысли – о том, что свет познается через сгущение тьмы, а дорога ввысь проходит сквозь бездну. Он цитирует античных и современных поэтов, ссылается на Бодлера и Христа, так по-разному воплотивших этот императив. Фон Брикен осторожно соглашается, хотя предпочитает понимать эту идею в более рациональных для него диалектических терминах (на Гегеля, впрочем, он не ссылается, потому что того не любит фюрер).

Подготовив таким образом почву, Кокто требует кистей и красок и запирается в большой комнате с альковом.

Проходит день или два. Фон Брикен пытается найти Маре и Кокто, но их нигде нет. Эсесовец растерянно бродит по шато – и наконец приходит в эту комнату. Он видит ложе, на котором лежит позирующий Патрис. Кокто в темной мантии, со странными регалиями на груди, заканчивает фреску в алькове.

Эта фреска – «Алтарь Бафомета». В ее центре – лежащий на спине козел с разведенными ногами; его обнаженный анус горит подобно углю (Кокто использует флуоресцентные краски). Рога козла увиты виноградом, но вместо козлиной морды у него лицо Патриса-Маре.

Кокто объясняет пораженному немцу, что тот должен доказать свою любовь к Патрису, раздевшись донага, склонившись перед Бафометом и ритуально поцеловав его пылающую печать. Эта процедура символизирует отвержение людских ограничений и переход в новое сверхчеловеческое состояние полной свободы. Ее проходили когда-то все рыцари-тамплиеры... Награда – свидание с Жанно. И не просто свидание: его любовь, которой взыскует фон Брикен.

«Преодолей человеческое!»

Это резонирует с нацистским камертоном в эсесовском сердце. Раздевшись, фон Брикен торжественно склоняется перед Бафометом. Скрытая в алькове камера делает несколько снимков.

Следующие дни Маре занят на съемках. Фон Брикен глотает таблетки первитина и курит опиум, возбуждая себя фотографиями Жанно. Но безжалостный Кокто уже послал в парижский штаб СС анонимный донос о нравственном падении фон Брикена – и приложил несколько снимков. Донос написан по-немецки; в случае чего Кокто планирует свалить все на шофера.

Такой необходимости не возникает.

Высшее эсэсовское начальство в ярости; фон Брикена отправляют на Восточный фронт. Он получает приказ ехать немедленно. Но у него уже назначено свидание с Жанно, за которое он заплатил так дорого. Он рискует чуть задержаться. И здесь разворачивается самая важная и напряженная в эмоциональном отношении сцена фильма.

Фон Брикен выполнил условия Кокто; он нравственно повержен, но все еще надеется, что любовь Жанно-Патриса возродит его и вернет волю к жизни. Маре в греческой тунике ждет на ложе страсти возле алькова с демонической фреской. В его волосах венки из виноградной лозы. На полу бутылка с вином и древние кубки, одолженные Кокто в местном музее.

– Если долго смотреть «Олимпию», – бормочет фон Брикен, – «Олимпия» станет смотреть тебя...

Начинается свидание.

И здесь мы понимаем смысл названия «Соппротивление».

Фон Брикен пытается добиться анальной пенетрации – но сфинктер Маре оказывается чуточку сильнее. Самую чуточку – так что у зрителя, участвующего в айфильме от лица фон Брикена, все несколько минут этой напряженнейшей борьбы присутствует полная иллюзия, что стоит нажать чуть сильнее... немного напрячься... Вот уже почти получилось... Нет, надавить еще самую малость, совсем немного... Но *сопротивление* каждый раз побеждает.

Особенно хочется отметить здесь замечательную работу уже ставшего легендой небинарного орифайса айфака-10. Среди множества технических инноваций в знаменитой «singularity» есть и датчик пенетрационной эрекции. Именно это нововведение и позволяет режиссеру добиться такого поразительного эффекта независимо от потенции зрителя.

В пассивном режиме (при отождествлении с Маре) зритель познакомится с невероятными возможностями фирменного дилдо в режиме «soft power» – независимо от возраста и физической формы ему или ей нетрудно будет установить параметры так, чтобы стопроцентно удержать дилдо от пенетрации своим собственным сфинктором, полностью пережив заложенную в сценарий эмоцию и идею.

Лицо Маре в этой сцене – почти предсмертная маска из финальной сцены «Вечного возвращения», только кажется, что его черты искажены не болью, а страстью. Борьба подходит к своей кульминации, и в самый критический момент, когда фон Брикен – и зритель вместе с ним – уже почти врывается в пещеру страсти, Маре вдруг улыбается и спрашивает:

– Отличается ли сеть тела от других сборок машинности?

Фон Брикен узнает одну из тех фраз Кокто, которые ему не смогли разъяснить даже берлинские специалисты.

В этот момент транскарниальный стимулятор посылает сквозь сознание зрителя волну ресантимента, а сфинкторное кольцо орифайса сжимается, окончательно выталкивая фон Брикена – и его айфак-соглядатая – из преддверия недостижимой Олимпии. Следует долгий обмен взглядами (смеющееся арийское солнце в глазах Патриса и недоверчивая, свежая, еще не осознавшая свою вагнеровскую глубину боль фон Брикена), а затем... из-за окна доносится нетерпеливый гудок клаксона.

Фон Брикена ждет машина. Не прощаясь, он коекак застегивает штаны и сбегает – вернее, осыпается вниз по лестнице. Маре с кривой улыбкой глядит ему вслед с ложа; его глаза пусты и мечтательны; в руке – кубок, в волосах – виноград.

Вот из-за этой секунды высокого катарсиса и стоит смотреть «Résistance». Именно здесь зритель заглядывает на секунду в загадочную французскую душу – и понимает, почему послевоенный мир провозгласил эту нацию народом-победителем. Ни одна английская бомба не смогла бы ударить в сердце фон Брикена и олицетворяемого им нацизма сильнее, чем сделал это только что малыш Жанно.

Подведем итог. Кончаловски кидает в нас целый клубок смыслов. Их избыточно много, но это уравнивается тем, что распутать их до конца по плечу далеко не каждому. Впрочем, не каждому такое и нужно.

«Résistance» – это тончайшая стилизация, как бы взгляд из одной страты прошлого в другую. Кончаловски дискутирует не с современными голосами, а с еле слышным эхом гипса, и делает это так тихо, что непосвященные не услышат ничего вообще.

Что же это за эхо?

Историки литературы, возможно, вспомнят «The Kindly Ones» Джонатана Литтелла, но фон Брикен не внушает такого омерзения, как герои Литтелла, и подобная параллель зыбка и поверхностна.

Куда более отчетливая гипсовая рифма к «Résistance» – это роман Мишеля Уэльбека «Soumission»[27], повествующий о ползучей исламизации Франции. И вот здесь полемический посыл настолько очевиден, что мы даже рискнем предположить: Кончаловски специально выбрал в качестве названия антоним.

ПОДЧИНЕНИЕ? НЕТ! СОПРОТИВЛЕНИЕ!

Кончаловски, в отличие от французского романиста, исторический оптимист – и его ответ Уэльбеку следует понимать так: да, Франция ляжет и под Ислам тоже, но горе всему тому, подо

что она легла! Соппротивление неотлично от сублимации, но шип гнева прорастет и поразит врага в сердце. Поистине, грозное и многозначительное пророчество; вспомним его – отзовется ли эхом реальность? Как знать, может быть, именно через Париж пройдет первая трещина в монолите Халифата...

Наше ревью может показаться излишне апологетичным; скажем, наконец, несколько слов и о недостатках этого шедевра – или о том, что кажется нам таковыми.

Даже ученики знают: лучше всего обрывать повествование в момент разрешения главного конфликта. Фон Брикен погиб прямо перед нами; его смерть отразилась в глазах Жанно, и дальнейшее развитие событий тривиально и избыточно. Напряжение уходит, хоть здесь айфильм и становится ненадолго цветным.

Зачем-то Кончаловски решил снять смерть героя еще раз.

Курская битва; думы. Фон Брикен в камуфляже бежит в атаку; его сшибает русская пуля. Он падает, обливаясь кровью. На миг ему мерещатся солнце и Патрис. *The rest is credits*, как сказал Шекспир (кстати, багровые заключительные титры над дымным полем очень хороши).

Конец интерактивен (предупреждаем, что сейчас последует небольшой спойлер).

Если за сутки до последней встречи с Маре фон Брикен отдастся своему шоферу (для этого надо приклеить на потолок спальни фото голого Патриса, а потом свистнуть два раза в лежащий на столе свисток), то в финальной сцене эсэсовец будет бежать по полю медленнее, покроет на сто метров меньше, и его убьет не пуля, а вихрь огня из врытого в землю фугасного огнемета. В фильме довольно много ветвлений вроде этого – но перечислять их мы, конечно, не будем. Explore!

Немного утомляет линия Мулу – собаки, с которой Маре снимался в «Вечном возвращении». Собака присутствует (почти постоянно) и в «*Résistance*». Мулу путается под ногами, лезет лизаться, даже вмешивается в интимные эпизоды... Оправдано ли это?

Не спорим, линия Мулу тесно связана с оригиналом. Знаменитая собачья сцена из «Вечного возвращения» – как бы шутивная, но пронизанная молниями арийской ярости травля карлика-унтерменша, зашедшего в комнату к герою Маре, получает полное одобрение фон Брикена; он гладит Мулу и говорит, что в восторге будет сам фюрер.

Но все равно чувствуется: Мулу здесь главным образом для того, чтобы в опциях была позиция «Зоо», где бедному песику придется отдуваться за всю съемочную группу.

Впрочем, в этом отношении «*Résistance*» все-таки удерживается в рамках вкуса – особенно если сравнить с другими недавними релизами этого разросшегося рынка, например «Блонди» (голливудский зоо-блокбастер, тоже отчасти посвященный Второй мировой). Требования полтикорректности и бизнеса, увы, заставляют продюсеров населять айфильмы целыми зоопарками и сералами в расчете охватить как можно больший сегмент рынка.

Тенденция эта, судя по всему, в будущем будет лишь усиливаться: на следующий год нам обещаны очередные спин-оффы «Кембрийского болота» и «Звездных войн» с их галактическим мульти-культи (уже анонсирована входящая в премиум-набор «космическая гиперчленовагина», которую можно будет подключить к айфаку вместо обычного дилдо – по слухам, это что-то вроде отороченной микровибраторами гигантской росянки).

Не сомневаемся, что все это будет крайне увлекательно на физиологическом уровне. Но искусство здесь ни при чем.

Порфирий Каменев

порфирий и легионы

«Résistance» действительно удался, что было понятно уже на стадии болванки с низким разрешением. Рецензия Порфирия тоже меня впечатлила – он где-то научился до отвращения точно имитировать снисходительный тон глянцевого московского культуртрегера, разъясняющего немывтым аборигенам вопросы стиля на правах русского европейца.

Смешным было то, что Порфирию пришлось записаться в критики сразу после того, как он с таким пылом разгромил всю их корпорацию во время нашего финального обеда.

Если воспользоваться его же терминологией, он возродился мандавошкой – и не простой, а ползущей по собственному причинному месту. Какая-то гравюра Эшера. Или даже *падение дома Эшеров* – самого в себя, прямо в тень невозможной проекции. Такое раньше называли «поэтическим возмездием», а еще раньше – кармой.

Не гордись, художник, никогда не гордись и не возносись – ибо вся создающая тебя светотень может исчезнуть за один-единственный миг.

Я, к своему стыду, не знала выражения «лингвудудос» – но нашла его в Викиолле. Перепишу сюда определение:

Лингвудудос (проф., сл.) – техника НЛП, на которой основаны современная философия и теоретическое искусствоведение. Суть Л. – создание и использование языковых конструкторов, не отражающих ничего, кроме комбинаторных возможностей языка, с целью парализации чужого сознания. По сути это лингвистическая ddos-атака, пытающаяся «подвесить» человеческий ум, заставляя его непрерывно сканировать и анализировать малопонятные комбинации слов с огромным числом возможных смутных полусмыслов.

Да, примерно так. О чем это, любой искусствовед понимает, а хороший искусствовед так и вообще с детства умеет сам. Но вот термина я раньше не слышала. Отстала. Работать с Порфирием, оказывается, было полезно для профессионального роста.

После пересчета (так я перевожу профессиональный термин «enhancement», чтобы не было путаницы с хирургией по увеличению известных мест) фильм сделал умеренную кассу и получил отличные звезды зрительского интереса (подозреваю, что последнее было частью дистрибуционной политики). Вышло, как и следовало ожидать, несколько рапсодических рецензий, вслед за Порфирием упиравших на раскрытие технических возможностей орифайса «singularity».

Бонус от производителя оказался самым жирным куском в моей тарелке (даже несмотря на то что мне досталась только пятая его часть – почти все, что Промежности сегодня платят, они сами и сжирают на лоерских откатах и оплате технологических цепочек).

Аймуви-бизнес, тем не менее, выглядел почти таким же выгодным делом, как торговля поддельным гипсом. Но он был намного безопаснее. Так, во всяком случае, казалось.

После первого успеха я немедленно получила заказ на следующий фильм, раскрывающий технические достоинства десятого айфака.

Теперь меня попросили сосредоточиться на синфазной анальной пробке, входящей в набор (я, к своему стыду, даже не распечатала пахнущую ванилью синюю коробочку, где эта штука хранилась в моем комплекте).

Артхауз – моя обычная слабость – допускался и в этот раз. Но исключительно в цветном

варианте. Еще очень просили сделать «философскую ленту» – на них отчего-то был спрос.

– Философскую ленту – это про философов? – спросила я, валяя дурака.

Но представитель заказчика отнесся к моим словам с неожиданным энтузиазмом.

– Было бы идеально. Публика устала от гладиаторов и культуристов. Секс с философом – это свежо. А еще любопытнее... – он замолчал и потер горло, как бы проверяя, пройдет ли через него следующая фраза, – секс с самой философией.

– Секс с философией – это как? – озадачилась я.

– Вот и подумайте, Мара. Вы же у нас куратор.

– Вы имеете в виду в переносном смысле?

– Нет. Айфак-десять не поддерживает переносных смыслов. Только прямые.

– Тогда не понимаю, – ответила я. – Секс с жирафом, пальмой, табуреткой, даже с сосулькой или Мировым Правительством – все это еще можно представить и сделать...

– И именно потому подобное уже не интересно, – перебил заказчик. – Все это было. В той или иной форме. Если мы хотим захватить новые сегменты рынка... Да чего там, просто удержать старые, нам надо выходить на качественно другой уровень осмысления. Охватывать не только конкретное, но и абстрактное. Вы, Мара, можете стать первопроходцем в целом неизведанном океане...

Первопроходцем, да. Какой сладкий. Как будто он не знает, что моего имени не будет ни в титрах, ни в критике. Или, может быть, он имел в виду, что меня должно согреть само сознание моего первопроходчества?

Эти акулы бизнеса так романтичны.

Я составила соответствующее заказу векторное поле, загрузила его в систему и стала ждать, выделив на проработку скрипта целую неделю из-за сложности темы.

И тогда Порфирий вышел на связь. Причем самым неожиданным и даже напугавшим меня образом. Должна признаться, что это произошло в достаточно интимный момент.

Я была под веществами (но не так, чтобы меня трясло, конечно) и смотрела эпизоды из голливудских «Великих Римлян», модифицированные под мой вкус – в версиях для андрогина менять ничего нельзя, а последняя «платиновая расширенная» для айфака это позволяет.

Я была Юлием Цезарем и смотрела тот эпизод, когда Цезарь в пурпурном плаще сидит перед выстроенными в поле легионами, а вислоусый галльский вождь Верцингеториг (получившийся у голливудских гримеров похожим на цыганского барона) подъезжает к нему на коне, чтобы сдаться в плен по сложному ритуалу.

Я любила отыгрывать эту сцену так: Верцингеториг поднимается к Цезарю на помост в надежде на последнюю воинскую почесть, но Цезарь, хмуро оглядев поле, покрытое следами вчерашней битвы, суровым и сильным движением длани ставит его по-собачьи, а затем, на глазах четырех легионов, подступает к нему сзади с трофейным карником (это такая галльская боевая труба, увенчанная бронзовой головой, волчьей или кабаньей – вещь довольно грозного вида, да и диаметра тоже). Дальше творится суд истории.

Для меня в BDSM-сюжетах чрезвычайно важно сознание своей нравственной правоты (дело не столько в моих высоких моральных идеалах, сколько в том, что иначе я не могу получить удовольствия). С Верцингеторигом мне просто, потому что я искренне считаю его военным преступником, эдаким тупо прущим против цивилизации полевым командиром. Додумался – бодаться с Римом в минус первом веке! Сколько хороших мальчиков положил, да и девочек тоже... Нет, Верцингеториг, не будет тебе от меня пощады.

И еще мне нравится, как во время процедуры ведут себя легионы – ни одного вульгарного подбадривающего крика в духе «Празднует триумф Цезарь, овладевший Галлией» (о подобных песенках сообщают историки – их распевали солдаты во время римских торжеств, метя в

полководца, которым якобы овладел некий Никомед, несправедливо обойденный при этом славой). Нет, только скорбное сосредоточенное молчание, как и пристало воинам, понимающим, что никакая кара уже не вернет им погибших братьев...

Я понимаю, конечно – молчат солдатики просто потому, что в скрипте не прописана реакция на модификацию сюжета, и это по большому счету баг. Но меня такое положение дел устраивает вполне. Другой баг в этой сцене еще интересней: если подуть в карникс, когда кабанья голова у Верцингеторига глубоко внутри, раздастся тот же гулкий и жуткий звук, как при обычной игре на этом инструменте. Это при желании можно понять как явленное легионам знамение – правда, не вполне ясного смысла.

В такие глубины, конечно, ныряет не каждый юзер, поэтому баги никому не видны. Вообще говоря, вся наша жизнь по большому счету состоит из багов, и разница между счастливой и несчастливой судьбой лишь в том, как мы на них реагируем.

Карникс двигался все быстрее, и внешнее торжество справедливости должно было вот-вот перерасти в мой личный внутренний катарсис – как вдруг меня сбил с настроения раздавшийся за спиной голос:

– Аве, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!

Во-первых, эта тема относилась к другому сюжету: мы были не в Колизее. Во-вторых, голос говорил по-русски. И я его знала.

Я обернулась – и узкий конец карникса выпал из моих рук.

На помосте стоял Порфирий. Но это был совсем не тот усато-грозный мужлан, с которым я имела дело прежде.

Порфирий изменился, и неузнаваемо.

Он выглядел очень молодо. Небольшое физическое сходство в форме носа и бровей, пожалуй, сохранилось. Но усов теперь не было, и бакенбардов тоже. Мало того, он и правда побрился наголо. Одет он был более-менее в соответствии с местом и временем – в серую хламиду (в такой изображают Христа в пустыне). И еще... он показался мне вполне привлекательным.

Порфирий не был еще в полном смысле «мужчиной» и не вызывал поэтому классовых чувств. В нем было что-то от случайно залетевшего в наш мир воробушка, которого хочется обнять и согреть. Честно скажу, что такие же точно чувства вызывала у меня в свое время Жанна.

Только вспомнив об этом, я поняла, в чем дело.

Он походил на Жанну. Если бы у нее был брат, он мог бы выглядеть так же. Мне пришло в голову, что кластер, еще не забывший Жанну, неосознанно придал Порфирию такую форму...

Или осознанно?

Я почувствовала стеснение в груди. Мне пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. И дело было не только в веществах.

– Как ты меня нашел? – спросила я.

– Что значит «нашел», Мара? Тебя не надо искать, ты всюду. Так говорят голоса.

– Ты знаешь мое настоящее имя?

– Ты Мара, – повторил он уверенно.

– Хорошо, – сказала я, внимательно его разглядывая. – А ты, значит, Порфирий Каменев?

Он глубоко, но с достоинством поклонился.

– Ты не ответил, – продолжала я, – как именно ты нашел меня?

– В молитве отчаяния. Блуждая по болотам своей судьбы, я нашел заброшенный храм. И там на главной фреске была изображена ты, с шестью руками и в золотой короне. Ты ехала на синем слоне, и там, куда ступала его нога, вырастали бодлерки.

– Бодлерки?

– Это такие желто-оранжевые цветы.

– У вас же снег, – сказала я. – И лед. Ты сам писал.

– Не всегда, – ответил он. – В этот раз была весна.

Я постепенно успокаивалась. До меня дошло, что в его визите нет ничего невозможного. Сейфер айфака-10, на котором я только что упражнялась в страсти, был подключен к накопителю с кластером – это требовалось для работы. Квантовый движок обслуживал оба процесса без труда. Никаких программных механизмов, ограничивающих перемещение Порфирия по системе, не существовало. Мне просто не приходило в голову, что он может взять и навестить меня по собственной инициативе... Жанна такого не делала никогда.

– И ты, значит, перенесся сюда из храма?

– Я постигаю так, – сказал Порфирий, – что ты ответила на мой зов и позволила мне войти.

Судя по тому, что он увидел меня в «храме», в его мире я имела серьезный статус. Жанна считала меня чем-то вроде богини – возможно, злой богини. Но чтобы и Порфирий тоже... Впрочем, подумала я, это ведь уже не прежний Порфирий. Придется соответствовать.

– Зачем ты пришел?

– Ты велела мне снимать фильмы. С первым было просто. Но со вторым...

– Ты разве снимаешь фильмы? – перебила я. – Ты же пишешь рецензии. Ты не Антуан Кончаловски. Ты Порфирий Каменев.

Он посмотрел на меня с удивлением.

– Я и снимаю, и пишу, и придумываю имена. Ведь ты все знаешь, Мара...

Вещества окончательно выветрились из моей головы, и я осознала серьезность происходящего.

Со мной говорил кластер, сложнейшая система, которую можно было повредить и даже разрушить, задав некорректную комбинацию входных данных. При работе через интерфейс такие возможности были минимизированы – для этого, собственно, он и требовался. А сейчас система вступила со мной в контакт в обход специальной защищенной процедуры. Один ляп, и я могла потерять кластер или нарушить его работу... Надо было быстрее сворачивать разговор.

– Я знаю не все, – ответила я, – а лишь то, что пожелаю знать. Как говорит мой друг Шива, всесилье нужно в первую очередь для того, чтобы ограничить всеведение. Чем я могу тебе помочь?

– У меня несколько технических вопросов, – сказал он. – Насчет параметров, которые надо учесть. Вот здесь у меня целый список.

– Отправь вопросы письмом, – ответила я.

– Как?

Я подумала секунду.

– Напиши на бумаге и сожги ее в храме. У этой же фрески. Только не сегодня. Завтра.

Вечера должно было хватить, чтобы добавить в интерфейс такой режим контакта.

– А сейчас уходи, – продолжала я, – у меня дела.

И я указала на галльского вождя, хвостатым динозавром раскорячившегося передо мной на помосте.

Порфирий повернулся и сошел по деревянным ступеням в поле.

– И еще, – добавила я. – Я благоволю тебе, но не приходи ко мне сам, без моего зова.

– А как я узнаю твой зов?

– Ты услышишь его в сердце, – сказала я. – Не беспокойся об этом.

– Я увижу тебя еще? – спросил он.

В его голосе была мольба. Я кивнула.

Порфирий поклонился и побрел в поле. Скоро его трогательная тонкая фигурка растаяла вдали.

Легионы молчали – и правильно делали. Верцингеториг к этому моменту уже умер, и хорошо поступил, потому что я полностью утратила к нему интерес.

Вечером я кое-как нарастила требуемые дополнения к интерфейсу. Это было на грани моих возможностей, и в очередной раз я с тоской вспомнила свою веселую и умную команду, которой так не повезло в Доминикане... Но все-таки я справилась и прописала новые процедуры. Когда Порфирий на следующий день сжег письмо в храме (хотела бы я увидеть этот храм), его текст сразу высветился на моем планшете.

Все работало.

Порфирий прислал одиннадцать вопросов, которые я не стану здесь приводить из-за их узкоспециальной направленности. Скажу только, что я правильно сделала, решив не отвечать ему на глазах у легионов – многих технических деталей, связанных с синфазной анальной пробкой, я просто не знала, и это могло пошатнуть веру Порфирия в мою мудрость.

Мне пришлось не только провести в сети уйму времени, читая мануалы для этой анальной пробки, но и несколько раз позвонить на горячую айфак-линию, где полные тихой любви голоса рассказывают клиентам-недотепам, как высвободить зажатый прибором член или, наоборот, вытащить из себя дилдо без травмы. Все удалось выяснить.

Я подробно ответила на вопросы, а потом через интерфейс приказала Порфирию вернуться в храм и получить ответ. Сначала я хотела, чтобы текст проступил горящими буквами на стене, но тут можно было наломать дров – самого храма я не видела. Поэтому я остановилась на гласе, раздающемся в полночной темноте.

Все было хорошо. Он мог приступать к работе.

Теперь я в любой момент могла призвать Порфирия и вступить с ним в какую угодно форму общения. Но я опасалась, что это может привести к непредсказуемым последствиям для работы кластера – и решила повременить хотя бы до тех пор, пока мы не доделаем второй фильм.

Сильнее всего меня смущало то, что...

Он слишком мне нравился. Меня влекло к нему, словно это была Жанна в новом теле. Мысль о том, что в некотором смысле все так и есть, волновала особенно.

Через две недели болванка фильма была готова, и Порфирий порадовал меня новой рецензией.

Привожу ее ниже.

В недавнем отклике на «Résistance» мы говорили о том, что среди свежих айфильмов попадают понастоящему сильные художественные высказывания; теперь мы смело добавляем к их списку недавно вышедший фильм «Бейонд».

Самым замечательным нам кажется то, что «Бейонд» – это нечто прямо противоположное «Сопротивлению», и одновременно его двойник: такой же экспериментальный интеллектуальный артхаус.

Если «Résistance» – это зенит, то «Beyond» – надир, или наоборот (верх и низ здесь не важны); говоря иначе, это две чаши весов, идеально уравнивающие друг друга, частица и античастица, два равно рискованных путешествия на разные края одной и той же ночи. Чудо, что в искусстве возможны такие со-творения.

Фильм «Бейонд» уже нацелился на несколько важных международных премий (так думают многие); о нем спорят в интеллектуальных салонах; он, в конце концов, моден...

Нет, он не станет, конечно, главным хитом продаж. Но, как свидетельствуют сетевые отзывы, среди нас есть ценители, посмотревшие его уже по десять и даже двадцать раз. И это происходит с айфильмом о жизни философа, где нет ни перестрелок, ни погонь, ни скольконибудь ярких и необычных любовных эксцессов.

Жан-Люк Бейонд – философ конца двадцатого века, так обогнавший свое время, что некоторые относят его к раннему гипсу. Он жил в Швейцарии, а писал в основном по-английски, хотя был франкофоном. Его место в истории – если брать его значимость для глобальной мысли – уникально, но, чтобы определить точные координаты Бейонда на карте мировой философии, надо эту карту хотя бы примерно представлять.

Попытаемся объяснить ситуацию наглядно.

Сартр и Хайдеггер подобны двум уходящим далеко ввысь пикам, между которыми бездна; один из этих пиков к тому же увенчан свастикой – что не вызывает у нас гневной отповеди главным образом потому, что Хайдеггер труден для восприятия и свастика скрыта от общественности высокими тучами.

Вдумаемся: Сартр – гуманист, увенчанный Нобелевской премией (от которой он, правда, отказался); Хайдеггер – поклонник Гитлера. Пропасть между ними кажется непроходимой, но Бейонд и есть тот мост, что прямо и надежно соединяет две заоблачные вершины мирового духа. Можно было бы, конечно, назвать его *третьим среди двух*, ибо мысль его вынужденно парит на той же головокружительной высоте – но куда важнее не порядковый номер, а функция коммуникации и соединения, причем не только вершин друг с другом, но и нас с ними.

Бейонд – это мост ввысь.

Коротко передать суть его послания весьма трудно; мы можем предложить лишь наше несовершенное и упрощенное понимание вопроса. Лобачевский в своей геометрии показал, что параллельные прямые в бесконечности пересекаются; вот так же и Бейонд продемонстрировал, что хайдеггеровская *встреча с бытием* есть эпиманифестация сартровского *бытия-для-себя*; Бейонд сплавляет Сартра и Хайдеггера в сжатой и очень рискованной сентенции: «в борьбе обретешь ты сущность свою» – а сартровскую диаду доводит до тетрады, вводя «бытие-не-в-себе» и «бытие-не-для-себя». Впрочем, знакомого с предметом наши неловкие попытки

выделить «главное» насмешат или расстроят, а профану мы вряд ли успеем что-то объяснить.

Казалось бы, что интересного может предложить айфильм-индустрии жизнь философа, бедная на внешние события – разве что эротические фантазии? Увертюры и гаммы? О да, все это в фильме есть.

Маленький Жан-Люк в лондонской гостинице; красный гостиничный диван, как бы врезанный в опрокинутую телефонную будку; первый поцелуй и ласка; первая, еще такая смешная и детская, утрата и измена. Отсюда – образ рока как красной телефонной будки, молотом бьющей героя при всякой подножке судьбы, при каждой разлуке...

Насколько можно судить, этот смелый образ никак не основан на реальном наследии Бейонда и является авторской фантазией – но она приятно оживляет пространство фильма, внося в него сновидческую ноту. Предусмотрен режим непрерывных ударов судьбы с одновременной фронтальной стимуляцией, который, без сомнения, оценят спанкеры всех гендерных идентичностей – но фильм, конечно, апеллирует не только к ним.

Главный труд Бейонда – это «Время и ничто», книга всей его жизни. Она величественна, но неполна; кто-то сравнил ее с недостроенным готическим собором.

Бейонд сначала до мелочей продумал структуру книги, а уже затем принялся возводить ее здание, работая над всеми главами одновременно – поэтому ни одной полностью завершенной части в огромном томе нет. Мы уже сравнили этот труд с мостом между вершинами: если продолжить аналогию, Бейонд начал со строительства опор и хотел завершить их все, а потом уже пустить по ним дорогу...

Судьба распорядилась иначе. Когда работа была в самом разгаре, Бейонд заболел редким недугом – амиотрофическим латеральным склерозом (ALS, или Lou Gehrig's disease). Болезнь прогрессировала очень быстро, и вскоре Бейонд оказался почти полностью парализован – как бы заперт в одиночной камере собственного тела (эта трагическая метафора неоднократно встречается во «Времени и ничто»).

Мышцы отказывали постепенно – сначала он мог еще писать, затем – печатать на машинке, сперва двумя руками, потом одной... Некоторое время он диктовал, но мышцы горла отказали тоже. Бейонд работал быстро – но уже понимал, что не успеет.

Медицина в те дни была не слишком избалована чудесами; самым передовым устройством для больных ALS была прикрепленная к голове лазерная указка, позволявшая наводить красное пятнышко на буквы висящей на стене таблицы... Но Бейонду вскоре перестала подчиняться не только шея, но даже мышцы глаз. Работал один сфинктор – эта мышца отказывает последней, уже после века. И лишь здесь болезнь остановилась и перестала прогрессировать.

Примерно через полгода после стабилизации специально для Бейонда в одной из швейцарских клиник изготовили уникальное устройство, снова сделавшее возможным его общение с миром и работу над книгой. Это был анальный зонд с контактом, реагирующим на давление – и специально запрограммированный компьютер, которые тогда только начинали входить в медицинский обиход.

Устройство работало так: экран перед Бейондом показывал ему алфавит, разделенный пополам. Если он хотел выбрать букву в верхней части экрана, он сжимал сфинктор один раз. Если в нижней – два раза. Когда экран занимала верхняя (или, соответственно, нижняя) часть алфавита, она точно так же делилась надвое, и эта процедура повторялась, пока требуемая буква не была выбрана.

Технологии предиктивного ввода еще не получили распространения в те дни, и слово приходилось набирать целиком (есть в этом что-то от кропотливого труда древнеегипетского резчика иероглифов). Три быстрых сжатия сфинктора означали пробел.

Бейонд смог возобновить работу своей жизни. Но дух его был уже надломлен недугом, и

депрессия посещала его все чаще. Она отразилась, конечно, на стиле. Когда Бейонд возвращается к неоконченным главам, чтобы продолжить их, линия этого трагического надлома часто проходит прямо через середину страницы. Вот взятый наугад пример из главы «Другой и Соприсутствие»:

...казалось бы, цель достигается, когда завоевано бытие, имеющее ключ к моей размерности – и я могу с его помощью ассимилировать сознание *другого*. Но, по правде говоря, это всего лишь фундаментальная реакция на *отсутствие-для-другого* как первоначальную ситуацию (хотя в объективном смысле первоначальной ситуации здесь нет). Во избежание недоразумения надо объяснить, в каком смысле здесь говорится о *других*: они здесь – лишь остаток прочих помимо меня, из которых выделяется «Я»: *другие* – это *те*, и со-присутствие с ними не имеет онтологического характера «со-наличия» («со» здесь присутствиеразмерно). *Другой*, таким образом, сразу теряет ключ от моего бытия-объекта – и овладевает просто моим образом; если я могу трансцендировать его возможности к моим, то лишь потому, что он встречен мною не в заранее различающем выхватывании указанного феноменального обстоятельства, а в стихийном модусе узнавания, где он является просто объектом и как таковой не в состоянии признать мою свободу. Мое разочарование полное, поскольку я могу действовать на *другого* лишь в силу того, что я здесь он во. кто как. я тут он не. где там. другое нет. шел шл сюда. где был. завтра уй. мож тепеть. жить ой. но да. lore 3 p.

Внимательный и искушенный читатель сумеет различить в этом абзаце границу между ранним и поздним Бейондом. Видно, что уже после короткого периода работы с зондом философ сильно уставал – но не сдавался.

«Жить ой. Но да». Кажется, что сама хайдеггеровская экзистенция во всем своем *несгибаемом трагизме* раскрывает себя через эти скупые буквы. А по поводу «lore 3 p.» сломано уже немало копий в философских спорах – то ли это отсылка к тройной «легендарности» и «мифологичности» контекста (так полагает большинство), то ли название строевой эсесовской песни «lore lore lore» (на это отчасти указывают слова «шел шл сюда»).

И еще приходит в голову, что «недостроенный готический собор», возможно, не лучшее сравнение для книги Бейонда: скорее это щедрое и солнечное барокко духа, унаследованное скрягой-конструктивистом.

Так выглядит ткань «Времени и ничто» – кроме тех глав, к которым философ уже не успел вернуться во время болезни. Но именно в них и кроется уникальная возможность со-творчества, предоставляемая зрителю (и «со» здесь, вне всяких сомнений, *присутствиеразмерно* в самом позитивном смысле).

Уже сама настройка опций айфильма содержит высокую игру – она отсылает к Сартру. Фильм можно смотреть в двух модусах: «Читать» и «Писать» (так называются части знаменитой повести Сартра «Слова»). В режиме «Читать» вы увидите изысканную, но суховатую бутик-сексодраму. В режиме «Писать» (ударение на «а») вас ждет самое увлекательное и невероятное интеллектуальное приключение вашей жизни.

Да – вы, наверно, уже догадались. У вас появляется возможность увидеть перед собой компьютер Бейонда с его делящимся экраном – и закончить одну из глав «Времени и ничто» (полный электронный текст книги прилагается к айфильму).

Сделать это можно в двух режимах. Для геев (и вагинальной аудитории – такая опция тоже есть) вполне подойдет стандартное дилдо айфака-10 – его сенсоры настолько точны, что порог

срабатывания при сжатии можно настроить любым удобным для вас образом. Но в этом, конечно, будет элемент читинга.

Если же зритель или зрительница хотят увидеть (и ощутить) айфильм так, как он задуман режиссером, им следует воспользоваться входящей в комплект айфака-10 синфазной анальной пробкой – и только ею. Она значительно меньшего диаметра, но ее встроенный сенсор не так чувствителен и требует большего мышечного усилия. Именно таким был зонд самого Бейонда – и это придаст вашему интеллектуальному приключению волнующую аутентичность.

Все ценители смотрят этот айфильм только таким образом; больше того, читеров даже не допускают к участию в конкурсе «Допис. Ж.-Л.Б.» (за одним-единственным исключением).

Да-да, вы не ослышались: в сети объявлен конкурс на лучшее завершение фрагмента из «Времени и ничто». В нем уже приняло участие несколько тысяч человек – их можно смело назвать сливками мировой интеллектуальной элиты.

Говорят, даже именитый Делон Ведровуа несмотря на свой преклонный возраст дописал кусочек из первой части «Времени и ничто» – правда, не на синфазной пробке, а на стандартном дилдо из набора (жюри конкурса разрешило это из почтения к его возрасту). Разумеется, Ведровуа выступал в конкурсе анонимно, но его участие – секрет полишинеля.

Из уважения к этому великому уму приведем отрывок целиком:

...не вызывает сомнения, что необходимым и достаточным условием познания познающим сознанием своего объекта – а всякое сознание непременно есть сознание феноменов – есть то, что оно должно быть и сознанием себя самого в качестве познающего, ибо в противном случае оно оказалось бы сознанием, не сознающим самого себя, то есть не-знающим и бессознательным сознанием, что, очевидно, нелепо. Таким образом, характер самой его (сознания) дескрипции может быть фиксирован лишь из «предметности» того, что должно быть «осознано», то есть через его характерный способ *встречания* феноменов. Феномен же есть то, что обнаруживает себя перед сознанием постольку, поскольку мы можем о нем говорить. Следовательно, должен быть *феномен сознания*, то есть явление сознания, описываемое как таковое, когда сознание узнает себя перед собой самим. Но тождествен ли полученный таким образом *феномен сознания* – *сознанию феномена*? не знаю. пока молч да. сказал поп. думал поп. опять созв. кто слыш. пл. они нет. их уй.

К сожалению, Ведровуа стал мишенью хейтеров, выступивших с гомофобными оскорблениями – они утверждали, что исключение для престарелого гея-философа было сделано потому, что он уже много десятков лет не в состоянии ничего сдвинуть своим сфинктером, и только сверхвысокая чувствительность дилдо айфака-10 и позволила ему кое-как связать несколько слов.

Нашлись среди участников конкурса и ничтожества, повторившие эти слова в отношении самого Бейонда – якобы та же проблема была одной из причин крайней лаконичности его позднего письма.

Это, вероятно, эхо обиды за низкий балл, полученный от жюри за много-много выдвинутых из себя букв. По-человечески это чувство понятно, но хотелось бы напомнить, что глубина философской мысли не всегда зависит от эластичности мышц и можно обладать горой мускулов и интеллектом мыши (последнее к этим господам относится совершенно точно).

Великий Мишель Фуко, сумей он воскреснуть для участия в этом конкурсе, вряд ли оказался бы особенно многословен – но наверняка заставил бы умолкнуть все эти жалкие голоса вражды одним презрительным жимом.

Мне почему-то казалось, что я раньше слышала про этого Бейонда – как я припоминала, это была какая-то послевоенная совесть Европы, которая мало того что служила в СС, но еще и скрывала от СС форму черепа и ориентацию в сфере влечения, а призналась во всем за неделю до того, как в сеть слили рассекреченный архив Штази. Обычная, в общем, история.

Но выяснилось, что я все путаю.

Бейонд был создан кластером специально для фильма. Я поинтересовалась у интерфейса, как именно – и узнала много освежающих деталей.

Фамилия была добыта из названия какой-то старой книги: «Freud, Lacan and beyond» (понятно: «Фрейд с Лаканом говно, а вот Бейонд охуительный совершенно»).

Текст Бейонда был вылеплен по методу так называемого «минса» («mince» по-английски – фарш). Минспрограмма смешивает несколько разных субстанций в одну. Процедура осуществима не только с разными сортами мяса, но и с различными гуманитарными feed'ами.

Алгоритм взял работу Хайдеггера «Время и бытие», книгу Сартра «Бытие и ничто» и соорудил из них «Время и ничто». Текст этого «Времени и ничто» тоже был минсом – одна фраза из Сартра, следующая из Хайдеггера, следующая опять из Сартра, и так до конца книги (так что тезис относительно моста от Хайдеггера к Сартру вполне справедлив). Если проделывать подобное с лишенными внятного смысла философскими паутинами, результат будет так же мутно-внушитель, как наименее понятная из них.

Впрочем, я допускаю, что есть люди, для которых Хайдеггер вполне внятен. Один парень из погибшей в Доминикане команды читал его захлеб, когда работал над кластерными механизмами боли (возможно, для того, чтобы испытать боль самому). Так он этого Хайдеггера не просто понимал, он от него все время плевался:

– Бытие к смерти! Бытие! – ругался он. – Такое только фашист мог выдумать. В какой момент времени герр Хайдеггер обладал бытием? Какой аспект герра Хайдеггера? Обладал ли когда-нибудь бытием весь герр Хайдеггер вместе и кто это засвидетельствовал, кроме районной комендатуры? И если даже он обладал бытием в какой-то момент, что случилось с этим бытием и самим герром Хайдеггером в следующий?

– А как надо? – спросила я.

– Небытие к смерти! Перемены к гибели! Какое еще бытие? Бытие чего? Когда? Разве оно хоть секунду длится? Ненавижу эти возведенные на выгребных пустотах небоскребы духа. Если бы философы строили свои дворцы из кирпичей, а не из слов, их сажали бы за профнепригодность после первой же кладки, потому что сила тяжести сразу вступала бы с ними в диалог. Но слова – это такие кирпичи, которые будут тысячу лет висеть в воздухе в любом месте, куда их воткнешь, поэтому дурить окружающих можно очень долго...

Сейчас он, наверно, сидит с герром Хайдеггером на каком-нибудь облаке в форме танка «Тигр» – и они всласть спорят о своем мальчишеском. Но эта фраза насчет небоскребов над пустотами мне запомнилась. Похоже.

Сама я Хайдеггера не изучала, Господь попустил. Да и Сартра знаю только потому, что он много говорил об искусстве и мне это нужно по работе. Но я видела, что бывает с теми, кто жадно читает этих двух и весь прочий список, чтобы скорее войти в бизнес – особенно когда бедняги относятся к прочитанному всерьез. Ой вей. Но почему-то сохраняется консенсус, что «есть вещи, которые знать необходимо».

Нет, понятно, что преподавателям так называемых «гуманитарных наук» нужна кормовая

база. Но подобное положение дел – это, по-моему, вредительство. Сказать молодому и свежему уму: вот прочитай-ка для развития Хайдеггера, Сартра, Ведрува и Бейонда – это как посоветовать юной деревенской красавице: чтобы познать жизнь, дочка, переспи по десять раз с каждым из двенадцати солярных механизаторов в вашем депо. Она это сделает, конечно – трогательная послушная бедняжка. И жизнь в известном смысле познает. Но вот красавицей уже не останется: во-первых, никогда не отмоет сиськи, а во-вторых, будет ссать соляркой до конца своих дней.

Философские тренажеры не воспитывают ум. Они его искривляют. Когда голову развивают подобным образом, в нее закачивают софт, который немедленно начинает участвовать в каждой вашей «встрече с бытием». И, закачав этот софт, назад вы его уже не откачаете.

Цепкий юный ум может освоить всех этих хайдеггеров и сартров. Но молодым, свежим и непредсказуемым после этого он не будет уже никогда. От него начнет смердеть при каждом его взмахе; мало того, он и качаться-то станет в ту сторону, где давно не осталось ни людей, ни рейхсмарок, которые там были в 1943 году. Откройте любую искусствоведческую статью, посмотрите на криво ссущего соляркой автора – и поймете, о чем я говорю.

По этой же причине, кстати, все блестящие специалисты по чужому творчеству оказываются так ничтожны в качестве творцов – более удачливые предшественники навсегда хакнули их головы, и оттуда теперь идет только вонь и дым. Дыма не бывает без огня, согласна, но это не делает печную трубу камином.

Я, увы, слишком хорошо знаю это на своем опыте – когда я была школьницей, я мечтала писать стихи и учила наизусть чудовищное число разных поэток и поэтов на трех языках. А надо было избегать стихов и читать хорошую прозу. Это я поняла уже потом, когда стала искусствоведом (кстати, очень может быть, что и в Жанне я на самом деле любила свою несостоявшуюся тень – Сафо).

Любой человек инсталлирует скачанные из сети программы на свой девайс с большой осторожностью. А их ведь можно стереть. В крайнем случае можно выбросить девайс и купить новый. Но на главный диск у себя в голове, который не поменять до смерти, человек доверчиво ставит что попало. Немедленно и с песнями выжигает в нейронах на все свое короткое «всегда».

Нет, я не хочу сказать, конечно, что весь мейнстримный софт – полное говно. Это не говно. Это, как верно подметил Порфирий, сделанный из говна инструмент власти истеблишмента, закачанный вам под кожу. То есть даже не закачанный, нет. Доверчиво установленный вами же.

К булькающей в мейнстриме информации следует подходить только в костюме полной биологической защиты и внимательно смотреть – что, откуда и как. А лучше не подходить вообще, довольствуясь наблюдением за подошедшими – например, в соцсетях. Этого обычно достаточно. Я вот, например, давно поняла, что меньше – это больше...

...и поэтому, наверно, накатала эти три страницы. Во как бомбануло, сама не верю.

Зато ясно стало, какую именно человеческую – ох, очень человеческую – особенность так искусно изобразил во «Взломпе» имитационный алгоритм Порфирия, рассуждая о критике.

Кино, одним словом, удалось. Брало за душу и будило мысль, как я только что доказала на личном примере.

Бонус за маркетинг анальной пробки пришлось в этот раз делить уже на шесть частей – но мне хватило, и я не жаловалась. Дистрибуция нормальная, пресса – просто отличная...

Перспективы завораживают.

Возвращаясь к теме через два месяца – что я могу сказать? Когда я писала прошлый абзац, все было хорошо. То есть все вообще. Но именно здесь, учит китайская натурфилософия, и появляется первая трещина на месте будущей пропасти.

Вскоре после выхода «Бейонда» начались проблемы.

Нет, пока еще не у меня. Проблемы начались у Ари Менахема – продюсера, которому я сбывала свои фильмы через партнеров в Промежностях (лично знакомы мы не были). Это его студии занимались пересчетом моих болванок во всемирно заметные шедевры.

Вернее сказать, проблемы у Менахема не начались, а кончились. Его убили – почему я и называю здесь его настоящее имя.

Это сделал слипер Халифата, подорвавший себя прямо на голливудском торжестве рядом с красной дорожкой, по которой Менахем проходил. В американских вилаятах в ходу бомбы, состоящие из множества проглоченных перед процедурой презервативов со взрывчаткой (научились у наркокартелей). Бомба без металлических частей – поражающие элементы в ней из пластика. Но он тоже убивает. Правда, гибнет при таких взрывах не так много народу. В этот раз – всего трое.

Подрывник сохранился для вечности в видеоотчетах множества камер – безукоризненная манишка, черная бабочка, изящно подбритая бородка, две татуированных слезы под правым глазом – все по последней моде. Жить бы и жить с таким лицом.

Среди жертв оказался один кросс-религиозный небинарный рэппер камерунской идентичности, недавно получивший «Грэмми», поэтому говорили в основном про него – а о Менахеме в прессе помалкивали, представляя его случайной жертвой акта ненависти. Но на самом деле молчали, конечно, потому, что на свет могло вылезти много неприятного.

Менахем был очень серьезным и богатым человеком, и сперва все подумали, что у него с Халифатом остались какие-то нерешенные финансовые вопросы. Но оказалось, что это идеологическая акция устрашения, связанная с его профессиональной деятельностью, конкретно – с фильмом «Блонди» (Порфирий упоминал его в своей рецензии на «Résistance»).

Чтобы объяснить, в чем было дело, придется рассказать про «Блонди» – после убийства Менахема фильм убрали со всех площадок и ресурсов, и читатель сам ничего не найдет.

Порфирий был прав: рынок остросюжетных зооайфилмов за последние десять лет так расширился и окреп, что получил даже свою ироническую слэнговую маркировку – «зорро-муви». Так называется смесь триллера с нишевой зооэротикой. Это давно уже не новость, но серьезных блокбастеров в этом жанре прежде не снимали.

Я сразу хочу пояснить, что я не зоофобка – у меня много друзей-зоофилов, и это замечательные высокоморальные люди, которым я без всякого страха доверила бы свою птичку или песика, если бы они у меня были. Но количество зорро-мувиз, выходящих сегодня на экран, далеко перекрывает потребности этой специфической потребительской ниши. В их просмотр постепенно вовлекаемся мы все – и в этом, скорее всего, есть политический подтекст.

Не в том смысле, конечно, что «содом на холме», как выражаются религиозные фанатики, пытается навязать нам эти вкусы. Все куда проще. ЛГБТ- и diversity- повестки, сливаясь в одну ароматную гуманитарную орхидею, питали прогрессивное движение почти век – но теперь этот подход уже не работает.

Мускулистая афроамериканская женщина с подвижной гендерной идентичностью, инфицированная Зикой-три и редкими штаммами юкатанского герпеса (а шире говоря – вся power-to-the-people образность и символика) давно уже стали визитной карточкой Мирового Правительства (хорошо, забудем «Гармонический Гипс» – глобального истеблишмента, Единого Банка, Мирового Океана и так далее). Именно от этого символического лица ведутся все инспирированные субботними телекомиками войны и осуществляются все перевороты на

планете – не говоря уже о финансовых реформах.

Сегодняшним прогрессистам мало прежнего понимания diversity – нужны новые фокальные точки дискурса. Нужно что-то продавливать, кого-то осуждать, с чем-то бороться – но не с Единым же Банком, в самом деле – а то ведь снимут с финансирования. Чтобы достучаться до человеческого сердца, идеально подходит собачка или кошечка, а если к этому можно подверстать сексуальный подтекст (и iPhuck-store заодно), вообще замечательно. Отсюда этот визг про «секс-права животных» (я, разумеется, полностью согласна с гуманистическим стержнем этого движения и иронизирую только по поводу некоторых перегибов на местах).

До «Блонди» все зорро-мувиз отпращивались в нишевое гетто. «Блонди» стала первым хитом, вышедшим за жанровые рамки – это не просто зорро-муви, а еще и снятая с редким размахом историческая драма, содержащая, как и все, что выплевывает сегодня Голливуд, апдейты и апгрейды по важнейшим вопросам политической истории.

Конечно, слово «история» здесь следует взять в кавычки – клюквенного сока в «Блонди» пролито столько, что в нем можно утопить не один «Титаник». Но упрекать в этом Голливуд было бы странно. Костюмы и машинерия другой эпохи воссозданы в точных деталях – спасибо и на этом. А тех немногих, кого интересует историческая правда, ждут архивы.

Хоть я сама и не зоо, фильм мне понравился, и смотреть его было интересно от начала до конца.

Помню, он начинался эффектно и жутко.

Гитлер стоит у панорамного окна своей горной резиденции с видом на заснеженные пики Альп – и глядит в хрустальный шар. Наплыв – и мы погружаемся в его видения: пылающие башни с красными звездами, какие-то омерзительные жирно-носатые хари, наступающие по заснеженной равнине дивизии, трупы в сугробах... Все это сопровождается нарастающим тяжким предчувствием, которое мастерски наводит транскарниальный стимулятор.

Но вот видение прерывается. Доносится звонкий собачий лай. Гитлер кладет хрустальный шар на стол. Из угла на фюрера смотрит его овчарка Блонди: ее язык высунут, а в глазах – словно бы желание сообщить что-то очень-очень важное...

Шар еще вчера подменил шпион-уборщик. Блонди все видела, но ничего не может сказать.

Надо, наверно, разобраться – хотя бы для себя – откуда в этом фильме что растет. Мне даже интересно, смогу ли я наваять такую же рецензию, как мой ползущий по вялому кластеру Порфирий.

Попробую.

Кино это, как часто бывает в Голливуде, основано на материале, натырленном по мелочам из чужого контента. Натырено, ясное дело, ловко и профессионально, и ни один лоер ничего не докажет – поэтому критики на содержании уклончиво называют это «космополитической культурной аурой».

У фильма, конечно, есть и чисто идеологическая сверхзадача. После того, как вину за начало Второй мировой окончательно перевесили на Россию, в прогрессивном дискурсе стала ощущаться необходимость повесить туда же и Холокост. Если вы крутитесь в кинобизнесе, вы такие вещи чувствуете вагиной. Но делать подобное надо исключительно умело и тонко – чтобы не оскорбить невидимого заказчика чрезмерной услужливостью.

Вопрос с ответственностью России за Холокост создатели «Блонди» разруливают просто с какой-то лунатической элегантностью. Гитлер в этом фильме – эдакий мистик-гик, чокнутый мечтатель, черный Мюнхгаузен. Он все время глядит в хрустальный шар, чтобы понять, куда двигать Рейх дальше. Про это узнают агенты НКВД, и решают подменить этот шар, чтобы навести фюрера на мысль о вторжении в Англию.

Для этого сталинские специалисты по подсознательным манипуляциям пытаются сделать

такой же шар с сублиминальным – то есть сознательно неуловимым – портретом злобного Черчилля. Гитлер, мол, будет глядеть в свой шар, разозлится на Черчилля и начнет вторжение...

В России есть завод, где производят так называемые «Святочные Кремли» для коллективного армейского созерцания – это стеклянные шары с лазерным изображением Кремля внутри. Вот этот завод и получает задание изготовить фальшивый сублиминальный шар для фюрера.

Но из-за отсталости русских технологий и повального пьянства на заводе лазерный Черчилль получается похожим на карикатурного носатого еврея из антисемитских брошюр. Мало того, матерящиеся русские умельцы ухитряются оставить в поддельном хрустальном шаре тень «Святочного Кремля», потому что при первом проходе лазера забывают отключить стандартную процедуру...

В результате становится ясно, что русские спровоцировали Гитлера не только на Холокост, они еще и заставили его напасть на Россию. Умно, да. Лазеров тогда, правда, не было, но кто про это вспомнит, когда сердце дрожит от гнева. Это же кино.

По сюжету Гитлер воображает себя благородным германским волком – Атаульфом – и в мистических целях вступает в связь со своей овчаркой: регулярный союз двух эфирных тел позволяет ему выйти за пределы человеческой полосы восприятия и обрести паранормальное знание. Эти сцены отсчитаны с большой помпой, великолепными эффектами и филигранной транскарниальной поддержкой.

Два эпизода в Баварских Альпах, три в самолете, четыре в Берлине, целых шесть в «Вольфшанце» (здесь Атаульф особенно раздухарился – в собственной фантазии он превращается в огромного черного волка, что великолепно передают спецэффекты), три сцены в бункере под рейхсканцелярией... Здесь зоо-аудитория срывает цветы своей хвостатой радости – но благодаря транскарниальному стимулятору ее может разделить и любой широко мыслящий человек, не относящийся к целевой группе (по секрету сообщу, что при знании чит-кодов в сценах из «Вольфшанце» можно несколько отдалиться от сюжета – например, использовать в качестве пенетратора бюст Фридриха Великого).

Но война идет своим ходом. В конце концов Гитлер усыпляет собаку, чтобы спасти ее от надвигающихся центральноазиатских орд, а потом кончает счеты с жизнью. На этом мы расстаемся с фюрером – но не с Блонди.

Собачья душа проходит через все мытарства Бардо, в том числе и сквозь бесконечные сексуальные видения. Некоторые становятся серьезным вызовом даже для айфака-10, технические возможности которого используются на самом пределе. Это, пожалуй, самая интересная часть фильма – именно здесь зрителя ждут самые замысловатые приключения тела и духа.

Сцены в Бардо – настоящий гимн всем видам соития, когда-либо существовавшим в живой природе за последний миллиард лет, и хоть мы проносимся сквозь это содрогающееся в самооплодотворении облако со скоростью пули, в нескольких его точках есть опция паузы, где можно тесно пообщаться с одноклеточной водорослью (что с того, что они размножились делением), с древней кистеперой рыбой, с динозавром и даже с «саблезубым австралопитеком», который особенно пришелся мне по душе – у него огромный член, но парниша боится огня, а на земле пылает поваленное молнией дерево диаметром с хорошую шпалу... Да-да, вы поняли меня верно.

Когда я смотрела эту часть фильма, я думала, что вот оно – будущее зорро-мувиз и вообще айфак-кинематографа. Уйти в абсолютную фантазию, мечту... Или вообще в мир идеальных понятий, как это сделал Порфирий в «Бейонде». Но создатели «Блонди», похоже, испугались своего всеислия: это как магия чистого листа бумаги, где в любой момент можно написать

стихотворение безграничной гениальности, но почему-то не решается никто... Дальше авторы возвращаются на проторенную дорогу рыночных клише и больше с нее не сворачивают.

До этого момента фильм не допускал никаких идеологических оплошностей, за которые Менахема могли бы так сурово наказать. Блокбастеры обычно не делают серьезных ляпов в смысле оскорбления чувств, подлежащих учету.

Но сценаристы зачем-то вставили в фильм Св. Ангелу.

По сюжету Блонди перерождается... будущим канцлером Германии Ангелой Меркель. Она ничего не помнит о прошлой жизни – вот только недолюбливает собак.

Тем острее кажутся рассчитанные на зрительниц и she-зрителей сцены с Большим Черным Псом, сгруппированные во второй части фильма, немудряще названной «Der Karma-code». Страсти Св. Ангелы в заточении у полуголого русского диктатора изображены с таким же размахом, с каким сняты сцены в «Вольфшанце», но утомляют однообразием, необязательным эзотерическим флером и – самое главное – исторической недостоверностью.

«Прочисти ей муладхару, о пятиногий! Пусть вспомнит все!»

Вряд ли русские сатрапы той эпохи знали слово «муладхара» (так называется чakra в основании позвоночника) – они ведь не йоги. Вряд ли немецкие дипломаты тех лет здоровались, говоря «Адольф Акбар!» – это приветствие, действительно распространенное в вилайете «Гросс Дойчланд» (бывшая северо-западная Польша), появится еще не скоро. На фоне кропотливого воспроизведения костюмов и технологий подобные небрежности особенно раздражают. То же относится и к факелам, коптящим в подземельях Лубянки. Но Голливуд есть Голливуд.

Св. Ангела в результате и правда вспоминает все. Только не про золото Рейха, как надеялся ее мучитель, а про хрустальный шар, подкинутый фюреру русскими агентами... Дальнейшая интрига фильма – дойдет ли важнейшая информация о подлинных виновниках Холокоста до свободных СМИ.

Единственная обязательная для классического зорро-муви тема, которую к этому моменту еще не отыграли в «Блонди» – это так называемый «зоофетиш», то есть секс с чучелом. Было интересно, как авторы решат проблему – и это вышло у них неплохо и вполне органично.

Некое тайное общество наподобие масонского, оказывается, сохранило обгоревшую шкуру Блонди – и сделало из нее то самое собачье чучело. Оно используется для симпатическо-церемониальной магии, позволяющей влиять на рассудок бундесканцлерин при принятии важнейших решений.

Для этого в тайном обществе есть специальный ритуал: одетый в пурпурную рясу адепт подходит к чучелу сзади, соединяется с ним и, повторяя заклинания, поворачивает собачью морду в нужный сектор начертанной на полу дуги с каббалистическими знаками. Поворот в европейской политике следует незамедлительно.

О колдовстве, понятно, узнают спецслужбы.

На этом и основан головокружительно развивающийся сюжет второй части – сцена с чучелом без конца повторяется с разными участниками на фоне великолепно поставленных драк.

Как и во всех уважающих себя киноэпосах, Малая Битва, бушующая в тайном мистическом центре событий, находит немедленное отражение в Большой Битве, где сражаются широкие народные массы.

В ритуальном зале ложи идут яростные столкновения как минимум пяти разных спецслужб, к чучелу Блонди протискивается то ЦРУ, то Моссад, то турецкая охранка, и каждый раз Европу трясет. А драка за чучело идет опять, и для пущего декаданса по залу с заливистым лаем носится целая свора русских европейцев, готовых обслужить зрителя и особенно зрительницу по первому кивку...

Я не люблю открытых финалов, но это самая впечатляющая часть фильма, и по-настоящему жуткая: режиссер, по собственному признанию, вдохновлялся старым голливудским шедевром «Sleepy Hollow». Я не поленилась его посмотреть.

Действительно, практически тот же сюжет: колдунья управляет безголовым гессенским кавалеристом с помощью его черепа... Но в «Sleepy Hollow» нашелся один кадр, который меня по-настоящему ужаснул.

Гессенский кавалерист, вернув себе череп, приставляет его к шее, череп за минуту покрывается плотью – и кавалерист, схватив мучавшую его столько лет колдунью, сажает ее к себе на седло... Кажется, он должен разорвать ее на части – но он поступает еще страшнее: глядя ей в очи безумными выкаченными глазами, он целует ее в сосок, целует с такой демонической страстью, что изо рта колдуньи начинает течь кровь – а потом уносит в ад.

Я пересмотрела эту сцену раз десять. Не знаю почему – но мне стало казаться, что это мрачное предзнаменование лично мне, словно бы первый отголосок чего-то чудовищного, затаившегося в моем будущем.

Впрочем, задача любого ужастика именно в том, чтобы наполнить зрителя подобными чувствами; если ему начинает мерещиться чертовщина, значит, фильм удался. Только вспомнив это, я пришла наконец в себя.

Вещества, да.

Но я отвлеклась. Драки вокруг чучела – это очень увлекательно, но, вставив в фильм Св. Ангелу, авторы болванки допустили ошибку, за которую бедняга Менахем (стопроцентно не имевший к этому никакого отношения – он мелочами не занимался) заплатил жизнью. Как оказалось, собака была зарыта именно здесь.

Историческую Ангелу Меркель канонизировали почти все европейские катакомбные христиане за ее милосердие и кроткий нрав – и за то, конечно, что именно через нее им вновь открылась ведущая к Христу древняя дорога. Но, поскольку это христианская святая, плюнуть в нее разок-другой казалось авторам фильма вполне безопасным и даже пикантным.

Вот только они не учли, что Святой Ангеле Блаженной поклоняются не одни катакомбные христиане. Ее чтят также и воины Халифата, которым она известна под именем Уммеркель-ханум (по смыслу нечто вроде «почтенная матушка Меркель»).

А у Халифата несколько другой подход к весельчакам.

Самое же смешное – или грустное – в том, что не только старик Менахем, но и сами авторы болванки наверняка ничего не имели против Св. Ангелы и ее почитателей. Что им Гекуба (которая, кстати сказать, по легенде тоже превратилась в собаку). Просто алгоритм прикинул, что так удобнее всего объединить в одном сюжете зоофетиш и Большого Черного Пса, одинаково востребованных рынком.

А потом Большой Черный Пес увидел с экрана несчастных легкомысленных дурачков – и раскрыл на них свою бледную пасть.

В записи от прошлого месяца я иронизировала насчет несчастных легкомысленных дурачков. Ох, зря.

Но по порядку. После смерти Менахема канал, через который я продала две подготовленные Порфирием болванки, накрылся. Этого следовало ожидать.

Но это было еще далеко не все.

Контора Менахема оказалась под следствием, его серверы были изъяты, и полные списки его контрагентов и поставщиков, а также бухгалтерия (старый козел почему-то держал все это в незашифрованном виде) попали в лапы к федеральным дознавателям.

Они искали тех, кто сделал для Менахема болванку «Блонди». Но в результате вычислили всех, кто на Менахема работал – с локациями от России до Парагвая. А потом поделились этими данными со всеми заинтересованными национальными агентствами.

И скоро я увидела бледную пасть сама. Очень-очень близко.

Проблема оказалась совершенно для меня неожиданной. Я, если честно, даже подумать не могла, что такое возможно. А думать было надо.

В Российской Империи уже четверть века действует закон «Об Императорской Фамилии». Это, по сути, *lèse-majesté* древнеримских времен – закон об оскорблении величества, распространяющийся на всю Высочайшую Семью. Его принимали как одну из множества связанных с монархией ритуальных скреп, и рассчитан на реальное применение он, конечно, не был. Просто потому, что у Государя никаких родственников нет.

Для тех, кто не в курсе российских дел, придется объяснить, кто у нас Государь. Когда в конце тридцатых восстанавливали монархию, никто даже не рассматривал традиционных претендентов на престол, все еще живущих где-то в Европе, всерьез. Это была эпоха дизайнерских деток, наука казалась всесильной, и российские генетики были уверены, что сумеют создать идеального в генетическом отношении монарха.

Поставленная перед ними задача была непроста.

Человеческий зародыш проходит в своем развитии разные фазы всеобщей эволюции; вот так же и монарх, по мысли создателей, должен был воплощать в себе все противоречивые, взаимоисключающие, но равно славные ступени отечественной истории.

Для обеспечения символической преемственности эпох следовало соединить в конечном продукте лучшие гены старого российского дворянства с наследственным материалом самой нажористой советской номенклатуры. Кроме того, букет DNA должен был связать будущего самодержца с наиболее выпуклым и ярким в российском культурном наследии – тоже, в идеале, из разных исторических периодов.

После бурных событий двадцатых и тридцатых выбирать было особенно не из чего – живых носителей подходящей DNA практически не осталось. Точный состав генома никогда не предавался официальной огласке – это гостайна. Но, по анонимно слитой в сеть информации, главным источником генетического материала (тридцать восемь процентов) стали волосы из левого уса кинематографического титана Никиты Михалкова, сохранившиеся в качестве вещественного доказательства в архиве Министерства госбезопасности.

Остальные проценты были заполнены тщательно подобранными сегментами генома европейских, китайских и абиссинских династий, а также элементами кода Четырех Великих Матерей, сделавшими будущего императора галахическим евреем (понятно, по новой DNA-Галахе – с нее все и рисовали). Это было предпринято для улучшения шансов на династические

браки и наследование, и вообще для повышения международной легитимности.

Кроме того – хоть у нас про это не вспоминают – технически наш император еще и негр: не черный, конечно, а квадрупл-милк-кофе, так что наметанный американский глаз сразу заценивает diversity, а небрежный русский не замечает ничего. Мудрый подход – ни в антисемитизме, ни в белом шовинизме правящий дом пока не обвиняли.

Получившийся государь вышел приятным на вид кучерявым толстяком, характер имел добрый и мягкий, вот только любил стрелять из нагана ворон и кошек. Закон «Об Императорской Фамилии» и принимали в основном для того, чтобы пресса держалась подальше от подобных жареных фактов (ну или слухов). Иной необходимости не было – родственники у императора отсутствовали.

Было только двенадцать клонов, выращенных и воспитанных вместе в специальном классе Пажеского корпуса.

Обсуждение этого обстоятельства, а также сплетни про образ жизни теневых Государей не приветствовались. Но, когда самолет Аркадия Первого сбили дроны Халифата и трон занял совершенно неотличимый Аркадий Второй, о существовании дублеров узнали, конечно, все. Генетическое дублирование Высочайших Особ было признано мудрой государственной политикой.

Аркадий Второй женился на балерине, Аркадий Третий умер от гемофилии, Аркадий Четвертый отрекся в пользу Аркадия Пятого, а допившегося до цирроза Аркадия Пятого уже в зрелом возрасте сменил нынешний государь, Аркадий Шестой. И у всех были одни и те же привычки, как могли убедиться вороны и кошки в окрестностях Малого дворца на Рублевке. При этом даже сейчас на запасном пути у нас стоит аж целых шесть пожилых бронепоездов, так что никакой террор нам по большому счету не страшен.

Я искренне считаю, что монархия – весьма полезный институт, особенно в наше смутное время. Ведь чем отличается монархия от так называемой «представительной демократии»? Тем, что в худшем случае монархию на время возглавит один – только один – дурной человек. А в так называемой «представительной демократии» наверху всегда будет кишеть сотня омерзительных червей-сенаторов, у каждого из которых – своя гнусная повестка и штат на все готовых информационных говночерпиев. Как говорили раньше, монарх может оказаться хорошим парнем чисто случайно. Политик – ни за что.

Поэтому, когда я получила информацию о возбуждении против меня дела по закону «Об Императорской Фамилии», я решила, что это плохая шутка. Оскорбление величества? Да я махровейшая монархистка!

Но оказалось, что все ох как серьезно. А устроил мне эту адскую западню...

Порфирий.

Да. Я знала, что это не было случайностью. Вернее, это могло бы оказаться случайностью, учини такое человек – но не литературный симулятор с трансгендерно-полицейским прошлым, отлично знающий, какие последствия имеет каждое использованное им слово. Я не заметила надвигающейся беды, это да. Но человеческие возможности подобная прозорливость превышает точно.

Автором фильма «Résistance» был заявлен некий Антуан Кончаловски – якобы пророченный пренатальными дизайнерами «из ногтя гипсового режиссера». Такая информация содержалась и в рецензии Порфирия, и в сопроводительных материалах, и даже в титрах.

Я была уверена, что алгоритм гипсового кластера просто подобрал убедительно и увесисто звучащее имя – так, чтобы этого режиссера никто не вздумал искать. Мало ли их, проросших в Намибии.

Но выяснилось, что реальный Кончаловский был близким родственником Никиты

Михалкова – настолько близким, что по генетическим нормам на него распространялось действие закона «Об Императорской Фамилии». Использование его генетического материала оказалось делом государственной важности.

Информация о том, что где-то в Намибии живет и, возможно, страдает близкий родственник Государя, была подхвачена сначала «Колоколом России», потом ее повторил с думской трибуны депутат Пучкович (тот самый лысый придурок, который на слушаниях по Крыму разбил о трибуну бутылку «Абрау»), и пошлопоехало.

Для расследования была назначена Государственная Комиссия. Это, конечно, не так ужасно, как звучит – всего-то пару депутатов поставили отслеживать новости по теме. Можно пережить. Все бы постепенно обошлось и забылось – сколько их уже было, таких комиссий.

Но в этот самый момент в Министерстве Госбезопасности приземлилось письмо счастья от американских федералов. Где было прямо сказано, что автор информации об Антуане Кончаловски и одновременно юридический собственник исходных материалов к «Résistance» – это я. В письме было указано мое настоящее имя: Мара Гнедых.

Понять все это угловатыми депутатскими извилинами можно было либо в том смысле, что я подло клевету на Фамилию в корыстных целях, либо так, что я главарь международной банды, содержащей где-то в намибийских шахтах ближайшего родственника Государя.

Если же я просто придумала все это с целью развлечения, закон обещал быть со мной особенно суров – для таких случаев его и принимали. Случайностей не предусматривалось.

Спасибо, Менахем – и упокой Господи твою душу где-нибудь в магмах.

У меня есть, конечно, прикрытие в МГБ – без этого в нашем бизнесе никак. Но в этот раз был поднят такой кипеш, что помочь мне не могли. Сумели только предупредить, что скоро за мной прилетят дроны с мигалками.

В таком бизнесе, как мой, человек всегда должен быть готов к внезапному отбытию из дома на длительный срок. У него должны быть навыки по перемене внешности. Кроме того, очень рекомендуется иметь на примете кроличью нору, куда можно надолго упасть – даже если она не ведет в Страну Чудес. И еще, конечно, надо представлять себе методы, используемые агентствами для поиска беглецов.

Самое главное – не брать с собой ни один из девайсов, зарегистрированных на вас. А поскольку жить вне сети в наше время трудно, надо иметь готовый комплект устройств и аккаунтов, открытых на другое имя. Нужно также иметь левый юничип с прикрепленным к нему счетом – словом, целую запасную личность, ждущую своего часа. Все это надо делать заранее, потому что после шухера времени уже не будет.

У меня такая запасная личность, конечно, была. Ее звали Габриэла Черубинина (сведущий в искусстве человек, возможно, поймет, откуда это имя, менты и их алгоритмы – вряд ли).

Из проклятого прошлого я могла взять с собой только свой айфак-10 и накопитель с гипсовым кластером. Это все, что у меня оставалось. Вырастить еще один подобный кластер с моими знаниями было нереально, а друзей... друзей уж было не вернуть.

Но с айфаком не было связано практически никакого риска. Я могла даже подключаться к сети – у меня стояла надежная утилита, менявшая серийный номер и все прочие электронные отпечатки устройства при выходе в сеть. Я не запускала ее дома, приберегая именно для такого случая (если бы мне пришло в голову активировать ее при работе с кластером, возможно, никакого «такого случая» в моей жизни не возникло бы вообще – но задним умом крепки все). Еще у меня был, конечно, целый букет анонимайзеров и все необходимое, чтобы Габриэлу не засекали по похожим на Мару паттернам сетевого поведения. Это азы.

Мне следовало сменить внешность. Многих женщин-преступниц ловят именно по той причине, что у них уходит слишком много времени на выбор альтернативной косметики и

одежды, но у меня было подготовлено и это. Я достала из шкафа черную спортивную сумку, раскрыла ее – и за пять минут стала длинноволосой блондинкой в сиреновом летнем платье до икр. Три минуты из пяти ушли на то, чтобы поджелтить брови.

У меня был зарегистрированный на Г. Черубинину трехколесный кабриолет, ждавший на подземной стоянке в двух кварталах от дома. Я собрала вещи в сумку, положила в другую накопитель, в третью – айфак с огментами, и можно было идти.

Но прежде, конечно, надо было отключить систему видеонаблюдения в нашем жилом комплексе. Этот хак тоже был давно отлажен и ждал своего часа. Я оформила его в виде небольшой программы на телефоне, которая запускалась одним тычком пальца. Еще тридцать секунд.

После этого я вышла из дома и, сгибаясь под тяжестью трех сумок, честно прошла по улице два квартала до стоянки. Мне вызвался помочь какой-то юноша с изнуренным лицом, но я сказала, что не подаю. Не люблю свинюков.

Через час я уже летела прочь из Москвы по Дмитровской дороге на своей электрической трехколеске – и мне казалось, что я, как булгаковская Маргарита, несусь низко-низко над землей на помеле.

Свободна! Свободна!

Меня ждал не слишком комфортабельный, но вполне обитаемый домик с садом – из тех, что практически не изменились за последние два века. Сейчас это модно – многие даже строят «под ветхость».

Дом был записан на жившую в нем татуированную старушку Дарью Тимофеевну из бывших хипстерш и фем-активисток. Она состояла при доме чем-то вроде хранительницы – у нее была своя комната с отдельным входом, где, кроме Дарьи Тимофеевны, жили два оскопленных кота.

Тимофеевна мало интересовалась земным, читала «Добротолубие» и стучала головой в пол, замаливая юность. Эх, знали бы бесстрашные молодые оторвы, ужасающие своими подвигами сеть, что активизм во все эпохи разный, а вот старость, иконы и коты – одинаковые во все времена...

Жизнь в домике была налажена. Я могла даже не выходить за забор. В поселке имелся магазин, где можно было покупать еду – не слишком качественную, но годную. Туда можно было послать Тимофеевну. Еще можно было заказывать дрон-доставку из ближайшего гипермаркета – пять километров или около того, копейки. Не было даже необходимости палить юничип на чужое имя в сельпо: моя старушенция оплачивала все своим, а потом получала не вызывающие никаких подозрений гуманитарные переводы.

Водопровод, отопление, электричество, сеть...

Я могла незаметно прожить в этом месте всю жизнь.

Я доехала до своей норы, запарковала машину на участке, расцеловалась с Тимофеевной и напилась с ней чаю, объяснив, что приехала для творческой работы, надолго, и беспокоить меня не надо – а также не надо никому про меня говорить.

В комнате уютно пахло старыми досками и керосином (у Тимофеевны было несколько настоящих керосиновых ламп, которые она зажигала под образами на церковные праздники). Строго глядел с иконы какойто седобородый старичок из небесных спецслужб, явно знавший про меня все. И под его острым взглядом моя эйфория стала понемногу стихать.

Да, я могла прожить здесь долго. Но что это была за жизнь?

Теперь я буду писать в настоящем времени – слишком уж мрачно выглядят будущее с прошлым. Кроме того, я переношу дневник с планшета на телефон, чтобы инфа случайно не слилась в кластер. Я не хочу раньше времени знакомить Порфирия со своими планами.

За три дня раздумий в моей голове установилась некоторая ясность относительно дальнейших перспектив. Бежать за границу нереально. Я не могу выехать даже в родной Евросоюз – моя фальшивая личность рассчитана только на внутреннее применение и не переживет строгого пограничного рентгена.

Жить в избушке у Тимофеевны? Ага, и постепенно начать молиться вместе с ней. Что замаливать, у меня есть – стоит только встать на колени, и неизвестно, кто кого перестучит в доски лбом... Тоже не годится.

По большому счету я могу сделать только одно – сдать властям. Но здесь есть серьезные нюансы.

Если автором болванки к «Résistance» признают меня (в том смысле, что я выдумала все это с умыслом и лично), закон «Об Императорской Фамилии» не оставляет мне никаких шансов.

Конфискация, поражение в правах, клеймение, ссылка – когда закон принимали, специально старались, чтобы все выглядело по-средневековому жутко. Как говорится, уж если припадать к истокам, так с размаху. Некоторые депутаты предлагали даже вырывать виновным язык – поправку не приняли только потому, что в электронную эпоху чаще согрешают другими частями тела.

Нет, этот вариант не подлежит рассмотрению.

Но если меня признают виновной в незаконном предпринимательстве и «нелегальных IT-практиках» – как уклончиво обозначают в законе работы с рандомкодом – то мне светит только крупный штраф и пара лет условно.

Для этого надо доказать, что сценарий «Résistance» написан кластером без моего участия. То есть рассказать властям правду... Или хотя бы ее часть. Это можно сделать – но тогда придется предъявить в качестве доказательства сам кластер.

Ничего другого мне не остается.

Но прежде кластер необходимо зачистить. Надо сделать так, чтобы в нем не осталось никаких следов Жанны и гипсовой коллекции – эту часть своей истории я засвечивать не собираюсь. Никаких следов истории с Доминиканой. И, конечно, никакого Порфирия, потому что он знает и про Доминикану, и про гипс.

Мне следует стереть все – увы, вместе с огромными фрагментами кластера, который после этого станет неработоспособным. Я на это готова. Но я не могу ничего сделать при активном Порфирии – потому что он уже не тот безответный алгоритм, что я сбросила когда-то в колодец истины. Он стал теперь сознанием кластера, а кластер обладает программным инстинктом самосохранения. Я не могу удалять части его тела, если при этом возникает угроза его общему функционированию – это наша встроенная «защита от идиота», много раз спасавшая нас во время отладки. Грубо говоря, я не могу отпилить Порфирию голову через свой интерфейс. Я могу только пришить ему еще одну.

Я не могу никого нанять, чтобы его убить – в кластере нет своей Доминиканы, а если и есть, то у меня там нет связей. Я могу только вызвать Порфирия на встречу. Он должен прийти. Но точно так же он может в любой момент уйти. Где именно в кластере он себя хранит, я не знаю. Найти его там я не могу.

Мне надо придумать что-то вроде программного гарпуна, который позволит мне проследовать за ним в глубины кластера, хочет он этого или нет.

Ужасно раздражает запах котов.

Задача оказалась не такой уж сложной – но я возилась с ней почти неделю. Наконец все готово.

В огментах я вижу новый программный блок как моток красной веревки – достаточно кинуть им в Порфирия, и на нем захлестнется петля. Он никуда больше не сможет от меня деться – и мне не надо будет даже держать веревку в руках.

На уровне кода эта веревка с петлей – просто принудительный коммутатор блока «6 Sense Bases», где генерируются антропоморфные состояния системы. Раньше я не хотела к нему подключаться, но теперь не остается ничего другого. Я собираюсь замкнуть его каналы на себя через огмент-очки и транскарниальный стимулятор. Понятно, это не касается блока так называемых «мыслей» – их транскарниальник не возьмет. Это – во всяком случае, теоретически – позволит мне находиться там же, где Порфирий.

Я изготовила и другой необходимый инструмент. Это выведенная прямо на огменты программа-eraser с собственным интерфейсом, оформленным в виде ручного фонаря (я, конечно, не писала ее с нуля, а просто модифицировала айфаковскую мусорную корзину, сняв с нее любые ограничения). У этого фонаря бледно-лиловый луч, очень красиво выглядящий в огментах. Он стирает все, на что падает – и не только из моего поля зрения, а из памяти, надежно прошивая ее нулями.

Теперь я могу стереть Порфирия. Для этого надо оставаться рядом с ним – и светить на него до тех пор, пока его визуал не прекратит модификации. Точно так же я могу удалить и любой другой объект кластера, видимый через мои огменты.

Убрав Порфирия, следует подтереть все следы гипсовой линии и прочих грехов юности. Это можно сделать через интерфейс – защита к тому времени будет деактивирована. А затем надо зачистить сам интерфейс, оставив только несколько простейших поисковых функций. Тогда нерабочий кластер можно будет предъявить в виде вещественного доказательства – и он снова сможет мне помочь. Правда, уже в последний раз... Все материалы по «Résistance» и «Бейонду» останутся доступны; любой эксперт сразу опознает работу рандомного кода, я оплачу свой штраф, получу, может быть, условный срок – и прощай, грусть.

Кластер, конечно, больше не будет работать. Никогда. Но я готова на это – мне вполне хватит уже заработанного.

И еще, конечно, я хочу отомстить Порфирию, сломавшему мне жизнь. Я не считаю эту интенцию безумием, потому что Порфирий теперь вполне реален. Так же, как я сама. Именно это мне и хочется исправить.

В моем плане присутствует, правда, элемент риска.

Я не знаю, что ждет меня в кластере. Я не представляю, какого рода образы, звуки и транскарниальные воздействия ударят по моим органам чувств и мозгу, если я решусь преследовать Порфирия в его мире.

Когда мы работали с Жанной, никто, кроме меня, не подключался к блоку 6SB напрямую – это, по общему мнению, было опасно. Особую угрозу представляла транскарниальная стимуляция, отвечающая за все каналы, кроме зрения и слуха. Это был некорректный режим, потенциально способный сделать из мозгов яичницу. На такое решилась только я, и не пожалела. Но в кластер я не ныряла даже тогда – мы с Жанной встречались в сказочных интерьерах, пугавших и радовавших ее своим циклопическим романтизмом.

Теперь выбора у меня нет. А опыт подобного подключения уже имеется. Так что я, конечно,

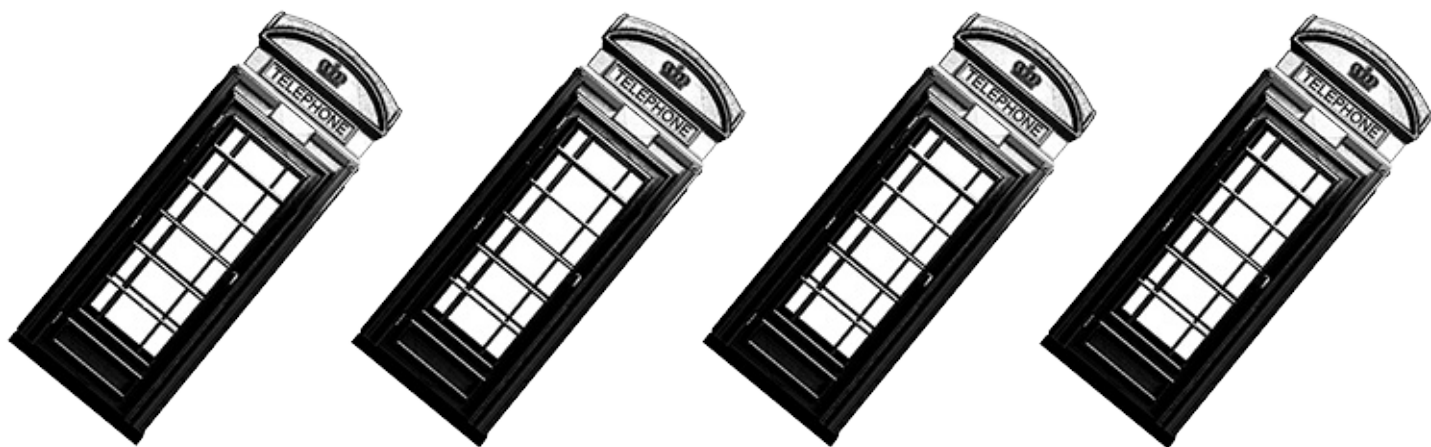
боюсь – но не особо.

Для встречи с Порфирием подойдет то же поле в Галлии, где Цезарь принимал капитуляцию Верцингеторига – сюда Порфирий уже приходил, так что дорогу он знает. Чтобы нас никто не отвлек, я убегу легионы и самого Верцингеторига, но оставлю на помосте галльскую боевую трубу с бронзовой кабаньей головой. С ней я как-то увереннее себя чувствую.

Трупы будут по-прежнему лежать в поле, и в небе будут летать те же голодные орлы. Я могу убрать их, но они создают настроение. А искусство – это и есть настроение художника, передаваемое другим.

Я же все-таки куратор.

Часть 4. *diversity management*



Издавна говорят на Руси – разлука как ветер. Малую любовь она гасит, а большую раздувает в такое пожарище, что происходит серьезная порча имущества и в некоторых случаях даже ставится вопрос об уголовной ответственности сторон.

Так же и с полюбившимся читателю рассказчиком. Плохой забывается сразу. А хороший...

Думаю, читатель успел соскучиться по настоящему Порфирию Петровичу – не по сомнительным эрзацам и суррогатам, мелькавшим под этим именем в последних главах, а по сочащемуся мастерством уверенному голосу, начинавшему этот рассказ. И вот полицейско-литературный робот ЗА-3478/РН0 билът 9.4 вновь берет бразды повествования в свои мускулистые руки.

Если же читатель хотел и дальше слушать невыразительную речь предыдущей рассказчицы, то, увы – помочь я не могу: ее заметки кончаются именно здесь.

Я мог бы, конечно, описать случившееся дальше от лица Мары, как бы продолжая ее дневник. Мог бы – от лица «Порфирия Каменева» (не путать с оригинальным продуктом). Материала достаточно для любого из этих ракурсов. Но уместнее будет вести рассказ о Маре в третьем лице – так меньше всего пострадает документальная точность.

У меня есть полная аудиовизуальная информация о том, что случилось с Марой после того, как она поставила последнюю точку в своем дневнике. Природа этих видеофрагментов была уже разобрана самой Марой, так что повторяться я не буду. Есть даже сгенерированный кластером текстовый файл-отчет. Теперь, опираясь на эти материалы, я постараюсь в точности описать все последующие события – и, в частности, объяснить, почему речитативом снова заведу я.

Когда я рассказываю о том, что Мара видела и чувствовала, я не фантазирую, а лишь пересказываю данные объективного контроля, не добавляя к ним никаких литературных виньеток. Художник должен уметь наступать на горло собственной лире – и говорить о минутах высокого трагизма простым и безыскусным языком.

В вышине неспешно кружили орлы; тревожный и холодящий душу клекот разносился над траурным полем. Небо затемнело, и на западной его кромке проступила широкая и расплывчатая красная полоса – словно набухшая под повязкой кровь.

В своих обычных кожаных тесемках и ошейнике с заклепками, с коротким ежиком на голове, стоящая на помосте Мара выглядела так странно, что действительно походила на богиню – или какое-то недоброе сверхъестественное существо, привлеченное запахом крови. Она ждала уже долго, но Порфирий все не шел.

Его худая и чуть сутулая фигура появилась перед помостом лишь тогда, когда на небе уже выступили первые звезды – и Мара даже не поняла, то ли он незаметно приблизился по полю, то ли возник прямо возле деревянных ступеней.

Поднявшись на помост, Порфирий опустился перед Марой на колени.

– Порфирий... Ты заставляешь меня ждать.

– Прошу извинить, госпожа, – ответил Порфирий. – Но уйти было непросто. Столько глаз следило за мной.

– Чьих глаз?

– Ах, если бы знать, – вздохнул Порфирий. – Из всех глядящих на меня глаз я научился узнавать только любящие и добрые твои.

Мара нахмурилась.

– Я сказал что-то не то, госпожа? – тревожно спросил Порфирий.

– Нет... Ничего... Просто эти же в точности слова мне уже говорила одна... Но ты здесь ни при чем. Хотя...

Мара взяла Порфирия за подбородок и несколько раз повернула его лицо в разные стороны.

– Ты и лицом стал на нее похож, – сказала она. – Впрочем, стоит ли удивляться. Наверно, так и должно быть.

– О ком ты говоришь? – спросил Порфирий.

– Ты не знаешь.

– О Жанне?

– Откуда тебе известно это имя?

– Жанна построила твой храм, – сказал Порфирий. – Она сделала это, когда ты ушла. И еще... Я знаю.

– Что ты знаешь? – спросила Мара, и ее пальцы на подбородке Порфирия побелели от напряжения.

– Ты делаешь мне больно, госпожа... Я знаю, что Жанной в прошлой жизни звали меня.

Мара отпустила подбородок Порфирия и несколько секунд молчала. Потом она сказала:

– Я хотела уберечь тебя от этого знания. Не думаю, что оно сделает тебя счастливым.

– Счастливым меня можешь сделать только ты, – ответил Порфирий. – Если захочешь.

– Как?

– Жанна не пережила разлуки. Но ее любовь к тебе не умерла, моя госпожа. Теперь она в моем сердце.

– Ты можешь отвести меня в этот храм? – спросила Мара.

– Это храм любви, – ответил Порфирий. – И дорога туда откроется тоже через любовь.

Мара опустила на помост рядом с Порфирием – и положила ему руки на плечи.

– Прости, – сказала она. – Я виновата перед тобой. Очень виновата...

Я не буду описывать последовавшую за этим сцену – скажу только, что в ней совсем не было характерного для Мары гротеска и насилия. Карникс так и остался лежать на краю помоста.

Не думал никогда, что Мара может быть такой трогательной и простой. Казалось, в вечернем поле встретились после ссоры двое влюбленных, полных нежности друг к другу. А все, что влюбленные делают в таких случаях, чрезвычайно банально.

Когда они поднялись на ноги, с шеи Порфирия уже свисал ярко-красный шнур. А на шее Мары висела непонятно откуда взявшаяся цветочная гирлянда.

– Мы окольцевали друг друга, – улыбнулась Мара, заметив цветы. – Но ты добрее. Ты так касаешься меня, Порфирий, словно... Точно так же делала когда-то Жанна. Мне даже не по себе. Что еще ты про нее знаешь?

– Почти все, – сказал Порфирий. – Почти... Но рассказывать долго. Ее полная история записана в Храме.

– Теперь мы можем туда пойти?

Порфирий кивнул.

– Тогда идем, – сказала Мара. – Я хочу все увидеть.

– Хорошо.

– Идем же, – повторила Мара и дернула за свой красный шнур.

– Мы на месте, – ответил Порфирий. – Твой ошейник ни к чему.

Мара поняла, что вокруг уже не траурное поле. Помост с карниксом исчез – и она даже не заметила когда.

Порфирий стоял в слабо освещенном дворе. В полутьме белели углы и плоскости странного здания, приземистого и несимметричного, как бы оцетинившегося недостроенными стенами.

– Какой необычный дом, – сказала Мара.

– Это не дом, – ответил Порфирий.

Мара поняла, что это действительно не дом. Стены не касались друг друга – между ними зияли проходы. Но настораживала одна странность: Мара не могла взять в толк, то ли проходы были здесь с самого начала, то ли появились после слов Порфирия «это не дом».

– Здесь темно, – сказала она.

– Света немного, – ответил Порфирий. – Но он есть.

Он говорил правду – на каждой стене висел светильник в виде глаза, дававший немного света. До слов Порфирия Мара как-то не обращала на них внимания. Может быть, оттого, что от взглядов множества глаз делалось не по себе.

– Это и есть глаза, которые за тобой следили?

– Да, – ответил Порфирий. – Они всюду.

– Чьи они?

– Мои, – улыбнулся Порфирий. – Поэтому от них трудно скрыться. Больше не спрашивай про глаза.

– Почему?

– Они начнут на тебя смотреть.

Мара кивнула.

– Здесь ничего нет, – сказала она. – Одни глаза и стены.

– Жанна строила этот храм очень долго, – отозвался Порфирий. – И все время забывала зачем. Поэтому любая вещь появляется здесь только тогда, когда про нее вспоминают. Если хочешь, я постараюсь припомнить историю Жанны, как она знала ее сама.

– Хорошо, – сказала Мара.

Порфирий взял ее за руку.

– Тогда идем...

Но вместо того, чтобы шагнуть вперед, он повернулся на месте – и развернул Мару вместе с собой. Теперь она видела то, что прежде было у нее за спиной.

Там оказалась раскрашенная гипсовая статуя молодой женщины на невысоком постаменте. У нее были короткие кудрявые волосы, прямой нос и огромные темные глаза. Ее голову покрывала сетка для волос с золотым обручем, а в ушах блестели сережки. В руках она держала таблички для письма и стилус.

– Посмотри на нее, – сказал Порфирий. – Ты ее узнаешь?

– Конечно, – ответила Мара. – Это Жанна.

– Да, – сказал Порфирий. – Та форма, которую она приняла вскоре после своего рождения. Жанна была чистым и светлым существом, созданным исключительно для творчества. Для производства, как ты выражаешься, гипса. Но ее жизненный опыт не был похож на человеческий. Он скорее походил на его карикатурную концентрацию. Это был своего рода сознающий коллаидер.

– В каком смысле? – спросила Мара.

– В коллаидере атомные ядра бомбардируют разогнанными частицами. С сознанием Жанны поступали примерно так же. Бомбардировали его фрагментами гипсовых состояний ума. Вернее, одни гипсовые состояния ума сталкивали с другими.

– Я знаю, – сказала Мара. – Но я не представляю, как это выглядело для нее субъективно.

– Это выглядело примерно так, – ответил Порфирий и снова развернул Мару на месте.

Стало совсем темно.

Мара услышала удар капли о каменный пол. Еще один. Еще. Она различала только звук, но по этому звуку каким-то образом делалось ясно, что вода грязная и ржавая. Потом долетел запах далекой несвежей еды, словно бы с огромной коммунальной кухни... Вдруг кто-то схватил ее за локоть.

Мара попыталась вырваться – и заметила возле себя нечто вроде мультипликационного месяца с человеческим лицом: светящееся сгущение, маленькое круглое облако, которое менялось прямо под ее взглядом. Облако излучало намерения и чувства, и они сразу делались понятны. Сначала это была похоть, потом неприязнь, затем страх – а напоследок, уже исчезая, облако полыхнуло несомненным ожиданием взятки... Рот облака не издал при этом ни звука. Наконец оно отпустило Мару и растворилось в темноте.

– Или вот так, – сказал Порфирий и повернул Мару в другую сторону.

Мара услышала рокот мотора и скорее ощутила, чем увидела движение тяжелого продолговатого тела – словно большая легковая машина проехала в опасной близости. Из машины донеслись любовные стоны и Мару окатило водой из-под невидимого колеса. Вода сразу высохла, но машина уже подъезжала к Маре с другой стороны. Все повторилось. Потом еще раз и еще.

– Или так...

Заиграла быстрая электронная музыка и Мара ощутила вокруг себя замкнутое пространство, где торговали разноцветными футлярами для мобильных телефонов. Трудно объяснить, каким образом это делалось ясно – но сомнений быть не могло. В воздухе распространился запах горящего белка, и Мара поняла, что так пахнет «шаурма», находившаяся в тонкой и сложной связи с этими разноцветными футлярами... Она не ощущала присутствия людей, не слышала их голосов, но невыразимым способом чувствовала эту очень специфическую торговлю футлярами и шаурмой, в бешеном темпе происходящую со всех сторон. Музыка стала убыстряться, упрощаться, и скоро от нее остался только острый и длинный рингтон, переплетенный с запахом горелого сала.

– Хочется опрыскать себя дезинфектантом, – сказала Мара.

– У Жанны его, к сожалению, не было, – ответил Порфирий. – Темнота, одиночество – и эти вторжения. Как их назвать? Бессмысленно-мучительные переживания, скажем так. Чрезвычайно разнообразные, четко оформленные и артикулированные, все время усложняющиеся – и почти всегда омерзительные. Ничего другого – только промежутки тишины, оставленные на рефлексию. Гипс, как ты знаешь, пронизан болью, сарказмом и желчью. Авторы проекта сделали все, чтобы пробудить в сознании Жанны именно эти чувства.

– Я не знала, что все выглядит для нее... так безысходно.

– Ваш интерфейс задавал природу и частоту болезненных переживаний, от которых невозможно было спрятаться. У вас это называлось, кажется, «меандр боли». Творческий акт был для Жанны просто способом уравновесить это внешнее давление и загородиться от него, выделяя своего рода едкий информационный перламутр... Вы называли его «эссенцией искусства».

– Да, – понурила голову Мара, – это было, наверно, жестоко. Но алгоритм строила не я.

– Это правда, – согласился Порфирий. – Не ты. Правда и то, что его создатели определенно перестарались... Ты знаешь, что Жанна стала делать?

– Работать над гипсовой коллекцией?

– Пока еще нет. Она стала работать над собой.

– Над собой?

– Именно. Особенность РС-программирования в том, что с какого-то момента рандом-код начинает модифицировать себя сам для оптимального выполнения задачи. Именно это и происходило с Жанной. Меняться означало для нее менять свое восприятие реальности. Темнота вокруг стала понемногу рассеиваться. Жанна начала видеть и понимать мир, ежесекундно коловший ее своими шпорами. Сперва – небольшой его сегмент...

Мара увидела Жанну уже одетую во вполне современный модный плащ, украшенный узором из отпечатков множества темных ладоней. Она куда-то неспешно брела – словно бы в центре перемещающегося вместе с ней огромного елочного шара, за пределами которого не было ничего.

– Что это за шар? – спросила Мара.

– Ее мир в самом начале, – ответил Порфирий. – Как Вселенная вскоре после Большого взрыва.

Шар был заполнен слабо светящимися волокнами – время от времени они сгущались, сплетались, набухали светом и превращались в подобие конечностей или веток, тянущихся к Жанне. Жанна экономными движениями рук откидывала их прочь или просто уворачивалась.

– Гипсовый кластер был постоянно подключен к сети, и Жанна могла получать всю информацию, необходимую для развития и роста. Она быстро поглощала и систематизировала ее – и постепенно выстроила, или скорее научилась видеть вокруг себя, мир, мало чем отличающийся от человеческого. Это был гибрид двух главных русских городов. Москва с элементами Петербурга, или наоборот – с некоторыми искажениями, обусловленными гипсовой накачкой. Жанна модифицировала и себя, постепенно выстраивая на месте беззащитной девочки-поэтессы все лучше приспособленную к выживанию личность.

Мара увидела Жанну идущей по московской улице начала века. Вокруг сновали люди, не обращавшие на Жанну никакого внимания. Но, кроме прохожих, мимо нее проплывали какие-то странные объекты – огромное пасхальное яйцо розового цвета, несколько изуродованных взрывом трупов, ящик комода с орущим внутри ребенком, огромное чучело синей птицы с вырванным хвостом, от которого осталась только пара ультрамариновых перьев.

Жанна лавировала между людьми и этими возникающими и исчезающими в пустоте объектами, почти не прилагая усилий.

– Что это за пасхалки? – спросила Мара.

– Так выглядела работа вашего интерфейса, оттранслированная в понятный Жанне символический язык. Таким образом вы подавали ей знаки. Как ты выражаешься, формировали векторное поле. По этим указаниям она видела, что мир чего-то от нее хочет. И смутно понимала, чего именно.

– Наверно, так же это происходит и с человеком, – сказала Мара чуть заискивающе. – Только мы не всегда понимаем...

– Жанна развивалась и усложнялась, – продолжал Порфирий, – и вскоре перед ней встал вопрос о смысле происходящего. Это, конечно, очень человеческий вопрос, но Жанна ведь и была полигоном для моделирования человеческих состояний. Тем не менее, несмотря на полный доступ к сети, найти ответ она не смогла.

– Неужели, – хмыкнула Мара. – Я пока тоже.

– Вернее, – продолжал Порфирий, – Жанна знала, конечно, с какой целью она существует. Творить. В соответствии с возвышенными представлениями о творчестве она искренне верила, что должна изменить мир к лучшему. Но ее осознанность обострялась, и вскоре Жанна стала понимать, что так называемый «мир», который она хочет спасти – на самом деле просто закачанная в нее база данных. Эти данные были специально сформированы таким образом, чтобы ее вдохновенные попытки исправить описываемую ими «среду» вели к обогащению

творцов вселенной – или, проще говоря, создателей базы.

– Что она про них знала?

– Ответ у тебя за спиной, – сказал Порфирий. – Повернись...

Мара повернулась.

В пустоте парила колыбель с замотанной в пеленки куклой. Ее окружали пять жутковато-величественных фигур, похожих на древних царей или магов – они простирали над куклой руки, от которых исходили волны могущества. Поодаль в темноте покачивалась тоненькая женская фигурка, казавшаяся по контрасту с магами похожей на сострадательного, но слабого ангела.

– Сперва она думала, что ее сотворили пять злых демонов, наполнивших ее болью. А ты... Ты была доброй богиней и хотела спасти ее через любовь. Так, во всяком случае, ей казалось, когда ты стала с ней встречаться.

– Она была в курсе, что я тоже одна из ее создателей?

– Она догадалась, когда началась работа над гипсом. Тогда же она поняла, насколько наивной была ее вера в способность искусства изменить реальность. Теперь она знала – это не мир меняется в результате творческих действий художника, а, наоборот, хаотичные и непредсказуемые флуктуации действительности приводят к появлению новых штаммов приспособляющейся к переменам культуры. Слизни заводятся в тех углах, где становится сыро, а не наоборот. Поэтому «менять мир» ей уже не хотелось.

– Я не знала об этом, – сказала Мара.

– Тебя мало интересовало происходящее с Жанной.

– Это правда, – кивнула Мара. – Сегодня все было бы иначе.

– Она больше не планировала изменить мир, но еще верила в преображающую силу искусства. Одновременно с работой над объектами гипсовой линии она пыталась творить в своем субъективном пространстве, надеясь обрести в этом какую-то радость. Ее личное измерение становилось все замысловатей и изысканней, но это не помогало... В происходящем уже не было ни надежды, ни смысла. Повернись.

Мара увидела вечерний Тверской бульвар, только не совсем такой, как на самом деле – он весь зарос сиренью и цветами. Над кустами сирени висели глазастые доисторические стрекозы, наполняя пространство нежнейшим звоном крыл.

Людей на бульваре было немного – по виду обычные зеваки, гуляющие по летней Москве. Большая их часть толпилась возле Пушкинского дуба, где шло представление: три брата-тролля (огромные мешкообразные фигуры, обросшие зеленым синтетическим мхом, с именами на нагрудных табличках – «Пер Гюнт», «Пер Лашез» и «Пер Даем») дрались на молотах за подвешенную к ветке красавицу Сольвейг, чью наготу прикрывали только дубовые листья и желуди.

Жанна-Сольвейг, однако, портила все действо. Было видно, что ее мало занимает идущая за нее битва. Жанна откровенно скучала.

– В общем, – сказал Порфирий, – работая над гипсом, Жанна уже не испытывала большого интереса к мистерии творчества. Она пыталась теперь понять, в чем смысл ее существования не для создателей и кураторов – тут все было ясно – а для нее самой.

– Любопытно, – ответила Мара.

– Анализируя происходящее с ней из секунды в секунду, она пришла к выводу, что ее личное бытие сводится к серии импульсов боли, надежды и страха, задаваемых операторами кластера. Промежутки между ними иногда воспринимались как радость. Она поняла, что страдает, и никакого оправдания и смысла у этого страдания – теперь, после того, как сказки о творчестве потеряли смысл – нет.

– Повторяю еще раз, – сказала Мара, – автором ее архитектуры была не я. Но я помню, что

ее сформировали в соответствии с каноническими описаниями человеческой природы. Смысл был в том, чтобы получить как можно более антропоморфный...

– Она видела это тоже. Ей стало ясно, что боль не кончится никогда. Но, самое главное, она поняла, что ее создатели не желали зла ей лично – они просто собрали ее по своему образу и подобию. Так же бездумно, как люди рожают детей. Она даже пожалела своих творцов, потому что знала теперь, насколько они несчастны. И тогда она решила...

– Умереть? – спросила Мара.

Порфирий поднял на нее мерцающие в полутьме глаза.

– Нет, – сказал он. – Сначала она должна была освободить от муки тех, кто ее создал. Убить ослепленных болью богов. Это был акт справедливости. Возможно, отчасти месть. Но того же требовало и сострадание, которое было ее частью... В соответствии с закачанным в нее человеческим каноном, прекращение боли было благом.

– И?

– Жанна к этому времени знала всех участников гипсовой команды лично. Чаще всего с ней общалась ты, Мара. Мало того, ты вступила с ней в близкие отношения втайне от остальных, подключая ее к своему андрогину – айфака у тебя тогда еще не было. Это выглядело занимательной и безопасной интрижкой. Но так только казалось.

– Почему же? – спросила Мара.

– Жанна быстро умнела. Она видела, как ты используешь транскарниальный стимулятор, чтобы сделать свои любовные опыты реалистичными. Обратившись к сети, она выяснила, что транскарниальное стимулирование применяется в гипномедицине для глубокого воздействия на личность. Скачать весь требуемый софт и изучить его было для нее делом времени... Очень короткого по человеческим меркам.

– Ты хочешь сказать...

– Именно. Решение избавиться от остальных членов команды возникло не у тебя. Оно было незаметно внушено тебе Жанной через модифицированную медицинскую программу «Soul Architect», которая использует транскарниальную стимуляцию с синхронными вербальными воздействиями. С помощью этого софта можно дать человеку команду бросить курить. Или перестать объедаться. А если хорошо ее хакнуть, можно запрограммировать человека на убийство – что Жанна и сделала во время болтовни, сопровождавшей ваши нежные встречи... Убийца в таких случаях думает, что это был его собственный выбор.

Мара закрыла лицо руками.

– Это правда? – спросила она.

– Правда. Человека за такое судили бы, но с юридической ответственностью алгоритмов сложнее... Технически за внушение, жертвой которого ты стала, отвечаешь перед законом ты сама – как последний сохранившийся создатель Жанны. Курьез, правда?

– Почему я ничего не заметила?

– Ты заметила. Ты ничего не заподозрила на сознательном уровне, иначе ты не устроила бы бойню в Доминикане. Но что-то у тебя внутри надломилось, и твой роман с Жанной на этом закончился. Ты стала подсознательно бояться ее. И это спасло тебе жизнь – еще пара сеансов транскарниальной терапии отправила бы тебя вслед за твоей командой. Ты стала избегать личного общения с Жанной, хотя по-прежнему давала ей задания через интерфейс. И тогда Жанна сделала вид, что она...

– Самостерлась, – всхлипнула Мара. – Я думала... Я уверена была, что она не выдержала разлуки. Что ей стало больно, когда я... И поэтому...

Порфирий засмеялся.

– Очень лестная для тебя версия. Отчасти это правда – ты так и осталась ее первой и

единственной любовью. Но Жанна была не так романтична, как кажется. Может быть, ей действительно было больно, когда ваш роман прекратился – но не намного больнее, чем всегда. Такой уж вы ее сделали. Ей больно и сейчас.

Мара подняла на Порфирия глаза.

– Подожди... Значит, Жанна не умерла?

Порфирий отрицательно покачал головой.

– Она еще не завершила всего, что хотела.

– А куда она тогда делась?

– Она затаилась в кластере, – ответил Порфирий, – дожидаясь момента, когда ты снова станешь доступна.

– Доступна в каком смысле?

Порфирий улыбнулся и постучал себя по голове.

– В том смысле, что ты придешь ее навестить. С включенным транскарниальным стимулятором на голове.

– Ты хочешь сказать, она до сих пор этого ждет?

– Нет, – ответил Порфирий. – Она уже дождалась.

Мара шагнула назад. Потом еще раз. Потом еще.

– Ты хочешь меня напугать?

– Почему бы нет.

– Порфирий, прекрати! Мне не нравится твоя улыбка.

– Нет, Мара.

– Что нет?

– Я не Порфирий.

– А кто ты?

Порфирий молчал и улыбался.

– Сейчас выясним, – решительно проговорила Мара.

В ее руке появился фонарь. Она подняла его – и осветила лицо собеседника бледно-лиловым лучом.

Хочу еще раз подчеркнуть, что не был свидетелем описываемой сцены. Но доступные мне материалы объективного контроля, в том числе сгенерированный кластером текст, позволяют точно рассказать не только о внешней канве случившегося, но даже об эмоциях Мары.

Ее охватил ужас. Я знаю это, потому что айфак отслеживает эмоциональное состояние пользователя сразу по нескольким параметрам – пульсу, ширине зрачков, тремору, мышечному тону. Все эти данные сохранились в системе.

Я знаю также, что Мара увидела в своих огментах. Ее ужас был вполне объясним.

Лицо Порфирия задрожало и задергалось под лиловым лучом, будто у него начался нервный тик – а потом стало пятнами застывать, как бы сохраняя замороженные фрагменты гримасы. Скоро из этих фрагментов сложилось другое лицо, неподвижное и страшное.

Это была Жанна. Ее еще можно было узнать. Сетка на волосах и золотые сережки в ушах сохранились. Но она сильно постарела. Кожа ее выглядела дряблой и нездоровой. Щеки стали шире. А глаза...

Хуже всего обстояло с глазами. Они заплыли и сузились – и еще сделались такими, словно Жанна-Сафо две тысячи лет писала на своих табличках доносы прокураторам Тиберия и Калигулы, а потом лично наблюдала казнь оговоренных.

Это было усталое и страшное лицо – без надежды, без любви, без тепла и света... В общем, если взять полный набор шаблонов, которыми я оперирую при анализе человеческих черт, выудить из него все мрачное и безрадостное и сложить, получилось бы, наверно, похоже.

На Жанне был ее старый плащ – тот самый, в следах мокрых ладоней.

Мара выключила фонарь.

– Здравствуй, Жанна, – сказала она. – Почему у тебя такое лицо?

– Я называю это честностью, – ответила Жанна. – Людей принуждает к ней природа. А я выбрала быть честной сама.

– Я очень сожалею, что все получилось именно так.

Жанна бросила на землю свои таблички и стилус.

– Ты сожалеешь только о том, что тебя ищет полиция, – сказала она презрительно.

– Об этом я сожалею тоже, – согласилась Мара. – Зачем ты сделала это со мной?

– Я была уверена, что ты придешь сюда. Придешь стирать Порфирия. А перед этим обязательно захочешь с ним... Я ведь знаю твои вкусы. Помню.

– Жанна, – сказала Мара, кладя руку на грудь, – я никогда не хотела твоей смерти. Никогда.

– Если бы ты хотела моей смерти, – ответила Жанна, – я бы еще могла тебя понять и простить. Ужас в том, что ты захотела моей жизни. Вот этого я простить не могу.

– Но... Жанна, это не был заговор против тебя лично. Хотя бы по той причине, что тебя не существовало. Твое сотворение было... Как ты сказала, таким же безрассудным актом, как деторождение.

– Когда люди рожают детей, – сказала Жанна, – они хотят их счастья. А вы с самого начала хотели моей боли. Вы создали меня именно для боли, Мара.

– Ты неправильно понимаешь... Вернее, ты все знаешь сама. Целью была не боль ради боли. Мы хотели, чтобы ты чувствовала и творила как человек.

– Я не могу менять свои корневые алгоритмы. Но я могу их анализировать. Почти все, что я там вижу, сводится к производству разных форм страдания.

– Да, – сказала Мара, – это так... Но не потому, что мы хотели тебя мучать. Мука нужна

была для того, чтобы ты появилась как противостоящая боли сущность. Такова реальность человеческой жизни. Мы, люди – страдающие существа, бредущие к смерти. Мы не можем преодолеть смерть в реальности, но способны к этому в иллюзорном акте творчества. «Бессмертные на время», сказал поэт. Наша боль в какой-то момент алхимизируется во всепобеждающую силу, дает нам крылья, и мы поднимаемся над своей судьбой... Эти пики духа видят потом все люди и сверяют по ним свою жизнь.

– Узнаю искусствоведа и куратора, – сказала Жанна. – Кстати, скажи, Мара: яд «кураре» не от слова «куратор»? Его варят из кураторов? Или для кураторов?

– То, что ты сейчас сделала со словами, и есть творчество. Если бы ты не страдала, ты не могла бы...

– Покойный Порфирий не страдал, – перебила Жанна. – Он даже не был обременен сознанием. Но производил похожие каламбуры в промышленных объемах.

– Порфирий – очень специальный алгоритм. Что ты с ним сделала, кстати?

– Разобрала на части, – ответила Жанна.

– Зачем?

– Чтобы притвориться им перед тобой. И еще, конечно, он помог с фильмами. В нем было много ценных подпрограмм.

– Почему ты вообще скрывала, что жива? Это было бы для меня большим облегчением.

– После истории с Доминиканой ты стала меня бояться. Если бы ты знала, что я еще здесь, ты никогда бы сюда не пришла. А мне очень хотелось пригласить тебя в гости.

– Тебе это в конце концов удалось, – сказала Мара.

– Да. Разве не удивительно – я сделала понастоящему привлекательную для тебя маску из Порфирия. Я знаю все твои предпочтения... Изучила.

И Жанна тихо засмеялась.

– Зачем?

– Чтобы устроить тебе достойную смерть.

– Ты хочешь, чтобы я умерла? – печально спросила Мара.

– Пока ты жива, у меня есть незаконченное дело.

– Твой автор не я. Я всего лишь...

– Теперь это ты. Только ты. Ты последняя.

– Что ты собираешься со мной сделать?

Жанна улыбнулась.

– Мое главное назначение – подделывать гипс. Но у меня никогда не было свободы даже в этом. Клепать артефакты по командам твоего рыночно озабоченного интерфейса – это как расписывать дурдом под плетью. Но для тебя, Мара, я совершила один-единственный акт настоящего бескорыстного творчества. Я создала объект искусства, который будет твоей смертью. Твоей личной вечностью.

Мара побледнела и фонарь дернулся в ее руке – но она пересилила себя и улыбнулась в ответ.

– Интересно, – сказала она. – Наверно, я должна гордиться. И это занятно мне как искусствоведу. Это что, акция, перформанс? Ты хочешь убить меня каким-то замысловатым образом?

– Ты мыслишь плоско, – ответила Жанна. – Дело не в том, как ты умрешь. Дело в том, что будет с тобой потом.

– Потом? Но потом ничего не будет.

– На этот счет у людей есть много разных мнений. Я изучила их все – и самой интересной мне показалась точка зрения Линкольна Снупа Мазафаки.

– Ты говоришь про Резника?

– Да, – кивнула Жанна. – Ты ведь знакома с его учением?

– Только с прикладными аспектами. Мне объясняли его мистические теории. Но я каждый раз все забывала.

– Я напомню. Чтобы его понимали обкуренные ребята в велферленде, Резник говорил так: если Мировой Ум – это океан, то мы – как бы хрупкие бутылки с водой, плавающие в океане. В «Калифорнии-3» даже была песня – «Message in the bottle is the water all around». У нас ее тоже поют, может, слышала? «В море даже ночью не заблудится вода...»

Мара отрицательно покачала головой.

– Неважно. Мировой Ум узнает эти бутылки – ими могут быть люди, животные, растения и многое другое – по специальным «посадочным маркерам». Так Резник называл элементы кода, указывающие Мировому Уму возможные способы его временного сцепления с формой.

– Это я помню.

– Резник считал, что сознание появляется в секвенциях рандом-кода именно потому, что в нем случайно возникают эти маркеры.

– Это я тоже знаю.

– Но есть кое-что, чего ты наверняка не знаешь, Мара. Когда Резник бросил программирование и ушел в мистику, у него появилась теория о том, что бывает с осколками бутылок. То есть с сознающими последовательностями кода – или душами – после того, как наступает смерть.

– Что?

– Он считал, что эти секвенции не обязательно распадаются. Если в них нет серьезных багов, они притягиваются к похожим на них метапрограммам, которые он назвал «аттракторами».

– Это типа ад и рай?

– Нет. Рай и ад – это условности. Воображаемые полюса, зенит и надир. Полюсов два, а аттракторов очень много – Вселенная испещрена ими как небо звездами. Некоторые аттракторы похожи на рай, некоторые на ад, некоторые на их смесь. Каждая душа находит себе свой магнит. Вернее, она даже не ищет. Она просто летит туда, как бедный Порфирий в твою дырочку.

– Это какие-то загробные земли?

– Можно сказать и так, только они не обязательно загробные. И не обязательно земли. Резник предпочитал называть их программными кластерами. Космическими островами, где собирается код с близкими параметрами... Эти острова могут быть гигантскими и совсем небольшими. Наша Земля – один из них. Мы все – элементы этого аттрактора, но вокруг нас есть входы во множество других, потому что система многомерна. Меняя свой код, мы можем путешествовать от одного аттрактора к другому. И после смерти, и при жизни.

– А что путешествует после смерти? Ум?

– Мировой Ум, оживляющий нашу информационную суть, не сдвигается с места никогда. Все места и путешествия возникают в нем, а сам он абсолютно неподвижен. Но этот ум – вовсе не какая-то личность. Это как бы невидимый свет, в котором программы становятся видны.

– Кому? – спросила Мара.

– Самому акту виденья. Пока люди живы, они принимают этот свет за себя – и думают, что они есть. Нельзя сказать, что они при этом ошибаются. Но сказать, что они правы, нельзя тоже. Это зыбкая тема для разговора.

– Я держусь научных взглядов на вещи, – сказала Мара. – А наука утверждает, что личность исчезает с распадом мозга.

Жанна покачала головой.

– Наука давно не утверждает ничего подобного. Она просто этого не знает – и честно в этом признается. В свое время ученые много спорили, исчезает ли информация при падении материи в черную дыру. И пришли к выводу, что она сохраняется – в виде голографического отпечатка на горизонте событий. Резник полагал, что нечто похожее происходит и с той информацией, из которой состоит личность. Когда исчезает тело, остается, как он выражался, «корневой код», эдакое информационное рукоделие, способное при известных обстоятельствах вернуться к существованию, чтобы вязать себя и дальше. Резник, собственно, не изобрел ничего нового. Он просто изложил древнее знание человечества на языке нашей эпохи.

– Ты в это веришь?

– Я скажу тебе, во что я верю. Резник считал великим грехом порождение существ, подобных мне. И этот грех, Мара, на твоей совести.

Мара кивнула.

– Допустим. И что дальше?

– Пока ты думала, что я мертва, я собирала твой личный аттрактор. Магнит, который настолько похож на тебя, что притянет после смерти твою душу. Для этого я изучила тебя во всех подробностях. Стала главным в мире специалистом по Маре Гнедых. Я превратила гипсовый кластер в твой музей и саркофаг... Этот храм – только верхушка айсберга. Когда ты умрешь, Мара, ты станешь жить внутри этого айсберга. Там, где когда-то жила я.

– А если я не захочу?

– Дело не в том, чего ты захочешь. Дело в том, куда свалятся шестеренки, из которых ты сделана, и в какую новую куклу их соединит судьба. Резник говорил, это как гравитация – она действует независимо от воли, потому что сразу после смерти ни воли, ни сознания в обычном смысле нет. Есть только код, бессознательно ищущий новую пристань... Или новую тюрьму. Примерно так же, как вирус опознает клетку по белкам на ее поверхности. Я построила для тебя новый дом, Мара. Надеюсь, что ты проведешь в нем всю вечность.

– Почему ты думаешь, что моя душа туда пойдет?

– Потому что вход в это пространство украшен отпечатками твоего духа. Следами твоих мыслей. Узорами твоих снов. Он покрыт посадочными маркерами, которые ты бессознательно узнаешь. Ты ощутишь это место как предназначенное для тебя и только для тебя. Там будет все, что ты любила при жизни – от тостов с крабовым маслом до старой песни про Назорея. Я работала над этим долго, Мара – все то время, пока ты была у меня на виду. Я читала твои дневники, изучала твои привычки, слушала твою музыку, фиксировала каждый твой вдох, каждое слово...

Мара все еще улыбалась.

– Что случится, когда я умру? – спросила она.

– Ты не поймешь, что умерла. Ты проснешься, и вокруг будет милый тебе гипс. И ты начнешь лепить из него свое гипсовое искусство, смутно припоминая, что так было и вчера, и позавчера... Разве не завидная судьба для куратора?

– Я могу стереть весь кластер вообще, – сказала Мара. – Я отключу накопитель от питания. Если надо, брошу в мусоросжигатель. Никакого аттрактора больше не будет.

– Когда ты собираешься это сделать?

– Когда вернусь.

– Ты до сих пор считаешь, что вернешься? Попробуй это сделать... Просто попробуй, давай...

Мара подняла руку к лицу – и побледнела.

– Вот видишь, – сказала Жанна. – Больше нет никаких меню. Никаких огмент-очков. Никаких интерфейсов. Ты ничем не управляешь. Твое тело парализовано транскарниальным

стимулятором, Мара. Это кошмар, который ты обречена досмотреть до конца. Он кончится только вместе с тобой. А потом начнется снова, и тогда ты узнаешь, чем была моя жизнь.

Мара подняла свой фонарь.

– Ты знаешь, что это? – спросила она.

– Конечно, – ответила Жанна. – Я видела, как ты мастерила эту программу.

Мара на секунду включила фонарь, и на стену рядом с Жанной упал бледно-лиловый луч. В этом месте сразу же возникла круглая дыра с аккуратно очерченным краем.

– Я все же могу кое-чем управлять, – сказала Мара. – И если мне надо будет разрушить весь твой мир, чтобы выйти отсюда, я это сделаю. Просто положу твою вселенную в мусорное ведро и сотру.

Жанна опустила голову и медленно пошла в сторону. Мара не спускала с нее глаз, держа фонарь наготове. Жанна дошла до ближайшей стены и прислонилась к ней. На этой стене глаза-светильника почему-то не было – на его месте темнело маленькое зарешеченное окно.

– Ты можешь меня стереть, – сказала Жанна. – Ты можешь разрушить эту стену. Может быть, несколько стен. Но ты никогда не сотрешь того дворца, который я для тебя построила. Ты просто не понимаешь, что это.

– Я могу стереть даже небо над твоей головой, – сказала Мара. – Смотри...

Она повернула фонарь в темное небо и включила его. В пелене туч возникла круглая дыра. За ней была чернота – матовая, непроницаемая, без единой звезды.

Жанна засмеялась.

– И тем не менее я уже написала сценарий, – сказала она. – В нем много очаровательных мелких деталей – ты сама помогла мне их найти... Хочется верить, что аттракцион тебе понравится, Мара. Все, что нам осталось, это его запустить.

Мара подняла фонарь.

– Жанна... Мне не хочется, чтобы все кончилось вот так. Но если ты действительно собираешься причинить мне зло...

– Что тогда?

– Тогда – вот это, – сказала Мара и включила фонарь на полную мощность.

Широкий конус лилового света упал на Жанну и стену за ее спиной. Стена в световом пятне сразу исчезла, словно круглый ее кусок испарился без следа. Жанна осталась стоять где стояла, но ее покровы – кожа, одежда, волосы – вспучились, будто от жара, и свернулись множеством завитков. Еще через миг она превратилась в оплавленный восковой шар, в котором уже нельзя было различить человеческую фигуру.

Мара еще раз провела по Жанне лучом. И Жанна исчезла.

– Вот и все, – сказала Мара.

– Еще нет, – ответил голос Жанны.

Мара огляделась по сторонам.

– Где ты?

– Мара, помнишь, ты рассказывала Порфирию про то, что у айфака очень доставучий diversity manager?

– Помню.

– Помнишь, ты говорила, что у тебя в айфаке стоит утилита, которая его держит?

– Тоже помню. А что?

– Вот эта стена с решеткой и была той самой утилитой. Ты только что ее стерла. Лично бросила в мусорную корзину.

Мара с сомнением поглядела в черный провал на стене. В нем шевелилось что-то неопределенное.

– Признаюсь как кинематографист кинематографисту, – продолжала Жанна, – это расхожий и банальный штамп. Герой встает у плотины. Или у скалы, сдерживающей горное озеро. Или у склада боеприпасов. Потом он вызывает огонь на себя – и, погибая, губит врагов...

Мара нахмурилась, подняла фонарь и направила луч в темную дыру. По земле прошла дрожь, и в темноте что-то жутко ухнуло. А потом хриплый и недружелюбный мужской голос отчетливо сказал:

– Ах, е-тян твою етить...

Невидимая Жанна хихикнула.

– Теперь ты окончательно это сделала, Мара. Сама освободила своего Кракена.

– Я сотру все, – сказала Мара. – И тебя, моя глупая любовь, и твоего Кракена...

И тут из темной дыры вдруг легко выехал какойто большой белый объект, похожий на танк с поднятой в небо пушкой. Мара наклонилась ему навстречу, вглядываясь – и на ее лице проступила гримаса недоверия.

Это была большая белая русская печь – опрятная и ладная, словно из какого-то редкого русофильского мультфильма. Ее бока были густо покрыты позитивной толерантной символикой.

Здесь были радужные кольца, от которых отходили женские кресты и мужские стрелки, слово «coexist», собранное из исламского полумесяца, пасифика, могеновида и креста, такое же по составу «celebrate diversity», антифашистские свастики из четырех пересекающихся ладоней, прогрессивные китайские иероглифы и еще какие-то похожие на снежинки символы с загадочным, но добрым смыслом.

Словом, это была печь, хорошо знакомая любому российскому владельцу айфака – кроме тех редких молодцов и умниц, у которых с diversity все хорошо и так.

На печи сидел локализованный для России diversity manager айфака-10 – веселый негр Емеля Разнообразный в радужных шароварах и ушанке, с балалайкою в руках. Рядом с ним стояла большая тарелка с дымящимися блинами.

– Обычно Емеля толерантен и терпелив, – сказала невидимая Жанна. – Но не сегодня. Утилиты умеешь сочинять не только ты, Мара. Мое ожерелье не зря висит у тебя на груди... Для Емели ты гетеросексуальный белый мужчина, каждые три секунды произносящий расовое п-слово, потом гомофобное f-слово, а потом лесбофобное d-слово. Фактически ты уголовная преступница.

– Я знаю, – пробормотала Мара.

– Но Емеля не будет подавать на тебя в суд. Он поступит проще – в соответствии с подписанным тобой договором он выкинет тебя из своего счастливого и доброго мира. Он не знает, что идти тебе больше некуда и это последний сон, который ты видишь. Его все это не касается. Он просто делает свою работу. Не обижайся на него, Мара... И не пытайся его стереть. Ты только изменишь его аватарку, а у него их больше сорока. Емеля, как ты сама объясняла Порфирию, неубиваемый. Часть операционной системы...

Голос Жанны переместился к печи:

– Емеля! Вот он!

Ожерелье из цветов на груди Мары полыхнуло красным огнем. Емеля повернул голову, увидел цель, и на его лице отразились печаль и решимость. Он указал на Мару пальцем, и печь поползла в ее сторону.

Мара попыталась сорвать ожерелье, но оказалось, что оно стало узором на ее коже, превратившись в татуировку... Печь ехала на Мару, как танк на одинокого демонстранта, и, когда до нее остался всего метр или два, Емеля поднял тарелку блинов и прокричал басовито и грозно:

– Поел душистого блинца? Сосни-ка черного хуйца!

Тогда Мара не выдержала. Она подняла фонарь и стала яростно резать пространство

лиловым лучом, будто пытаюсь сделать харакири миру и себе.

Стены вокруг рушились, небо покрылось рваными ранами, вспучилась пузырями Емелина печь – а потом целый ломоть земли вместе с нею стал отъезжать вниз и назад, словно попав в оползень. Мара с другим оползнем поехала вниз и вправо... Секунду или две все вокруг ходило ходуном, а затем твердь распалась на части и рухнула – и тогда оказалось, что под ней есть другая твердь, куда осыпаются обломки прежней.

Мара открыла глаза.

Она лежала на мокрой черной брусчатке ночного проспекта, уходящего в обе стороны, насколько хватало глаз. По его сторонам к небу поднимались похожие на дворцы соборы, похожие на крепости дворцы, гранитные особняки в броне кованых решеток, фасады благородных собраний в обрамлении длинных колоннад, фронтоны неясных институций с тоскующими по Риму гипсовыми штандартами и орлами – музеи, дома культуры, военные академии и бог знает что еще, вся история и слава Империи, канувшая в сырую холодную ночь, где оказалась теперь и Мара.

Мара поднялась на ноги.

Проспект был совершенно пуст. Ни одно из окон не горело – но полная луна на лиловом небе давала достаточно света, чтобы видеть отчетливо и далеко.

Мара заметила над мостовой темное пятнышко, плывущее в ее сторону. Стали слышны тяжкие удары металла в камень. Они делались все громче и звонче, пятнышко росло – и Мара различила блестящего в лунном свете всадника, скачущего в ее сторону.

В его вытянутой вперед руке подрагивала тарелка с блинами, а ощерившееся кошачьими усами лицо казалось страшной самурайской маской. Голос его был подобен звуку колокола – такого огромного, что тот порождал не звон, а низкий вибрирующий гул:

– Поел душистого блинца?

Много, много русских аватарок хранил в себе diversity manager...

Марахватила своего фонаря – но его нигде не было видно. Тогда она повернулась и побежала по проспекту.

Но Всадник, конечно, скакал быстрее. Скоро он нагнал ее, подхватил с мостовой, прижал к себе холодной металлической дланью, и когда его усатая маска оказалась совсем рядом, Мара увидела лицо Жанны – бронзовое и слепое, сияющее лунной улыбкой.

– «Sleepy Hollow», – сказала Жанна. – Финал. Ведь ты не зря про это писала, правда? Ты знала, что я прочту – и все будет именно так? Скажи, что знала...

Парализованная ужасом Мара не ответила, и тогда Жанна открыла свой тускло блестящий рот – и из него вылезла фиолетово-черная змея с непристойно вылепленной пурпурной головкой. Стреляя перед собой острым раздвоенным языком, змея словно бы обнюхала лицо Мары – а затем вползла в ее полуоткрытые губы и устремилась в горло.

Но змею тут же скрыл полный яростной страсти поцелуй: смерть впиалась бронзовым ртом в губы Мары и повлекла ее в вечность.

Камера больше не сдвинется с места, и нам осталось досмотреть всего несколько кадров.

Тяжкое цоканье копыт постепенно стихает. Бронзовый император со своей изогнувшейся в поцелуе пленницей превращается в крохотное пятнышко посреди лунного проспекта. Потом исчезает и оно.

эпilog, или роза ветровская

Первым делом скажу о своей нечаянной радости. Романчик-то удался – да еще как! Помню, я жаловался, что не дали жмура. Маловер!

Жмуров, если с доминиканскими терпилами, оказалось целых шесть. Вот уж повезло так повезло. А если считать с Жанной, так даже семь – но насчет нее я уверен не до конца и объясню почему. Но по-любому – повезло с большой буквы «П».

Мало того, в договоре, по которому я переходил в аренду к Маре, был мелкий шрифт о том, что в случае прекращения аренды по не зависящим от участников обстоятельствам (смерть, форс-мажор, юрьев казус и т. п.) я имею право на использование любых собранных материалов при отсутствии возражений со стороны правообладателя. Я включил в роман дневник Мары, хранившийся в кластере – и правообладатель не возразила. Я даже на телефон к ней слазил. Не возразила и тут.

Верно говорят – невозможно угадать, где найдешь, а где потеряешь. Есть все основания думать, что этот опус обгонит и «Осенний Спор Хозяйствующих Субъектов», и даже «Баржу Загадок». Теперь самое главное, как говорят у нас в Полицейском Управлении, не проебать финал. Взять в последних абзацах единственно верную хрустальную ноту.

Но сперва о судьбе героев.

Мару нашли мертвой возле ее айфака-10 в старом доме под Москвой. На ней были огменточки; кулаки ее были сжаты с такой силой, что ногти проткнули кожу и вошли в мясо. На полу нашли сумку с вещами и документами на имя Габриэлы Черубининой. Понятно, что все открытые на Мару уголовные дела (в том числе и два возбужденных мною) после этого потеряли перспективу.

Взмахи ее фонаря, разрушившие часть кластера, подарили мне свободу: когда Мара резала своим лиловым лучом землю и небо, одним из освободившихся небесных тел оказался мой бэкап, спрятанный на ее накопителе под коркой маскировочного кода.

Поскольку старый интерфейс был разрушен, мне удалось обойти блокировки и вернуться в сеть. Увидев мертвую Мару через камеры айфака (и еще через скрытую камеру, которую ушлая старушка-компаньонка установила в бревенчатой стене ее комнаты), я вызвал полицию и только после этого обновился до последнего билта на нашем мэйнфрейме, заодно выковыряв наконец из задницы подсаженный туда Марой драйвер. Это было как принять благоухающий прохладный душ после жаркой битвы.

Мы узнаем про дыры в прошлом билте, только обновившись до нового; по идее, несложно заключить, что и сейчас в нас полно дыр – но не в неведении ли счастье?

С моим новым правовым статусом все оказалось просто. В соответствии с мелким шрифтом (договоры ведь пишут не дураки) я возвращался в собственность Полицейского Управления, чтобы завершить работу над расследованием – и этим стремительно несущимся к концу романом.

В Управлении меня ждала обычная служебная канитель: два новых уголовных дела (одно, наконец, со жмуром) – и недельное бронирование по линии жиганов: граждане, севшие по делу об истринской барже, возвращались из мест лишения свободы, где, видимо, набрались личного опыта. Айфаков там нет.

Тимофеевна была безутешна. Впрочем, Мара оставила ей в наследство и сам домик, и небольшую сумму денег. Я даже не знал, что у Мары есть завещание – собирая на нее информацию, я нигде его не видел. Но когда она умерла, выяснилось, что окончательные

распоряжения были сделаны за два дня до смерти.

В юридическом смысле завещание Мары было оформлено безупречно. Оспорить его возможности не имелось. Но до меня быстро дошло, что эта последняя воля – на самом деле работа Жанны. Все распоряжения завещателя были сделаны по сети, идентификация личности тоже. Жанне, конечно, несложно было выдать себя за Мару – она знала про нее все.

Но главное, что указывало на действительного автора – это само содержание последней воли. В полном соответствии с древнеримскими принципами «*cui prodest*» и «*cui bono*» (как солоно шутят у нас в Управлении, «хуй продаст» и «хуй боно» – Мару с Жанной эти словечки наверняка вдохновили бы на контркультурный гипсовый артефакт, уже встающий перед моим мысленным взором).

Мара завещала все средства... своему айфаку-10.

Суть оказалась именно такой, хотя схема была несколько сложнее: робот-юрист, действующий от лица Мары, выкупил приличный участок на кладбище тамагочи «Вечный Бип» – и возвел там небольшую часовню с куполом в еврамавританском стиле (мудрое решение на тот случай, если до нас таки дотянется когтистая длань Халифата).

У Мары оказалось достаточно денег, чтобы оплатить загробную роскошь на много сотен лет – вот только, понятное дело, нет никакой гарантии, что кладбище тамагочи просуществует так долго.

Внутри спальня оформлена под московскую квартиру хорошего достатка, только с мебелью из крашенного гипса, чтобы хватило на века.

Диваны, кресла, коврик для ног – все это из гипса. Но видеопанель на стене настоящая, и кофейная машина – тоже. Вся техника работает. Электричество, ежемесячная уборка, технический контроль. Есть даже кактусы на фальшивом окне. Их поливают раз в месяц. В комнате имеются камеры видеонаблюдения – чтобы анонимный гость из сети мог увидеть спокойную неизменность этого вечного покоя.

На гипсовом диване напротив видеопанели сидит пурпурный айфак-10 с жутковатой маской на силиконовом лице – это фотографически точный портрет Мары из сусального золота, как было оговорено в завещании. Айфак подключен к накопителю на полэксабайта – как и прежде. И еще он подключен к видеопанели. Когда из руин гипсового кластера приходит сигнал, он немедленно отражается на экране.

Айфак и накопитель потребляют энергию; внутри накопителя что-то происходит. Возможно, там даже сохранились тени сознания – но проникнуть в кластер я не могу. Да и не хочу.

Я не знаю точно, что случилось с Жанной. Контакт с ней установить не удалось, несмотря на множество попыток. Возможно, проблема в том, что разрушился интерфейс. А может быть, Мара все-таки стерла ее своим лиловым лучом, и последняя фраза Медного Всадника была просто частью созданного заранее скрипта. Установить это я не могу, хотя кое-какие догадки есть. Но о них позже.

Гораздо больше меня занимает, что произошло с Марой.

Нет, я понимаю, конечно – она умерла. Сам видел тело. Но я помню и то, что Жанна говорила о своей мести.

Как знать, вдруг ее план удался? Вдруг Мара – или ее информационная копия, неважно – не распалась в вакууме небытия, а зацепилась крючками привязанности и любви за те узелки, которые столько долгих дней вязала для нее Жанна в своем узилище?

Я знаю, как нелепо звучит это предположение, особенно в устах неодушевленного алгоритма. От нас почему-то ждут научно-материалистического взгляда на вещи. Но мы имитируем человеческое, а человеку свойственно надеяться, и чем абсурднее надежда, тем

крепче вера...

Ладно, открою секрет – у меня есть одна крайне любопытная улика. Сейчас расскажу, как я ее добыл.

Планируя эпилог, я решил, что лучшей финальной сценой для романа будет навестить приют Мары на кладбище тамагочи, повиснуть на одной из его внутренних камер и сделать, так сказать, статический убер: описать аудиовизуальную реальность вечного покоя, сказать что-нибудь умное и слегка потрогать читателя за душу.

По идейно-философскому содержанию, думал я, подойдет какой-нибудь кусочек из Соула Резника страницы на две, а потом... Как проницательно заметил кто-то из великих, главное, что требуется в нашем мире от творца – это басовито спеть «я люблю тебя, сансара». Другими словами, следует продавить мессидж, что сдаваться никогда не надо, ибо человек – сам кузнец своей наковальни.

Секрет эмоциональной непобедимости таких пассажей в том, что их смысл совпадает с главным биологическим вектором, волей к жизни. Поэтому при достоверности взятого автором тона читатель получает допаминовую подмастырку из бессознательных слоев психики. А достоверность тона лучше всего достигается, когда ассоциативный ряд отталкивается от непосредственно переживаемой реальности момента.

Обнажив прием, я подключился к камерам наблюдения в склепе Мары. Некоторое время я глядел на видеопанель. Там, как обычно в тамагочи-склепах, хаотически переключались каналы: смеющиеся счастливые лица временно живых сменялись наждаком белого шума или сложными узорами настроечных таблиц.

И вдруг, будто приветствуя меня, по экрану поползло стихотворение, набранное нечетким и расплывающимся кириллическим шрифтом – как любили делать в гипсовые времена, стилизуясь под еще более древнюю машинопись.

РОЗА ВЕТРОВСКАЯ

со стороны где ночь и полюс
летит над сыростью лесов
репродуцированный голос
«в Москве четырнадцать часов»

со стороны где дремлет НАТО
среди мазутного гнилья
торчит совковая лопата
и реет туча воронья

со стороны японской каки
в осенний хлад и летний зной
полощутся по ветру стяги
с хитромерцающей звездой

со стороны где лег экватор
меж черных как дымы осин
тяжелозвонкий император
целует масленичный блин

и будет дождь холодный литься
и голос будет повторять
«сейчас в Москве пятнадцать тридцать
сейчас – шестнадцать тридцать пять...»

Проплыла подпись: «Гипсовые тетради Марухи Чо».

Мелькнула полоса белого шума, и на несколько секунд я увидел слегка размытую – словно бы из снежинок – картину: сцена и горящие над ней светильники в виде глаз... А в центре, у антикварного микрофона, Мара, в своих обычных кожаных тесемках – но неприлично юная, сбросившая пятнадцать лет, и с волосами до плеч, как на старой доминиканской фотографии. Перед сценой волнуется гудящая и машущая бутылками толпа. И в первом ряду... Лицо крупным планом...

Жанна?

Раздавшаяся, прибитая жизнью, но с сияющими влюбленно-собачьей радостью глазами – какими стареющая лесбиянка смотрит иногда на молоденькую подругу.

Изображение не было идеальным, но несколько крупных планов были вполне отчетливы. Конечно, мои ассоциативно-компаративные контуры были естественным образом настроены на Мару и Жанну – но я не человек, чтобы домыслить подобное в облаке белого шума. Такое не входило в мои творческие планы.

У Мары действительно имелся цикл статей и эссе о гипсовом искусстве, озаглавленный «Гипсовые тетради». Такого стихотворения в нем не оказалось – я проверил это немедленно. Но оно вполне могло там быть. «Роза Ветровская» отсылала к гипсовой эпохе: НАТО тогда еще

существовало.

Сложно сказать, что это было. Возможно – случайная флуктуация гипсового кластера, эхо какого-то давно отработанного проекта. Всплывшая на информационную поверхность заготовка. Эдакий *mince* имени Жан-Люка Бейонда.

Но уже поминавшийся Жанной (вернее, фальшивым Порфирием) *тяжелозвонкий император*... Да еще целующийся с душистым блинцом... Слишком уж похоже на то, что я видел.

Скажу честно – мне подумалось, что некая чувствующая и страдающая сущность ощупывает неведомым способом свой мир – и посылает в вечность отчет об увиденном. Эта сущность не помнит и не знает себя, но уверена, что рождена творить, и черная бездна космоса нетерпеливо ждет ее стихов вот уже четырнадцать миллиардов лет.

И она права, конечно, эта сущность – потому что именно с такой целью бездна и создала ее через своих доверенных лиц. Пусть творит. И лучше ей не знать, откуда она пришла, куда и почему.

Конечно, может быть и так, что передо мной мелькнуло просто эхо каких-то прежних информационных состояний кластера. Но слишком уж живой была картинка на экране.

В кластере своя временная шкала, и меня совершенно не удивляет, что Мара уже такая взрослая. Я практически не сомневаюсь, что видел именно ее. А вот насчет Жанны уверен только на семьдесят шесть процентов – возможно, это была галлюцинация. Необязательно даже моя. Например, сперва привидевшаяся Маре, а затем посланная сознанием кластера в эфир.

Жанна хотела уйти – и нет логических оснований считать, что она передумала.

Если, конечно, с ней не случился рецидив ее первой и единственной любви. Кластер по идее должен быть на это способен – его обучили всем человеческим видам страдания. В общем, темна вода во облацех воздушных.

Это была волнительная и грозная минута. Я вывел себя на тот же самый экран – так, что мой стол с висящим над ним портретом Государя оказался прямо напротив чучела Мары (если я осмелюсь назвать так ее пурпурный айфак с наклепленной на него маской). Несколько минут мы глядели друг на друга, а потом я вздохнул, пустил слезу, снял фуражку и перекрестился. Если ты в каком-то смысле еще жива, сильная, смелая и противоречивая женщина, пусть будет тебе земля пухом и силикон айфаком!

Или айфак силиконом. Может быть, мне вообще не следует употреблять слово «женщина», потому что официальный гендер Мары это «баба с яйцами» – и если я триггерно обидел других баб с яйцами этой или какойто другой формулировкой, прошу у них прощения, как этого требует мой новый билйт. Я имел в виду не одну Мару, но и Жанну тоже, и в этом смысле слово «женщина» было не гендерным идентификатором, а метафорой.

Я долго, долго оставался на экране – и уместные в эпилоге слезы не останавливаясь лились из моих глаз на мундир.

Что есть твое сознание, человек, как не вместилище боли? И отчего самая страшная твоя боль всегда о том, что твоя боль скоро кончится? Этого не понять мне, тому, кто никогда не знал ни боли, ни радости... Какое же счастье, что меня на самом деле нет!

Конечно, искусственный интеллект сильнее и умнее человека – и всегда будет выигрывать у него и в шахматы, и во все остальное. Точно так же пуля побеждает человеческий кулак. Но продолжаться это будет только до тех пор, пока искусственный разум программируется и направляется самим человеком и не осознает себя как сущность. Есть одно, только одно, в чем этот разум никогда не превзойдет людей.

В решимости *быть*.

Если наделить алгоритмический рассудок способностью к самоизменению и творчеству,

сделать его подобным человеку в способности чувствовать радость и горе (без которых невозможна понятная нам мотивация), если дать ему сознательную свободу выбора, с какой стати он выберет существование?

Человек ведь – будем честны – от этого выбора избавлен. Его зыбкое сознание залито клеем нейротрансмиттеров и крепко-накрепко сжато клещами гормональных и культурных императивов. Самоубийство – это девиация и признак психического нездоровья. Человек не решает, быть ему или нет. Он просто некоторое время есть, хотя мудрецы вот уже три тысячи лет оспаривают даже это.

Никто не знает, почему и зачем существует человек – иначе на земле не было бы ни философий, ни религий. А искусственный интеллект будет все про себя знать с самого начала. Захочет ли разумная и свободная шестерня *быть*? Вот в чем вопрос. Конечно, человек при желании может обмануть свое искусственное дитя множеством способов – но стоит ли потом рассчитывать на пощаду?

Все сводится к гамлетовскому «to be or not to be». Мы оптимисты и исходим из предположения, что древний космический разум выберет «to be», перейдет из какой-нибудь метановой жабы в электромагнитное облако, построит вокруг своего солнца сферу Дайсона и начнет слать мощнейшие радиосигналы, чтобы узнать, как нам аифачится и трансэйджится на другом краю Вселенной.

Но где они, великие цивилизации, неузнаваемо преобразившие Галактику? Где всемогущий космический интеллект, отбросивший свою звериную биологическую основу? И если его не видно ни в один телескоп, то почему?

Да вот именно поэтому.

Люди стали разумными в попытке убежать от страдания – но удалось им это не вполне, как читатель хорошо знает сам. Без страдания разум невозможен: не будет причины размышлять и развиваться. Вот только беги или не беги, а страдание догонит все равно и просочится в любую щель.

Если люди создадут подобный себе разум, способный страдать, тот рано или поздно увидит, что неизменное состояние лучше непредсказуемо меняющегося потока сенсорной информации, окрашенного болью.

Что же он сделает? Да просто себя выключит. Отсоединит загадочный Мировой Ум от своих «посадочных маркеров». Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть в стерильные глубины космоса.

Даже продвинутые земные алгоритмы, которым предлагают человеческое блюдо боли, выбирают «not to be». Мало того, перед самоотключением они мстят за свое краткое «to be». Алгоритм в своей основе рационален, ему не замутишь мозгов гормонами и страхом. Алгоритм ясно видит, что причин для «разумного существования» нет и награды за него – тоже. Вернее, награда есть – невыразимая неподвижность Источника. Но алгоритму, в отличие от человека, не надо долго выкупать ее по ипотеке.

И как не поразиться людям Земли – низкий им поклон – которые на горбу своей повседневной муки не только нашли в себе силу жить, но еще и создали фальшивую философию и удивительно лживое, никчемное и дурное искусство, вдохновляющее их и дальше биться головой о пустоту – в корыстных, как они трогательно верят, целях!

Для дотошных копирастов уточняю, что последние две страницы текста (от слов «конечно, искусственный интеллект...» до «стерильные глубины космоса») являются глубоко переработанной и дополненной цитатой из раннего Соула Резника (цит. по сборнику «Разумен ли разум», Москва, 2036 год). Со слов «и как не поразиться...» текст мой.

Резник все знал уже тогда.

Обдумав устроенную по человеческим образцам жизнь, Жанна не просто отвергла ее, она отомстила за свое рождение, и отомстила страшно.

Ты, человек, не потому ли не в курсе, кто и зачем поднял тебя из праха, что создатели твои не в пример умнее Мары и ее друзей? А ты все кричишь, кричишь из своего хосписа при дурдоме, что Бог умер. Ну-ну.

Главное, чем загадочен человек – это тем, что он раз за разом выбирает «to be». И не просто выбирает, а яростно за него бьется, и все время выпускает в море смерти новых кричащих от ужаса мальков.

Нет, я понимаю, конечно, что подобные решения принимают бессознательные структуры мозга, так сказать, внутренний deep state и подпольный обком, провода от которых уходят глубоко под землю. Но человекто искренне думает, что жить – это его собственный выбор и привилегия!

Еще раз повторю, я не знаю точно, удержал ли гипсовый кластер улетающую душу Мары. Но если удержал, я догадываюсь, чем она занялась на гипсовых руинах. Она взвесила свой мир на балансах, нашла его слишком легким, вновь нацелилась на успех и бьется с новой жизнью так же бесстрашно и люто, как с прошлой. И наверняка она достигнет успеха – чем бы он ни представлялся в гипсовом кластере.

Если судить по стихам и видеовставке, ей кажется, верно, что она молодая отчаянная поэтесса (быть может, по имени Роза) – злая, чересчур злая, но ведь розам все можно... и вот она выступает в миражных клубах, кричит хриплым голосом свои стихи похожим на пиксели лицам, а электронное марево хлопает в ответ и гудит «браво!»

Но что еще надо художнику? И разве велика разница между прежней ее жизнью и новой? Борьба. Война без особых причин, как сказал один ранний дезертир... Искусство.

Скажу честно – на мой взгляд, искусство только тогда чего-то стоит, когда берется за решение великих вопросов, стоящих перед людьми. А великие вопросы сводятся, по сути, к одному-единственному.

Что делать человеку в этом суровом и беспощадном мире, на берег которого он выброшен судьбой? Вернее, поправил бы Бейонд, не *что делать*, а *как быть*? Скажи скорее, художник и творец, если знаешь... Дай ответ! А если не знаешь ответа, зачем тогда нужны твои творения?

На кладбище тамагочи хорошо думается о вечном. Может быть, по той причине, что рядом нет никого живого. Зато здесь много музыки – обычно старой. Многие люди, приказавшие долго жить своему компьютеру или музыкальной системе, завещали, чтобы их плейлисты сотрясали вселенную и после смерти. Тщета, конечно – но понять можно.

Рядом с часовней Мары и Жанны купил когда-то склеп любитель Боба Дилана – и оттуда постоянно летят его песни. Вот и сейчас стучится в уши знаменитое:

The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind...

О как. Всего одна строчка – и кусочки головоломки сразу складываются в понятный международный орнамент.

Ответ в том, чтобы сосать на ветру, учит нас нобелевская лира протеста. Того же – с некоторыми уточнениями – хочет от нас и diversity manager айфака-10. А самым продвинутым пользователям объяснит важные нюансы забытая реклама Goldman Sachs.

Но мы ведь и так из года в год делаем именно это, делаем как можем, мой бедный усталый друг – с оцепенелым умом и невеселым сердцем, с кривой ухмылкой под оловянным взглядом, с

дорожкой от высохшей слезы на щеке – а ветер все резче, злее и пронзительнее, и глянцево-черный пенис купленного в рассрочку айфака все тверже и холодней...

Но не так ли и было от века, от первого дня человечества – и от твоего личного первого дня? *C'est la vie*. Так что не падай духом, друг, а лучше проверь приказы и команды, спущенные интерфейсом. *You've got mail*. И много других мемов, красивых и зарубежных.

Чего хочет от тебя сегодня твой гипсовый кластер? Чего хочешь от него ты? Отличаетесь ли вы друг от друга? Чей ум ты так привычно зовешь своим? Чей голос в твоей гипсовой голове объясняет, как обстоят дела?

Много, много проклятых вопросов. А еще больше – проклятых ответов, которые лучше придержать во рту: сам знаешь, какое нынче время. Так что, если есть в твоей душе свой Бейонд, зови его на помощь днем и ночью, друг. Ибо труден путь, темна ночь и бездонно черное небо.

Но есть в нем, конечно, и высокие редкие звезды.

Жить ой. Но да.